

Герман
Брох

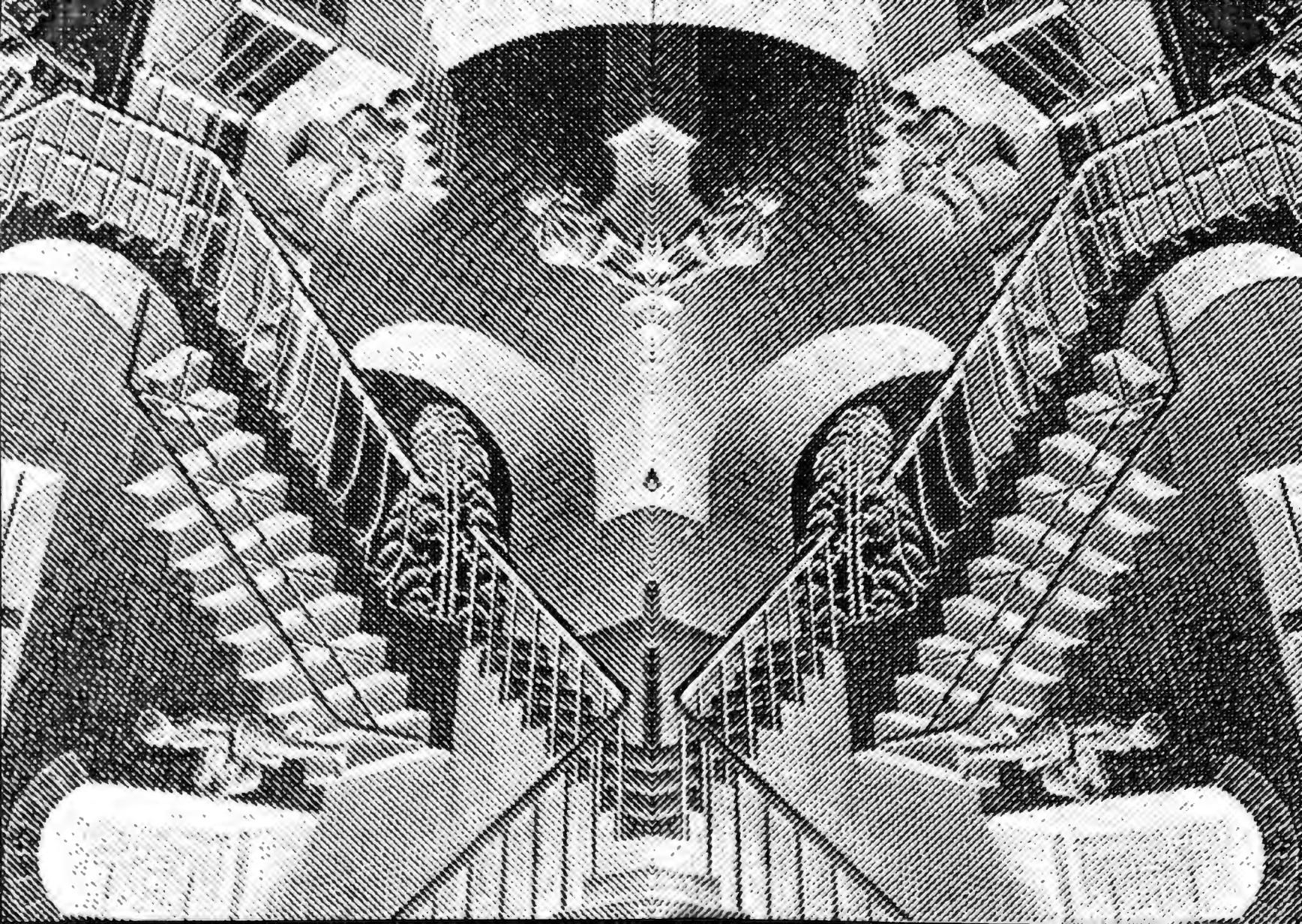
Ψ

Герман Брох

2

Ψ







**СЕРИЯ
700**

Основана в 1993 году

С октября 1995 г.
издательство «Лабиринт»
является издателем
серии «700»
с любезного согласия авторов серии



Киев
«ЛАБИРИНТ»
Санкт-Петербург
«АЛЕТЕЯ»
1996

Hermann
Broch

DIE SCHLAFWANDLER



Der dritte Roman

**1918 — Huguenau
oder die Sachlichkeit**

Роман-трилогия

Герман
Брох

Перевод с немецкого

ЛУНАТИКИ

Третий роман

1918 — Хугюнау, или Деловитость

Ψ

ББК 84.4АВТ
Б 88

Перевод с немецкого *Н. Л. Кушнира*

Редактор *Н. Г. Шишкина*

В оформлении издания использованы
фрагменты работ *Мориса Эшера*

Роман “Лунатики” известного австрийского писателя-мыслителя Г.Броха (1886—1951), произведение, занявшее выдающееся место в литературе XX века, переведен на русский язык *впервые*.

В центре заключительного романа “1918 — Хугюнау, или Деловитость” — грандиозный процесс освобождения разума с одновременным прорывом иррациональности мира.

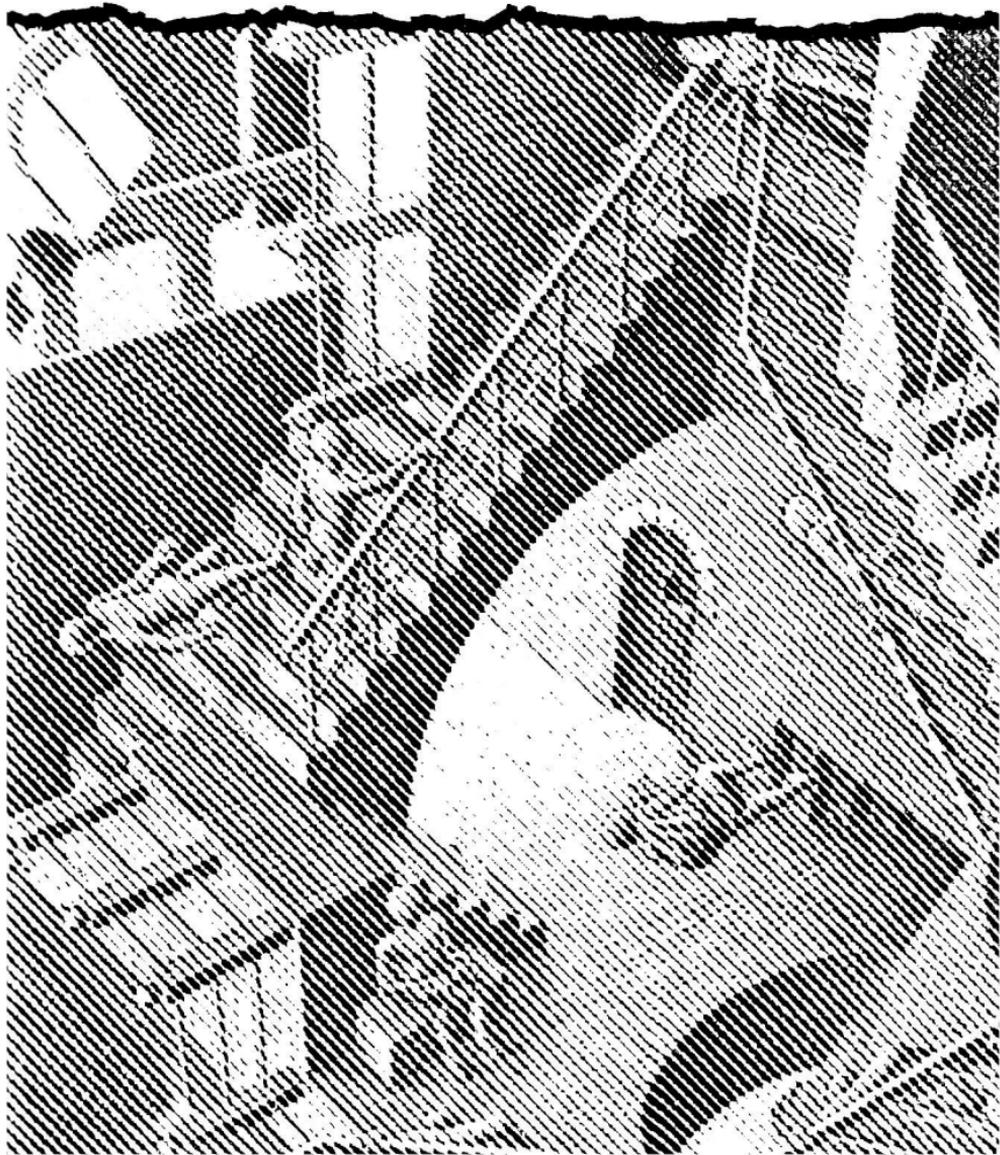
Б 4703010100-010 Без объявления
96

ISBN 966-521-020-3
ISBN 5-87329-009-7

© Перевод, художественное оформление,
оригинал-макет Издательство “Лабиринт”,
1996

© Название серии. Марка серии Оформление
серии. Н.Н.Вакуленко, О В Гашенко, 1993

1918 — Хугюнау, или Деловитость



Хугюнау, предки которого носили, наверное, имя Хагенау, пока эльзасские земли не захватили в 1682 году войска Конде¹, внешне был типичным обывателем. Тучный и приземистый, он с юных лет носил очки, а если быть более точным, то с того времени, когда ему надлежало начать учебу в торговой школе в Шлеттштадте, к началу войны он приблизился к своему тридцатилетию, и тогда его лицо и манеры утратили юношеские черты. Свое дело он имел в Бадене и Вюртемберге, частично это были филиалы отцовской фирмы ("Андре Хугюнау, текстиль", Кольмар/Эльзас), частично — собственное дело, он также являлся представителем эльзасских фабрик, изделия которых сбывал в этом районе. В кругах деловых людей, специализирующихся в данной отрасли, он имел репутацию целеустремленного, осмотрительного и солидного купца.

Имея склонность к коммерческой деятельности, ему скорее следовало бы заняться проведением соответствующих времени сомнительных торговых операций, чем военным ремеслом. Но он совершенно безропотно отреагировал на то, что в 1917 году, проигнорировав сильную близорукость, его призвали к так называемому оружию. Хотя во время учебы в Фульде ему удавалось заключить ту или иную сделку, касающуюся табака, довольно скоро он оставил эту затею. И не только потому, что военная служба отбила охоту заниматься всеми остальными

¹ Дом Конде — боковая ветвь Бурбонов, существовавшая с XVI века до 1830 г.

делами и притупила его купеческий нюх. Просто становилось очень легко и хорошо, когда ни о чем больше не надо было думать, это отдаленно напоминало ему школьные годы: из памяти Хугюнау (Вильгельма) еще не стерлись воспоминания о выпускном вечере в шлеттштадском заведении и то, какими словами напутствовал директор юнцов, старательно изучавших коммерцию, предостерегая от трудностей жизни, с которыми он до сих пор справлялся вполне успешно и от которых теперь ему опять приходилось отказываться ради прохождения нового курса обучения. Теперь он снова был связан целым рядом обязательств, от которых с течением времени уже отвык, с ним обращались, как со школьником, кричали, в душе возродилось былое характерное для юношеских лет отношение к отхожим местам, к их коллективному характеру; жвачка снова оказалась в центре внимания. К тому же их разместили в здании школы, и, засыпая, они видели два ряда светильников с бело-зелеными абажурами и черную доску, оставленную в помещении. Все это смешало военные и школьные годы в какое-то неразделимое целое, и когда батальон, украшенный флажками и распеваящий детские песни, наконец был отправлен на фронт и начал занимать казармы в Кельне и Люттихе, стрелку Хугюнау никак не удавалось освободиться от ощущения, что это школьная вылазка на природу.

В один из вечеров его рота оказалась на линии фронта, которая представляла собой оборудованную траншею; к ней можно было выйти по длинным защищенным ходам сообщения. В блиндажах царила непередаваемая грязь, пол был украшен уже засохшими и еще свежими плевками с остатками табака, стены разрисованы струями мочи, и невозможно было определить источник вони: то ли это были фекалии, то ли трупы. Хугюнау слишком устал, чтобы действительно воспринимать и осознать все, что он видел, и запахи чего вдыхал. Уже тогда, когда они неуклюже продефилировали друг за другом по ходам сообщения, вне всякого сомнения у всех возникло ощущение того, что их вытолкали из-под защиты дружеского круга и все-

го, что объединяло их, и хотя они были более чем безучастны к отсутствию какой бы то ни было чистоты, хотя они не очень страдали от отсутствия комфорта, в котором человек ищет защиты от запаха смерти и разложения, хотя это преодоление отвращения всегда является первой ступенькой к героизму, хотя ужас для некоторых из них с течением долгих военных лет стал обыденностью и хотя они, чертыхаясь и отпуская шутки, занимались оборудованием лагеря, среди них не было ни одного, кто бы не знал, что его — одинокого человека с его одинокой жизнью — выставили здесь наедине с удручающей бессмысленностью, с той бессмысленностью, которую ему не понять или которую он может охарактеризовать как “дерьмовая война”.

Тогда из различных генеральских штабов докладывали, что на фландрском участке фронта царит полное спокойствие. Солдаты сменяемой роты также заверяли их, что там ничего не происходит. Невзирая на все это, с наступлением темноты разразилась артиллерийская дуэль, наделавшая достаточно шуму, чтобы лишить вновь прибывших всякого сна. Хугюнау сидел на чем-то, похожем на нары, его мучили резкие боли в животе, и лишь по истечении довольно продолжительного времени он заметил, что его конечности дрожат и трясутся. С другими дело обстояло не лучше. Один ревел. Более опытные, конечно, смеялись: к этому, мол, им еще предстоит привыкнуть, это ведь всего лишь повторяемые каждую ночь шутки, которыми обмениваются батареи, их нечего бояться; и, не утруждая себя заботой об этих трусливых сопляках, они и вправду уже через несколько минут захрапели.

Хугюнау охотно поплакался бы кому-нибудь в жилетку: все это было как-то не по правилам. Душу наполняло чувство ярости и тоски, ему хотелось выбраться отсюда на свежий воздух, и когда дрожание в коленях прошло, он на негнущихся ногах проковылял к выходу из землянки, опустился там на низкий ящик и уставился отрешенным взглядом в разукрашенное огненным фейерверком небо. Перед его глазами постоянно воз-

никал образ человека с поднятой рукой, взмывающего в небо на фоне оранжевого облака взрыва. Ему вспомнился Кольмар и тот случай, когда однажды его школьный класс водили в музей, где им пришлось выслушивать скучные объяснения; но перед картиной, стоявшей подобно алтарю в центре, он испытал чувство страха: то было распятие, а распятий он не любил. Пару лет назад, когда в промежутке между двумя встречами с клиентами ему довелось как-то бессмысленно угробить целое воскресенье в Нюрнберге, он посетил камеру пыток. Это было чертовски интересно! Там он увидел также несколько картин. На одной из них был изображен мужчина, прикованный к своеобразным нарам, он, как сообщалось, убил в Саксонии несколькими ударами кинжала одного пастора и теперь за это ожидал на этих нарах казни колесованием. С процедурой колесования подробно знакомили другие экспонаты. У мужчины был более чем добродушный вид, и в воображении как-то не укладывалось, что этот человек убил кинжалом пастора и приговорен к колесованию, равно как и то, что ему приходится торчать здесь на каких-то нарах и вдыхать вонь от разлагающихся трупов. Вне всякого сомнения, мужчину мучили острые режущие боли в животе, и он, будучи прикованным, должно быть, обделался. Хугюнау сплюнул и процедил "merde!"¹

Так и сидел Хугюнау у входа в землянку, подобно часовому на посту; его голова прислонилась к косяку, он высоко поднял воротник шинели, ему больше не было холодно, он не спал, но и не бодрствовал. Камера пыток и землянка все больше погружались в немного грязноватые, но все же яркие цвета того грюневальдского алтаря; снаружи в оранжевом свете пушечного фейерверка и осветительных ракет простирали к небу ветки голые деревья, а в сияющую разорванную высь взмывал человек с поднятой рукой.

Когда на землю опустились первые холодные и свинцовые проблески рассвета, у края окопа в траве Хугюнау заметил не-

¹ Дрянь (фр.).

сколько прошлогодних маргариток. Он выскользнул из окопа и пополз туда. Он знал, что подстрелить его из английских окопов не составит никакого труда, что его ждут неприятности и со стороны немецких постов. Но мир, казалось, лежал под вакуумным колпаком — Хугюнау вспомнился колпак для сыра,— серый, неподвижный и совершенно безжизненный мир был погружен в нерушимую тишину.

2

В окружении кристально чистого воздуха, готовящего приход весны, держит свой путь по бельгийским просторам безоружный дезертир. Какая ему польза от спешки, рассудительная осторожность ему куда полезней, да и оружие его вряд ли защитит; он проходит сквозь все опасности с голыми, так сказать, руками. Непринужденное выражение его лица — более надежная защита, чем оружие, или поспешное бегство, или фальшивые документы.

Бельгийские крестьяне недоверчивы. И четыре года войны не способствовали смягчению этой черты их характеров — хлебам, картофелю, лошадям, коровам пришлось испытать это все на себе. И когда к бельгийским крестьянам рвется дезертир, они принимают его вдвойне недоверчиво: не тот ли это парень, который как-то колотил в их ворота прикладом винтовки? И даже если такой сносно говорит по-французски и выдает себя за эльзасца, то все равно в девяти случаях из десяти это ему не очень-то помогает, равно как и проходящим через село беженцам или просящим о помощи. Но тот, кто, подобно Хугюнау, не полезет в карман за острым словцом, кто заходит во двор с излучающей дружеское выражение физиономией, тот без труда может получить ночлег на сеновале, тому позволено будет вечером посидеть вместе с семьей в темной комнатке и порассказывать о жестокостях пруссаков и о том, как они вели себя в Эльзасе, он сорвет аплодисменты, он получит даже свою

долю от заботливо припрятанных запасов, а если чужаку повезет, то его на сене может навестить и какая-нибудь служанка.

Впрочем, еще выгоднее быть принятым в доме священника, и Хугюнау довольно скоро обнаружил, что при этом в значительной степени может помочь исповедь. Он исповедовался всегда по-французски, при этом искусно связывал грех надломленной солдатской зависти с рассказом о своей достойной сожаления судьбе, что, конечно, не всегда заканчивалось приятно: как-то его угораздило попасть на одного пастора, худого, высокого мужчину с такой аскетической и сострадательной внешностью, что он с трудом осмелился вечером после исповеди посетить пасторский дом, ну а увидев сурового мужчину, занимавшегося весенними работами во фруктовом саду, решил, что лучше всего будет ретироваться. Но пастор не медля выскочил к нему. "Suivez-moi"¹,— грубо скомандовал он и потащил его в дом.

Хугюнау разместили в комнатухе на чердаке. Ему пришлось провести в пасторском доме при скудном питании почти целую неделю. Облачившись в голубую блузу, он работал в саду; его поднимали к утренней мессе, и ему было позволено принимать пищу на кухне, за одним столом с неразговорчивым пастором. Никто не вспоминал о его бегстве, и ситуация очень смахивала на испытательный срок, который не вызывал у Хугюнау положительных эмоций. Он начал уже даже раздумывать над тем, чтобы, вопреки относительной безопасности, отказаться от этого убежища и продолжить свой опасный путь, как вдруг — это случилось на восьмой день после его прибытия — он обнаружил в своей клетушке гражданский костюм. Пастор сказал, что он может взять его и в его воле выбрать, уйти или остаться; но только содержать его он больше уже не может, хлеба и так не хватает. Хугюнау решил отправиться дальше, и когда с его языка уже готовы были сорваться слова благодарности, пастор опередил его: "Haïssiez les Prussiens et les ennemis de la sainte

¹ Иди за мной (фр.).

religion. Et que Dieu vous benisse"¹. Он поднял два благословляющих перста, перекрестил его, и глаза на костлявом крестьянском лице пастора пылали ненавистью.

Выйдя из пасторского дома, Хугюнау понял, что речь теперь идет о разработке хорошего плана бегства. Если раньше он частенько ошивался возле высоких командных инстанций, где можно было легко затеряться в массе солдат, то теперь это становилось невозможным. В принципе гражданская одежда его стесняла; она словно напоминала о необходимости вернуться к мирной повседневной жизни, и то, что по требованию пастора он надел ее, казалось ему сейчас глупостью. Это было вмешательством постороннего в его личную жизнь, а личная жизнь далась ему ох какой дорогой ценой. Даже если он и не считал себя принадлежащим к кайзеровской армии, то как дезертир из этой армии он был связан с ней своеобразным, даже можно сказать отрицательным образом, и уж, вне всякого сомнения, он принадлежал войне, о существовании которой ему было прекрасно известно. Хугюнау удавалось сдерживать свои эмоции, когда в столовых и кабаках люди ругали войну и газеты или утверждали, что газеты куплены Круппом для того, чтобы продлить войну. Ведь Вильгельм Хугюнау был не только дезертир, он был коммерсант, и он восхищался всеми фабрикантами, поскольку те производили товары, которыми остальные люди торговали. Так что если Крупп и угольные бароны купили газеты, то они знали, что делают, и это целиком и полностью их право, точно так же, как его собственное право состояло в том, чтобы носить форму, пока его это устраивало. А значит, ничто не говорило в пользу того, что следует возвращаться в глубокий тыл, куда с помощью своего гражданского костюма хотел отправить его этот пастор, ничто не говорило в пользу того, что следует возвращаться в те родные края, где нет передышки и где царят будни.

¹ Ненавидьте пруссаков и врагов святой веры. И да благословит вас Господь! (фр.).

Так что он решил оставаться в зоне фронтовых тылов. Он направился на юг, избегал городов, заглядывая в деревни, прошел через массив Хеннегау, добрался до Арденн. Тогда война уже во многом потеряла свою правильность, и за дезертирами не гонялись по пятам столь сурово, как это было прежде,— их развелось слишком уж много и не хотелось это признавать. Но таким положением дел еще не объясняется тот факт, что Хугюнау удалось непойманным выскользнуть из Бельгии; это объясняется скорее интуитивным чувством опасности, с которым он перемещался в этой полной опасностей зоне: он вышагивал в кристально чистом воздухе ранней весны, он шагал, словно накрытый куполом беззаботности, изолированный от мира и все-таки находясь в нем, и он не очень задумывался надо всем этим. С Арденн он вышел на немецкие земли, оказался в мрачноватом Эйфеле, где еще правила бал зима, что затрудняло передвижение. Тамошним жителям было не до него, неприветливые и замкнутые, они ненавидели любой рот, желавший отобрать у них хоть немножечко еды. Хугюнау решил воспользоваться железной дорогой, ему пришлось потратить деньги, которые удалось подкупить. Суровая жизнь предстала перед ним в новом изменившемся свете. Для того чтобы сохранить и продлить передышку, что-то должно было произойти.

3

Городишко, окруженный виноградниками, располагался в долине на берегу Мозеля. Вершины холмов были покрыты лесом. Обработанные виноградники ошетинились, ровными рядами стояли чубуки, то там, то здесь проглядывали выступы скал. С осуждением Хугюнау отметил, что некоторые владельцы не выполнили на своих участках сорняки и что такой запущенный виноградник выделялся на серовато-розовом фоне других виноградников желтым прямоугольным островком.

По прошествии нескольких последних зимних дней на вер-

шинах Эйфеля будто в одно мгновение наступила настоящая весна. Словно символ неизбежного порядка и добропорядочности, улыбающееся солнце роняло в сердце чувство жгучего удовольствия и безопасности; страх, который, не исключено, сидел там, можно было выдохнуть. С удовлетворением рассматривал Хугюнау расположенную у въезда в город государственную окружную больницу, длинное здание которой еще пряталось в утренней тени, ему показалось совершенно правильным, что все окна больницы были открыты настежь, словно в южном санатории, и ему доставляло удовольствие представлять, как легкий весенний воздух струится сквозь белые больничные палаты. Он посчитал также совершенно правильным, что на крыше больницы красовался большой красный крест, проходя мимо, он доброжелательно поглядывал на одетых в серого цвета кителя солдат, которые кто в тени, а кто на солнышке в саду поправляли свое здоровье. Дальше, по другую сторону реки, располагался военный городок, на фоне казенного вида строений выделялось похожее на монастырь здание, о котором Хугюнау позже узнал, что это была тюрьма. Но дорога дружелюбно и удобно спускалась к городку. Проходя через средневековые городские ворота, держа в руке матерчатый чемоданчик, как когда-то он держал чемодан с образцами, Хугюнау было даже приятно, что это так сильно напомнило ему о походах в вюртембергские селеньица — как все-таки давно это было, — которые он совершал для встреч с клиентами.

При виде этой старинной улицы он не мог не вспомнить и о том вымученном нюрнбергском выходном дне. Здесь, в курортном Трире, пфальцская война не лютовала столь безжалостно, как в других районах западнее Рейна; неповерженными стояли здания XV и XVI веков, на рыночной площади высилась готическая ратуша с надстройками эпохи Ренессанса и башней, перед ней красовались позорные столбы. И Хугюнау, которому во время деловых поездок пришлось посетить несколько таких прелестных городов, но практически так и не удалось познакомиться с их достопримечательностями, был охвачен чувством,

тем едва ли знакомым ему чувством, которому он не мог ни подыскать название, ни понять, откуда оно взялось, но которое тем не менее странным образом вызывало у него ощущение уюта: обозначь для него все это как эстетическое чувство или как чувство, живительные истоки которого таятся в свободе, он скептически рассмеялся бы, рассмеялся бы как человек, которого не отягощало понятие красоты мира, поскольку в данной ситуации он был бы даже прав, ведь никто не может решить, свобода ли то, в чем душа раскрывается красоте, или свобода — это то, что дает душе представление о свободе; правда, вопреки всему этому он был и не прав, так как и ему должно быть свойственно глубинное человеческое понимание, человеческое стремление к свободе, в котором берет свое начало весь свет мира и из чего каждое воскресенье произрастает освящение всего живого. И поскольку это было так, и поскольку это не могло быть иначе, то наверняка могло произойти и в тот момент, когда Хугюнау вылез из окопа и впервые освободился от тесной взаимосвязи с людьми, так что на него упал отблеск высшего сияния, являющегося свободой, он стал даже его частицей, и в это мгновение он впервые был подарен воскресенью.

Погруженный в такого рода размышления, Хугюнау дошел до гостиницы на Рыночной площади и снял там комнату. Словно еще раз основательно наслаждаясь своим отпуском, он устроил себе хороший вечер. Мозельское вино отпускалось без продуктовых карточек, невзирая на войну, здесь еще сохранилось немного вина отличного качества. Хугюнау позволил себе три небольших кувшинчика, на улице между тем стемнело. Бургеры занимали места за разными столиками, Хугюнау был здесь чужаком; он ловил на себе беглые вопросительные взгляды то с одной, то с другой стороны. Все они имели свое дело, им было чем заниматься, только у него ничего не было. И тем не менее он испытывал чувство радости и удовлетворения. Он удивлялся сам себе: без дела и все-таки доволен! Настолько доволен, что он не без охоты задумался надо всеми теми сложностями, ко-

которые неизбежно должны были бы возникнуть, когда такой человек, как он, человек без документов, без клиентуры хотел бы в чужом городе завести свое дело и получить кредит. Копание во всех этих сложностях его неимоверно подзадоривало. Возможно, причиной всему этому было выпитое вино. В любом случае, разыскивая со слегка гудящей головой свою комнату, Хугюнау ощущал себя отнюдь не как поглощенный заботами коммерсант, а как исполненный радостного настроения легкомысленный турист.

4

Когда каменщика и ополченца Людвиг Гедике откопали, его открытый в неистовом крике рот был забит землей, лицо было синюшным и почерневшим, биение сердца не прослушивалось. Если бы два санитары, в чьи руки он попал, не заключили пари о том, выживет он или не выживет, то вскоре его опять зарыли бы в землю. Тем, что ему снова пришлось увидеть солнце и залитый солнцем мир, он был обязан десяти сигаретам, поставленным на кон в этом споре.

Искусственное дыхание, которое делали оба санитары, ни к какому конкретному результату не привело, хотя оба совершенно выбились из сил, пот катился с них градом; но они все же взяли его с собой, внимательно следя за ним и постоянно чертыхаясь в его адрес, поскольку никак невозможно было понять загадку его жизни или в данном случае смерти, и они не преминули подсунуть его врачам. Так что объект их спора четыре дня лежал в лазарете, кожа его почернела, он не шевелился. Теплилась ли в этом теле маленькая жизнь, или эта крошечная жизнь была изгнана из руин тела болью и удушьем, или же имела место едва уловимая отрадная пульсация на самом краю бездонной пропасти, нам это было неведомо, а ополченец Гедике не имел ни малейшей возможности дать нам на сей счет справку.

Затем очень медленно, крошечными, так сказать, шажками начала входить в его тело жизнь, и эта медлительность, эта осторожность соответствовали ситуации и казались естественными, поскольку его раздавленному телу были крайне противопоказаны какие бы то ни было движения. В течение многих бесконечных дней Людвиг Гедике напоминал младенца (каким он был сорок лет назад), охваченный необъяснимым желанием и совершенно не ощущающий этого желания. Обладая он такой способностью, то наверняка захныкал бы в поисках материнского молока, и, действительно, вскоре настало время, когда он начал жалобно хныкать. Впервые это случилось во время перевозки и на слух воспринималось как непрерывное хныканье новорожденного; никто не хотел лежать рядом с ним, а как-то ночью один из соседей даже запустил в него чем-то. Иногда думали, что он в итоге загнетса с голоду, поскольку у врачей не было никакой возможности вливать ему питательную смесь. Факт, свидетельствующий о том, что в нем теплилась жизнь, не поддавался никакому объяснению, а предположение старшего полкового врача Куленбека, из которого следовало, что тело живет за счет всей вжатой под кожу крови, едва ли заслуживало того, чтобы называться мнением, не говоря уже о том, чтобы быть теорией. Особенно исхудала нижняя половина тела. Его обворачивали холодными компрессами, но невозможно было узнать, приносят ли эти процедуры облегчение. Да, вероятно он больше и не страдал столь сильно, поскольку хныканье стало постепенно затихать. Но через несколько дней оно возобновилось с еще большей силой: казалось — или можно себе просто представить, что казалось, — будто Людвиг Гедике по кусочкам получает обратно свою душу и что каждый из таких кусочков приносится к нему на волне мук. И так было, должно быть, на самом деле, хотя невозможно было ничем подтвердить, что боль разорванной на атомы и изуродованной души, которой приходилось снова собираться в одно целое, была сильнее, чем любая другая боль, ужасней, чем боли головного мозга, сотрясающегося от постоянно повторяющихся судорог, невы-

носимей, чем все телесные муки, сопровождающие этот процесс.

Так и лежал ополченец Гедике в своей кровати на накачанном воздухом резиновых кольцах, и когда в его истощенное тело, в которое невозможно было проникнуть по-другому, медленно вводили питательные клизмы, собиралась его душа — непонятно для старшего полкового врача Куленбека, непонятно для обер-лейтенанта медицинской службы Флуршютца, непонятно для медсестры Карлы,— в муках собиралась его душа в то, что называлось его “Я”.

5

Проснулся Хугюнау рано: он ведь человек старательный. Приличная комната, а не клетушка, как у того пастора; хорошая постель. Хугюнау потянулся, затем попытался сориентироваться в окружающей его действительности.

Гостиница, Рыночная площадь, там дальше — ратуша.

Его, собственно, многое могло подвигнуть на то, чтобы возобновить нормальную жизнь там, где ее течение прервалось; были моменты, заставляющие его взяться за выполнение коммерческих обязанностей и в качестве посредника в торговле маслом и изделиями из текстиля собирать деньги прямо на улице. А то, что он с таким отвращением отмахнулся от мыслей о тоннах масла, мешках с кофейными зернами и текстилем, неприятно поразило его самого, то есть человека, который с подростковых лет только то и делал, что говорил и думал о деньгах и коммерции, это действительно не могло не поразить. Станным образом в памяти снова всплыли воспоминания о школьных каникулах. Хугюнау предпочел сосредоточиться в своих мыслях на городе, в котором пребывал.

За городом раскинулись виноградники. Некоторые из них заросли сорняками. Хозяин погиб или в плену. Справиться с этим хозяйка не в состоянии. Или шляется с кем-нибудь дру-

гим. Кроме того, государство держит под контролем цены на вино. Кто не умеет торговать им в обход законов, для того совершенно бессмысленно вкалывать на виноградниках. И при этом есть ведь просто изумительные сорта! От одного из них так и шибает в голову.

Так что такая солдатская вдовушка должна была бы недорого продать такой виноградник.

Хугюнау задумался: с кем из торговцев мозельским вином можно было бы иметь дело? Таких можно отыскать. И при этом возможно заработать неплохие комиссионные. На память пришли названия фирм, торгующих вином. "Фридрихс" в Кельне, "Маттер и К^о" во Франкфурте. Туда он когда-то поставлял шланги.

Хугюнау вскочил с кровати. Его план созрел.

Став перед зеркалом, он привел себя в порядок. Зачесал назад волосы. С тех пор, как их остриг ротный парикмахер, они снова отросли и стали длинными. Когда ж это было? Казалось, что это было в предыдущей жизни; если бы зимой волосы не росли так медленно, то сейчас они, должно быть, были бы еще длиннее. У трупов волосы и ногти продолжают расти. Хугюнау взял одну прядь волос и опустил ее на лоб; она доставала почти до кончика носа. Нет, выходить на люди в таком виде нельзя. Перед праздниками обычно подстригаются. Хотя это были и не праздники, но все происходящее чем-то их напоминало.

Утро было светлым, немножко холодноватым.

В парикмахерской стояло два желтых кресла с черными кожаными сидениями. Мастер — старик, передвигающийся не очень уверенными шагами, — накиннул на Хугюнау несвежий пеньюар, сверху за воротник он вставил лист бумаги. Хугюнау немного покрутил в разные стороны подбородком; бумага царапалась.

На крючке висела газета, и Хугюнау протянул за ней руку. Это был выходящий в этом городе "Куртрирский вестник" (с приложением "Сельское хозяйство и виноделие в Мозеле"). Именно то, что ему было нужно.

Он сидел неподвижно, изучал газету, а затем начал рассматривать себя в зеркале; его вполне можно было бы принять за уважаемую особу в этом селении. Волосы теперь были соответствующим образом подстрижены, короткие, солидные, они смотрелись совсем по-немецки. На макушке была оставлена полоска более длинных волос для того, чтобы можно было сделать пробор. Затем мастер приступил к бритью. Он взбил жидкую холодную пену, которую скупно нанес на лицо. Мыло было порядочным дерьмом. "Мыло никуда не годится", — сказал Хугюнау.

Мастер не проронил ни слова, а начал шуровать бритвой по ремню. Хугюнау это показалось оскорбительным, но через какое-то мгновение мастер извиняющимся тоном пробормотал: "Война".

Он приступил к бритью. Короткими скоблящими движениями. Брился он плохо. И все-таки приятно, когда тебя бреют. Да, в исключительных случаях бывает приятно, когда тебя обслуживают. По праздникам. На стене красовалась девица с большим декольте, ниже — надпись: "Lotion Houbigant". Хугюнау запрокинул голову назад, держа газету в свободной руке. Парикмахер скоблил ему подбородок и шею, он, наверное, никогда не закончит это дело. Тем не менее Хугюнау не имел ничего против — время у него было. А чтобы еще продлить удовольствие, он потребовал "Лосьон Houbigant". Его побрызгали кельнской водичкой.

Только что выбритый, подстриженный и свежий мужчина с запахом кельнской воды под носом, он направился обратно в гостиницу. Сняв шляпу, он понюхал ее. Она пахла помадой, и это вызывало у него чувство удовлетворения.

Зал для гостей был пуст. Хугюнау получил свой кофе, а официантка принесла также хлебную карточку, от которой оторвала один талончик. Масла не было, имелся лишь черноватого цвета сиропообразный мармелад. Кофе тоже нельзя было называть кофе; отхлебывая горячую жидкость, Хугюнау подсчитывал, сколько же заработали фабриканты на этом эрзац-кофе; не

испытывая совершенно никакого чувства зависти, он завершил подсчеты и решил, что тут все в порядке. Конечно, приобретение виноградника в Мозеле по низкой цене тоже было неплохим делом, оно было прекрасным вложением капитала. Закончив свой завтрак, он решил приняться за дело и дать объявление о покупке недорогого виноградника. После чего он отправился со своим объявлением в редакцию "Куртрирского вестника".

6

Окружная больница была полностью занята военными. По палатам дефилировал обер-лейтенант медицинской службы доктор Фридрих Флуршютц. На нем красовалась форменная фуражка, дополняя докторский халат; лейтенант Ярецки утверждал, что это производит смешное впечатление.

Ярецки разместили в третьей офицерской палате. Это произошло случайно, поскольку двухместные палаты предназначались для штабных офицеров, но теперь уж его пришлось оставить там. Он сидел на краешке кровати, когда вошел Флуршютц. Во рту больного дымилась сигарета, а рука с развернутой повязкой покоилась на ночном столике.

"Ну, Ярецки, как наши дела?"

Ярецки кивнул на руку: "Старший полковой только что был здесь".

Флуршютц осмотрел руку, осторожными движениями прощупал ее со всех сторон: "Плохо дело... увеличивается?"

"Да, опять на пару сантиметров... старик хочет ампутировать".

Рука лежала на столике, покрасневшая, ладонь с облезшей кожей, пальцы, похожие на красные сосиски, а вокруг запястья веночек желтых гнойников.

Ярецки посмотрел на руку и сказал: "Эх, бедняга ты, бедняга".

"Не расстраивайтесь так, всего лишь левая".

"Да, если бы вы смогли ее просто отрезать как следует".

Флуршютц пожал плечами: "А что вы хотите? Это век хирургии, увенчанный мировой войной с пушками... Сейчас мы переучиваемся на железах, а на следующей войне мы уже сможем прекрасно лечить эти чертовы газовые гангрены... а пока, действительно, не остается ничего другого, как резать".

Ярецки удивился: "Следующая война? Вы что же, верите, что эта кончится?"

"Оставьте этот пессимизм, Ярецки, русские уже закончили".

Ярецки зло усмехнулся: "Господь сохранил им детскую непосредственность, а нам подарил приличные сигареты..."

Правой здоровой рукой он достал из открытого ящика ночного столика пачку сигарет и протянул ее Флуршютцу.

Флуршютц кивнул на пепельницу, забитую окурками: "Вам не следует так много курить..."

Вошла сестра Матильда: "Ну как, будем снова перевязывать... что вы скажете, доктор?"

Сестра Матильда выглядела свежо. На лбу у корней волос виднелись веснушки. Флуршютц ругнулся: "Будь он неладен этот газ". Он еще раз посмотрел, как сестра принялась бинтовать руку, а затем продолжил обход. Окна были открыты по обе стороны широкого коридора, но избавиться от больничного запаха было невозможно.

7

Здание располагалось на Фишерштрассе, в кривом переулке, спускающемся к реке; оно представляло собой дом, который в течение столетий явно служил для занятий всяческими ремеслами. Рядом со входом виднелась черная треснувшая жестяная вывеска с облезлыми золотистого цвета буквами: "Куртрирский вестник, редакция и издательство (во дворе)".

По узкому, похожему на нору коридору, в темноте которого

он споткнулся об опускающиеся двери, выводящие на подвальные лестницы, мимо лестницы, ведущей на верхние этажи здания, Хугюнау вышел в неожиданно просторный подковообразный двор. Ко двору примыкал сад; там цвели вишневые деревья, а за ним открывался вид на красивую гористую местность.

Все это свидетельствовало о полубаварском характере бывшего владельца. Оба флигеля использовались, вероятно, в качестве амбара и конюшни; левый был двухэтажным с прикрепленной к наружной стене узкой, разве что для кур, деревянной лестничкой; не исключено, что там, наверху, когда-то располагались клетушки для батраков. Здание конюшни справа имело вместо второго этажа высокий сеновал, а одна из дверей конюшни была заменена большим, ничем не примечательным окном с металлической рамой, за которым было видно, как работает печатная машина.

У человека, стоявшего за печатной машиной, Хугюнау узнал, что господина Эша можно найти по другую сторону двора на втором этаже.

Хугюнау взобрался по куриной лестнице и сразу оказался перед дверью с надписью "Редакция и издательство", где господин Эш, владелец и издатель "Куртрирского вестника", вел свои дела. Он оказался тощим господином, без бороды и усов, на лице между двумя длинными резко выступающими складками щек саркастически гримасничал подвижный рот с актерскими очертаниями, обнажая длинные желтоватые зубы. Что-то в нем напоминало актера, что-то — пастора, а что-то — лошадь.

Переданное ему объявление было изучено с видом следователя и так внимательно, словно это была рукопись авторского произведения. Хугюнау вытащил бумажник, достал из него пятимарковую купюру, показывая, что намерен заплатить эту сумму за объявление. Но другая сторона совершенно не отреагировала на сие движение, а неожиданно спросила: "Вы хотите, значит, обобрать людей, живущих здесь? Дошли уже, стало быть, слухи о нищете наших виноградарей... Так?"

Такое агрессивное отношение было неожиданным, и Хугюнау показалось, что за этим кроется желание взвинтить стоимость объявления. Поэтому он достал еще одну марку, но результат оказался прямо противоположным ожидаемому: "Благодарствую... объявление не будет напечатано... Вам, наверное, известно, что такое продажная пресса... но, видите ли, я не продаюсь ни за ваши шесть марок, ни за десять, ни за сто!"

Хугюнау все больше убеждался, что имеет дело с бывалым деловым человеком. Именно поэтому никак нельзя было расслабляться; может, этот тип претендует на то, чтобы установить компаньонские отношения, это тоже могло оказаться вполне прибыльным делом.

"Хм, я слышал, что такого рода объявления охотно печатают при условии участия в деле за определенный процент... как насчет полпроцента комиссионных? Впрочем, тогда вам придется опубликовать объявление не менее трех раз, естественно, в каждом случае вы вольны решать сами, благотворительность не знает границ..." Он рискнул примирительно улыбнуться и присел возле грубо сколоченного кухонного стола, служившего господину Эшу рабочим местом.

Эш не слушал его, а с брюзгливо перекошенным лицом расхаживал по комнате тяжелыми неустойчивыми шагами, которые не очень-то сочетались с его худобой. Стертый пол скрипел под его ногами, а Хугюнау рассматривал дыры и строительный мусор между половицами, а также тяжелые черного цвета полуботинки господина Эша, которые странным образом были завязаны не шнурками, а напоминающей сбрую тесьмой с пряжкой, из-под края которых выбивались серые носки. Эш говорил сам с собой: "Вот и закружились эти стервятники над бедными людьми... но когда хочешь обратить внимание общественности на нищету, то сразу же сталкиваешься с цензором".

Хугюнау закинул ногу на ногу. Он начал рассматривать вещи, лежавшие на столе. Пустая чашечка из-под кофе с засохшими коричневатыми следами напитка на стенках, бронзовая копия нью-йоркской статуи Свободы (ага, пресс-папье!), керо-

синовая лампа, белый фитиль которой издалика очень сильно напоминал заспиртованного зародыша или ленточного червя. Из угла комнаты снова послышался голос Эша: "Цензору надо было бы самому как-нибудь познакомиться со всем тем горем и нищетой... ко мне приходят люди... именно поэтому было бы предательством..."

На довольно ненадежного вида полке лежали бумаги и кипы сшитых газет. Эш снова возобновил хождение по комнате. В середине покрашенной в желтый цвет стены, на случайном гвоздике висела маленькая пожелтевшая картинка в черной рамке, "Баденвайлер с Замковой горой"; это была, наверное, видовая открытка. Хугюнау подумал: такие картинки или бронзовые статуэтки очень мило смотрелись бы и в его кабинете. И как он ни пытался восстановить в памяти тот кабинет и все, что там происходило, это не удавалось, все казалось таким далеким и чужим, что он оставил всякие попытки, и его взгляд начал искать взволнованного господина Эша, коричневый бархатный пиджак и светлые полотняные брюки которого столь же мало подходили к его грубой обуви, как и бронзовая статуэтка к кухонному столу. Эш, наверное, ощутил на себе его взгляд, потому что заорал: "К черту, чего это вы здесь вообще расселись?"

Хугюнау, конечно же, мог уйти, но куда? Придумать новый план — не такое уж легкое дело. Хугюнау ощущал себя человеком, вытолкнутым какой-то чужой силой из жизни, и безнаказанно вернуться туда не было никакой возможности. Поэтому он со спокойным видом остался сидеть и начал протирать очки, как он имел обыкновение делать при сложных деловых переговорах, дабы сохранить самообладание. Расчет и в этом случае оказался верным, ибо Эш с раздраженным видом бесцеремонно уставился на него и начал снова: "Откуда вы, собственно, взялись? Кто вас прислал сюда?.. Вы не здешний, и вам не запудрить мне мозги, будто вы сами намерены стать здесь виноградарем... Вам нужно здесь только пошпионить. В тюрьму бы вас засадили!"

Эш стоял перед ним. Кожанный поясной ремень выбился из-

под бархатной коричневой жилетки. Одна штанина была более светлого цвета. И тут не поможет никакая химчистка, подумал Хугюнау, надо было бы покрасить брюки в черный цвет, может, сказать ему это, что он, собственно, хочет? Если действительно вышвырнуть меня отсюда, то зачем тогда провоцировать меня на спор... он хочет, значит, чтобы я остался? Что-то здесь не клеилось. В глубине души Хугюнау испытывал какое-то дружеское чувство к этому человеку и в то же время нюхом чуял выгоду. И он попытался обходным путем убедиться в этом. "Господин Эш,— произнес он,— я пришел к вам с совершенно лояльным предложением, и если вы хотите отказаться от него, то это ваше дело. Но если же вы хотите просто оскорблять меня, то наш дальнейший разговор не имеет совершенно никакого смысла".

Он сложил очки, приподнялся немного на стуле, символизируя таким образом, что может и уйти,— нужно всего лишь сказать это.

Эшу и вправду не очень-то хотелось прерывать разговор: он примирительно поднял руку, и Хугюнау сменил символическую позу человека, готовящегося уйти, на позу сидящего человека. "Так вот, буду ли я здесь выращивать виноград, вопрос, конечно, сомнительный, и тут вы совершенно правы, хотя и это исключить полностью нельзя; стремишься же ведь к спокойной жизни. Но ни один человек не хочет оказаться в нищете,— Хугюнау разволновался,— маклер имеет точно такое же понятие о чести, как и любой другой человек, он хочет просто заниматься делом, которое приносило бы удовлетворение обеим сторонам, в этом случае и он получит свою частичку радости. В остальном я хотел бы вас попросить быть поосторожнее с выражениями типа "шпион", в военное время это небезопасно".

Эш почувствовал себя пристыженным: "Ну, я не хотел вас оскорбить... но иногда в душе поднимается что-то такое, что обязательно стремится вырваться наружу... один кельнский архитектор, отпетый мошенник, скупил по бросовым ценам земельные участки... изгнал людей из их домов и усадеб... и

помог ему в этом местный аптекарь... зачем господину аптекарю Паульзену виноградники? Может, вы мне сможете это объяснить?"

Хугюнау обиженно повторил: "Пошпионить..."

Эш снова пришел в движение: "Уезжать надо. Куда всегда уезжали. В Америку. Будь я помоложе, я бы бросил все и начал сначала...— остановившись перед Хугюнау, он продолжил: — Но вы, вы молоды, почему же вы, собственно говоря, не на фронте? Как случилось, что вас занесло сюда?" Как-то сразу его голос снова стал агрессивным. Ну а у Хугюнау не возникало желания касаться этой темы; он предпочел уклониться: все-таки непостижимо, что человек, занимающий такое положение, стоящий во главе газеты, живущий в окружении красивых ландшафтов, пользующийся уважением сограждан и т. д., носится в преклонном возрасте с планами выезда в другую страну.

На лице Эша появилась саркастическая гримаса: "Уважение моих сограждан, уважение моих сограждан... да они словно собаки шныряют за мной..."

Хугюнау рассматривал Замковую гору возле Баденвайлера, затем пробормотал: "Невозможно поверить..."

"Ну да, теперь, может быть, вы будете вступаться за сограждан, меня это совершенно не удивит..."

Хугюнау снова был готов продолжать разговор: "Опять эти расплывчатые обвинения, если уж вы хотите меня в чем-то упрекнуть, господин Эш, то соизвольте выразаться по крайней мере точнее".

Но совладать со вспыльчивым и раздраженным образом мыслей господина Эша было не так-то просто. "Точные выражения, точные выражения, снова и снова болтовня... как будто можно всему подыскать свое название...— он кричал Хугюнау прямо в лицо.— Молодой человек, пока вы не поймете, что все названия — ложь, вы не поймете вообще ничего... даже того, что одежда на вашем теле — это правильно".

Подобные мысли казались Хугюнау жутковатыми. Он сказал, что не понимает Эша.

"Естественно, вы меня не понимаете... Но то, что аптекарь ни за грош табаку спекулятивным путем скупает земельные участки, это вы понимаете... И вам наверняка понятно, почему преследуют человека, называющего вещи своими именами, почему создают ему скверную славу эдакого коммуниста и травливают на него цензора, и это вы считаете правильным... Вы, наверное, еще и полагаете, что мы живем в правовом государстве?"

"Такие отношения неприятны",— ответил Хугюнау.

"Неприятны! Уезжать надо... Я сыт по горло возней со всем этим..."

Хугюнау спросил, что господин Эш помышляет делать с газетой.

Эш пренебрежительно махнул рукой, он уже столько раз говорил своей жене, что лучше всего продать все это скопом и сохранить только дом; он уже подумывал о том, чтобы открыть книжный магазин.

"Так газета, стало быть, сильно страдает от нападков, господин Эш? Я имею в виду, что продать ее, наверное, не так уж просто?"

Да нет, не так, у "Вестника" своя постоянная клиентура: посетители забегаловок, парикмахеры, жители деревень по всей округе; нападки ограничиваются кругом определенных лиц в городе. Но он сыт по горло возней со всем этим.

Нет ли уже у господина Эша соображений касательно цены?

Отчего же... Откровенно говоря, газета вместе с типографией стоит не менее двадцати тысяч марочек. Кроме этого, он хотел бы предоставить фирме, которая будет издавать газету, помещения на длительный срок, скажем на пять лет, и бесплатно; покупателю это тоже было бы выгодно. Такие мысли роились в его голове, это было бы порядочно, он не хочет ни с кого запрашивать очень дорого, ему просто надоело. Он и жене своей так сказал.

"Ну что ж,— отозвался Хугюнау,— это интерес не любопытства ради... Я же говорил вам, что я маклер, и не исключено,

что смогу кое-что сделать для вас. Вот увидите, дорогой Эш,— и он покровительственно похлопал владельца газеты по костлявой спине.— Все-таки мы с вами еще заведем совместное дельце; не следует только преждевременно вышвыривать кого бы то ни было на улицу. Но двадцать тысяч марочек выбросьте из головы. За фантазии сегодня не заплатит ни один человек”.

С чувством собственного достоинства и с нарочито приветливым видом Хугюнау спустился вниз по куриной лестнице.

Перед типографией сидел ребенок.

Хугюнау оценивающим взглядом посмотрел на него, затем внимательно осмотрел вход в типографию. “Посторонним вход воспрещен” стояло на табличке.

Двадцать тысяч марочек, подумал он, и малыш в задаток.

Он был посторонним, но запретить ему входить было уже невозможно; выступающий посредником при купле-продаже должен прежде всего познакомиться с товаром. Эш, собственно говоря, был бы даже обязан показать типографию. Хугюнау подумал, а не позвать ли его сюда, вниз, но затем решил оставить все, как есть: через день-два все равно придется придти сюда, может, даже с конкретным предложением о покупке — в этом Хугюнау не сомневался ни на минуту,— а кроме того, было самое время отобедать. Так что он направил свои стопы в гостиницу.

8

Ханна Вендлинг проснулась. Но глаза не открывала, поскольку таким образом могла еще немножечко задержать ускользающий сон, он все же медленно уплывал прочь, и в конце концов осталось одно только чувство, рожденное этим сном. А когда начало иссыхать и чувство, то за мгновение до его окончательного исчезновения Ханна добровольно сдалась и, приоткрыв глаза, посмотрела в сторону окна. Через щелочку в ставнях сочился молочный свет; должно быть, еще очень рано или

на улице дождливая погода. Полосы света казались продолжением сна, может, потому, что с ними внутрь не проникало ни звука, и Ханна решила, что, наверное, еще очень рано. Между открытыми створками окна тихо покачивались ставни; это был, вероятно, ранний утренний ветер, она легонько потянула носом, словно таким образом могла определить, который час. Затем рука ее потянулась к стоящей рядом кровати; она была застелена, а подушка, перина, одеяла аккуратно заправлены и накрыты плюшевым покрывалом. Прежде чем убрать руку, дабы снова спрятать под теплым одеялом обнажившееся плечо, она еще раз коснулась податливого и чуть холодноватого плюша, это была как будто попытка убедиться, что она одна. Тонкая ночная рубашка закатилась выше бедер, сбившись в неприятный комок. Ах, в эту ночь ей опять спалось беспокойно. Между тем, в качестве компенсации, правая ее рука расположилась на теплом гладком теле, а кончики пальцев тихо и едва уловимо поглаживали кожу и пушок на животе. Сама она, должно быть, думала о какой-нибудь французской картине с любовным сюжетом эпохи рококо; затем ей вспомнилась "Обнаженная Маха" Гойи. В таком положении она полежала еще немного. После опустила рубашку — странное дело, тончайшая ткань рубашки вызывает столь быстрое ощущение тепла. Повернуться ей направо или налево? Решила: направо, как будто бы застеленная кровать будет мешать доступу воздуха к ней, еще раз прислушалась к царящей на улице тишине и начала погружаться в новый сон, она убежала в новый сон еще до того, как смогла что-либо снаружи услышать.

Опять проснувшись через час, она никак не могла избавиться от ощущения, что утро уже позднее. Для человека, связанного слабыми и едва уловимыми нитями с тем, что принято называть жизнью, утренний подъем — всегда довольно трудная задача, даже, может быть, маленькое изнашивание. И у Ханны Вендлинг, которая снова ощутила неизбежность приближающегося дня, разболелась голова. Боли начались в затылке. Она запустила руки в волосы, мягко струившиеся по пальцам, на

какое-то мгновение боль отступила. Она нажала на болевшее место; тянущая боль начиналась за ушами и спускалась к шейным позвонкам. Ханне она была знакома. Иногда возникали столь сильные приступы этой боли, что у нее начинались страшные головокружения. Внезапным и решительным движением она сбросила одеяло, скользнула ногами в высокие жесткие домашние туфли, распахнула, не поднимая их, жалюзи и, стоя перед туалетным зеркалом, с помощью небольшого зеркала попыталась рассмотреть вызывающий боль затылок. Что же там болит? Ничего не бросалось в глаза. Она поворачивала голову то в одну, то в другую сторону; под кожей играли позвонки — впрочем, это был достаточно милый затылок. Да и плечи тоже ничего. Она с удовольствием позавтракала бы в постели, но шла война; стыдно так долго валяться в кровати. К тому же ей нужно было отвести мальчика в школу. Каждый день она намеревалась это сделать. Два раза даже осуществила свое намерение, но в конце концов все же оставила это на попечение служанки. К мальчику уже давно пора было бы приставить француженку или англичанку. Англичанки для воспитания лучше. Когда закончится война, нужно отправить мальчика в Англию. Когда ей было столько лет, сколько ему, да, в семь лет, она лучше говорила по-французски, чем по-немецки. Она взяла флакончик с туалетным уксусом и вытерла затылок и виски, затем начала внимательно рассматривать в зеркале глаза — золотисто-карие, а в левом виднелась красная жилочка. Это от беспокойного сна. Накинув на плечи кимоно, она звонком позвала служанку.

Ханна Вендлинг, супруга адвоката доктора Хайнриха Вендлинга, была родом из Франкфурта. Хайнрих Вендлинг уже два года находился в Румынии, или Бесарабии, или еще где-то там в тех краях.

Хугюнау сел за столик в обеденном зале. За одним из соседних столиков он увидел седовласого майора, перед которым официантка как раз поставила суп; немолодой господин повел себя довольно странным образом: сложив руки и смиренно прикрыв красноватое лицо, он слегка наклонился над столом и только по завершении этой молитвы разломил хлеб.

При виде столь необычного действия у Хугюнау чуть глаза на лоб не вылезли; он подозвал к себе официантку и довольно бесцеремонно поинтересовался, кто этот странный офицер.

Девушка наклонилась к самому уху: это комендант города, знатный землевладелец из Западной Пруссии, призванный в связи с войной на военную службу из запаса. Жена и дети остались в имении, он ежедневно пишет им письма. Комендатура располагается в ратуше, но господин майор с самого начала войны живет здесь, в гостинице.

Хугюнау удовлетворенно кивнул. Вдруг в животе он ощутил парализующий холод: до него внезапно дошло, что там вот сидит человек, воплощающий власть военной администрации, что этому человеку достаточно всего лишь протянуть руку со столовой ложкой, чтобы уничтожить его, это значит, что он живет со своим в определенной степени палачом едва ли не через стенку. Аппетита как не бывало! Может, отменить заказ и дать деру?!

Но официантка уже принесла суп, и когда Хугюнау начал механически работать ложкой, парализующий холод перешел в где-то даже приятное ощущение прохладной слабости и беззащитности. Ему ведь никак нельзя бежать, он же должен урегулировать дела с "Куртрирским вестником".

Да и настроение как-то поднялось. Потому что хотя человек и полагает, что его решения имеют широкий диапазон разнообразия, в действительности же они — просто колебание между бегством и тоской, и все эти попытки удрать, все эти страстные стремления предназначаются все-таки смерти. И в этом коле-

бании души и духа между плюсом и минусом ощутил Хугюнау, еще мгновение назад готовый к бегству Вильгельм Хугюнау, как его странным образом привлекает этот сидящий неподалеку немолодой человек.

Продолжая механически есть, он даже не заметил, что сегодня мясной день. В распахнувшейся до предела, так сказать, ясной реальности, частью которой он ощущал себя уже в течение нескольких недель, вещи распадались, расходились в разные стороны чуть не до самой Польши, достигали края света, где все распавшееся снова становилось единым и теряло свой смысл понятие расстояния — страх становился тоской, тоска — страхом, а "Куртрирский вестник" сливался во что-то удивительным образом неразделимое с тем седовласым майором. Это невозможно было выразить как-то поточнее или рациональнее, поскольку поступки Хугюнау сопровождались игнорированием какого бы то ни было расстояния, в определенной степени казались иррациональными, словно находились под воздействием короткого замыкания; собственно говоря, и ожиданием-то нельзя было назвать то, как Хугюнау ждал, пока майор закончит свою трапезу, это была своего рода одновременность причины и действия; в результате он поднялся в то мгновение, когда майор после повторной немой молитвы отодвинул от стола стул и зажег сигару: без всякого стеснения он, не медля, направился к майору, непринужденно подошел к нему, хотя еще совершенно не знал, что назовет поводом для этого налета.

Едва представившись подобающим образом, он без приглашения уселся за столик, с его уст без единой запинки потекло: он позволил себе подойти и имеет честь доложить, что является сотрудником службы печати и находится здесь по ее заданию, тут, собственно, имеется местная газетка, называется "Куртрирский вестник", о позиции, которую она занимает, ходят всевозможные внушающие опасения слухи, и он, облаченный соответствующими полномочиями, приехал сюда, чтобы изучить положение дел непосредственно на месте. Так вот,

а...— что сейчас говорить, подумал Хугюнау, но поток речи не иссякал; казалось, что то, что следовало сказать, формировалось уже на устах,— так вот, а поскольку вопросы цензуры в определенной степени и в определенном смысле относятся к компетенции военной администрации города, то он посчитал себя обязанным засвидетельствовать господину майору свое почтение и сообщить о своей работе.

В ходе этой речи майор едва заметным движением принял предусмотренное уставами подтянутое положение и попытался возразить, что рассмотрение такого рода проблем вполне под силу обычной администрации; Хугюнау, не перестающий блистать красноречием, в одно мгновение отменил возражение ссылкой на то, что он, преисполненный уважения, подошел к господину майору не как официальное лицо, а просто как гражданин, поскольку упомянутые полномочия предоставлены не государством, а скорее патриотически настроенными крупными промышленниками (имена называть здесь ни к чему, они и так известны), которые возложили на него миссию скупать по приемлемым ценам сомнительные газеты, поскольку нужно воспрепятствовать тому, чтобы до народа доходили вызывающие сомнения идеи. И Хугюнау повторил слова "вызывающие сомнения идеи", словно возвращение к исходному моменту обеспечивало ему безопасность, словно эти слова были хорошей кроваткой, на которой можно удобно расположиться.

Вполне возможно, что майор не понимал, куда все это ведет, но он кивнул, и Хугюнау начал свою песню снова: да, речь идет о сомнительных газетах, а по его собственному, да и вообще по общепринятому человеческому пониманию "Куртрирский вестник" является сомнительной газетой.

С видом триумфатора он уставился на майора, его пальцы барабанили по столу, казалось, он ждет от коменданта города восхищения и похвалы за проделанную работу. "Очень патриотично, все всякого сомнения,— согласился наконец майор,— и я признателен за это сообщение".

Хугюнау мог бы уже и удалиться, но ему нужно было до-

биться большего, так что он поблагодарил господина майора прежде всего за продемонстрированную благосклонность и решился в заключение выразить, исходя из такой благосклонности, просьбу, маленькую просьбу: "Стоящие за мной лица, которые предлагают производить такого рода приобретения, вполне понятное значение придают тому, чтобы при покупке газеты, которая в той или иной степени должна называться местной газетой, в деле были задействованы и местные заинтересованные лица; это вполне можно понять — для осуществления контроля и тому подобное... господин майор понимает?"

"Да", — ответил майор, ничего не понимая.

"Ну, — продолжал Хугюнау, — моя просьба состоит в том, чтобы вы, господин майор, могли бы все-таки назвать нескольких надежных и состоятельных господ, проживающих в данной местности, которые — само собой разумеется, при сохранении инкогнито — были бы заинтересованы в проекте".

"Все эти дела относятся, собственно, к компетенции гражданской администрации, а не военного командования, но я мог бы посоветовать вам появиться здесь в пятницу вечером, поскольку в этот день тут постоянно можно встретить кое-кого из депутатов городского совета, а также других представителей зажиточных слоев города".

"Отлично! А господин майор тоже будет присутствовать? — воскликнул Хугюнау, от которого не так легко было отделаться. — Отлично, а если бы господин майор взял на себя покровительство над всей акцией, то я смог бы гарантировать успех, особенно с учетом того, что речь все-таки идет об относительно небольших капиталах, и очень многие господа будут в высшей степени заинтересованы в установлении таким образом контакта и определенных партнерских отношений с крупной индустрией... отлично, действительно отлично... господин майор, позвольте закурить..." И, пододвинув свой стул поближе, Хугюнау достал из футляра сигару, протер стекла очков и закурил.

Майор сказал, что это наверняка сулит очень хорошие пер-

спективы, и ему жаль, что он ничего не понимает во всех этих коммерческих вопросах.

О, ничего страшного, не замешкался с ответом Хугюнау, на деле это не отразится. А поскольку он хотел еще разок окинуть взглядом всю свою затею, может, ради внешнего лоска, может, для того, чтобы закрепить достигнутую безопасность, а может, из простого озорства, он пододвинулся к майору еще поближе и попросил разрешения сообщить ему нечто, что в общем-то предназначается господину майору лично. Дело, собственно говоря, в том, что после имевших место ранее бесед с издателем газеты неким Эшем, о котором господин майор, конечно же, уже слышал, он пришел к твердому убеждению: за газетой скрывается, как бы это правильно сказать, абсолютно невидимое для глаз движение вызывающих опасение подрывных элементов, кое о чем можно было бы поговорить уже сейчас, но если бы началась реализация газетного проекта, то он наверняка смог бы получить больше сведений об этих темных делах, что, естественно, совершенно необходимо и к чему надо стремиться в интересах всего народа.

И прежде чем немолодой господин сподобился ответить, Хугюнау встал и закончил свою речь: "Что вы, что вы, господин майор, это всего лишь мой долг патриота... не стоит об этом даже упоминать... значит, я позволю себе принять столь почетное приглашение и прийти сюда в пятницу вечером".

Он щелкнул каблуками и легкой, почти танцующей походкой вернулся к своему столику.

10

То, что господин Август Эш выполнял свою работу в редакции таким яростным и нетерпимым образом и что он чувствовал себя на этом месте крайне неудобно, во многом можно было объяснить тем, что он всю свою жизнь был бухгалтером, а в течение многих лет даже главным бухгалтером крупной про-

мышленной фирмы на его люксембургской родине, пока он — случилось это где-то в середине войны — не получил совершенно неожиданное наследство и не стал владельцем "Куртрирского вестника" и относящегося к нему земельного участка.

Бухгалтер, а тем более главный бухгалтер — это человек, живущий в рамках своего чрезвычайно точного порядка, порядка, который настолько точен и выверен, что никакая другая деятельность ничего подобного уже предложить не может. На основе и под защитой такого порядка он привыкает к жизни в могущественном и тем не менее смиренном мире, где каждая вещь знает свое место, где сам он постоянно владеет собой, а его взгляд всегда остается осмысленным и все понимающим. Он листает страницы бухгалтерского гроссбуха и сравнивает их с данными журнала регистрации и книги остатков; безупречные мосты цифр ведут все дальше и дальше, обеспечивая жизнь и повседневную работу. По утрам слуга или маленькая фрейлейн приносят из информационного бюро бухгалтерские документы, старший бухгалтер ставит на них свою подпись, потом молодые служащие заносят эти документы в черновую тетрадь. По окончании сего процесса старший бухгалтер может спокойно подумать над более сложными делами, отдать указания, затребовать навести справки. И если результатом процедуры является решение сложной бухгалтерской задачи, то от континента к континенту перекидываются все новые и новые надежные мостики, и этот лабиринт надежных связей между счетами — страшно запутанная, а для него все же предельно четкая сеть, где невозможно найти ни единого разрыва, — находит в конечном итоге свое выражение в одной-единственной цифре, которую он видит уже сейчас, хотя в итоговые расчеты она войдет всего лишь по истечении месяцев. О, итоговые расчеты, будоражащие его чувства абсолютно независимо от того, приносят они прибыли или убытки, поскольку любое дело приносит бухгалтеру прибыль и чувство удовлетворения! Ежемесячные промежуточные итоги — это уже победа силы и искусства, тем не

менее они ничто по сравнению с подведением бухгалтерских итогов в конце каждого полугодия: в эти дни он командует ко- раблем, и его рука постоянно находится на штурвале; молодые служащие отдела подобны штурвальным рабам, не существует ни обеденных перерывов, ни сна, пока не будут завершены все счета; но составление счета прибылей и убытков и итогового счета он оставляет за собой, он выводит сальдо и проводит косую итоговую черту, и тогда всю работу завершает его под- пись. Но беда, если итог не сходится хотя бы на один пфенниг. Новое, еще более острое сладостное ощущение. Вместе с пер- вым помощником глазами детектива он просматривает сомни- тельные счета, а если это не помогает, то безо всякого снисхо- ждения производится перерасчет всех бухгалтерских операций за полгода. И горе тому молодому сотруднику, в работе которо- го найдут ошибку, его ожидают ярость и холодное презрение, даже — увольнение. Если же, между тем, оказывается, что ошибка сделана не в бухгалтерских расчетах, а при внесении записей в книги учета на складах, то главный бухгалтер просто пожимает плечами, по его губам скользит саркастическая улыбка сожаления, поскольку внесение записей в книги учета лежит вне сферы его полномочий, да и без того он прекрасно знает, что на складах, как и в жизни, никогда не достичь того порядка, который царит в его книгах учета. Презрительно мах- нув рукой, он возвращается в свой кабинет, и когда затем все успокаивается, то часто бывает, что главный бухгалтер открыв- ает наугад один из фолиантов, разглаживает большим паль- цем страницу и проверяет, складывая колонки цифр, радуясь своей способности, позволяющей с полной уверенностью от- решиться от всех мыслей и радоваться неожиданности, которая вот-вот должна явиться и тем не менее не является, поскольку счета представляют собой чудо, возвышающееся надежной скалой в мире неопределенности. Тогда случается, что его рука соскальзывает со стройных рядов цифр, к его сердцу подкра- дывается тоска, и он задумывается над новыми системами, внедрять которые обязан современный бухгалтер, и когда он

вспоминает при этом, что в новых системах вместо весомых и крупногабаритных книг используются жалкие карточки, а личное мастерство заменяется счетными машинами, то его душу заполняет жуткая ярость.

За пределами своей профессии бухгалтеры легко раздражаются. Невозможно различить четкую границу между реальностью и ирреальностью, а тот, кто живет в мире закрытых взаимосвязей, не допускает, что где-то еще существует иной мир, взаимосвязи которого ему непонятны; кто выходит за пределы своего прочно устоявшегося мира, становится нетерпимым, он превращается в аскетичного и страстного фанатика, он становится даже возмутителем спокойствия. На него опускается тень смерти, и бывший бухгалтер — если он уже достаточно преклонных лет — годится теперь только для ничтожных будней пенсионера, который, изолировавшись от внешнего мира и всех случайностей, ограничивается тем, что поливает травку в своем саду и ухаживает за фруктовыми деревьями; но если же он еще бодр и работоспособен, то его жизнь превращается в изнурительную борьбу с реальностью, которая для него является ирреальностью. Тем более, если судьба или наследство приводят его на такое уязвимое место, как должность издателя газеты, будь это даже какое-то там маленькое провинциальное издание, которое ему предстоит возглавить. Нет, наверное, больше ни одной профессии, кроме профессии редактора, которая в такой степени зависела бы от непредсказуемости и ненадежности течения событий в мире, особенно в военное время, когда информация и контринформация, надежда и разочарование, отвага и нищета стоят настолько рядом, что правильное занесение их в книги учета становится откровенно невозможным: только с помощью цензуры можно определить, что должно считаться правильным, а что — нет, и каждый народ живет в своей собственной патриотической реальности. Здесь какой-то там бухгалтер будет очень некстати, поскольку он, не мудрствуя лукаво, стремится написать, что наши бравые войска, ожидая приказа к дальнейшему наступлению, еще находят-

ся на левом берегу Марны, тогда как французы со своей стороны в действительности уже давно высадились на правом берегу. И когда цензор устраивает разнос за такую неправду, то бухгалтер, особенно если он человек с резким характером, неизбежно начинает злиться и доказывать, что генерал-квартирмейстер хотя и сообщил о создании плацдарма на левом берегу, но об отводе войск даже не упоминал. Это всего лишь один пример из многих, можно, наверное, сказать, из сотен, и каждый из них всякий раз показывает, насколько невозможное это дело вносить записи в анналы истории с той точностью, которая является первейшей и не вызывающей сомнения предпосылкой для внесения деловых записей, и как некорректность ставшей непредсказуемой войны питает бунтарство, определенные основания для которого корректный человек имеет уже и в мирное время, но которое здесь вынуждено становиться необходимой и неизбежной борьбой между властями и справедливостью, борьбой между нереальностями, между насилиями, борьбой, которой всегда должно быть место, борьбой, сравнимой с крестовым походом Дон-Кихота против всего мира. Бухгалтер всегда будет стоять за справедливость, он за один пфенниг пройдет все инстанции, если такое требование содержится в его книгах, и даже не будучи, собственно, хорошим человеком, он будет выступать в защиту права, если только он обнаружил и зафиксировал несправедливость и нарушение закона, непреклонно и яростно он будет стоять на своем, тощий рыцарь, который постоянно будет кидаться в драку во имя счета, который во всем мире должен вестись правильно.

Так что редакционная работа господина Эша была отнюдь не такой простой, как можно было бы предположить. Выходящему два раза в неделю изданию весь материал поставляла одна из кельнских служб информации, и редактору, собственно, не оставалось ничего другого, как выискивать среди свежих ежедневных новостей наиболее интересные, выбирать среди романов и статей самые хорошие, и единственным, добыванием чего занимался он сам, были местные новости и сообщения, на

которых к тому же большей частью стояло "прислано для публикации". Пока Эш ограничивался бухгалтерским делом, которое он кардинально перестроил в "Куртрирском вестнике" (впрочем, не по американскому, а по итальянскому, требующему меньших затрат, образцу), то все это крутилось без всяких проблем и было, по сути, очень простым делом; сложности начали возникать, когда предыдущего редактора призвали в армию и господин Эш из-за своего естественного бухгалтерского экономного образа мыслей и из-за усложнившегося материального положения был вынужден самостоятельно возглавить редакцию газеты. Тут-то и началась борьба! Борьба велась за педантично точное отображение мира и против ложной и сфальсифицированной бухгалтерской информации, которую хотели всучить людям, началась война с властями, которые не могли стерпеть, что "Куртрирский вестник" информировал общественность о плохом состоянии дел на фронте и в тылу, о матросских восстаниях и о беспорядках на фабриках боеприпасов, никто не хотел даже прислушиваться к рекомендациям газеты по эффективному преодолению этих бедствий; более того, считалось даже подозрительным — хотя усмотреть в этом что-либо подозрительное мог только какой-нибудь недоброжелатель,— что господин Эш публикует такого рода сообщения, уже подумывали и о том, чтобы лишить его как гражданина другого государства (люксембуржца) права занимать должность редактора; его неоднократно предупреждали, и переписка с цензурным органом в Трире с каждой неделей становилась все более неприятным делом. Поэтому не удивительно, что господин Эш, сам не в ладах с окружающим миром, начал испытывать братское чувство к униженному и выброшенному на обочину жизни человеческому созданию, превращаясь в оппозиционера и бунтаря. Но он ни за что не хотел признавать это.

История девушки из Армии спасения в Берлине (1)

Ко многим нетерпимостям и ограниченностям, которых было великое множество в предвоенные годы и которых мы сегодня не без основания стыдимся, наверняка относилось и полное непонимание всех феноменов, которые если и выходили за рамки принятого в рационально мыслящем мире, то только самую малость. А поскольку тогда было принято рассматривать обязывающей только западноевропейскую культуру и образ мыслей, считая все остальное чем-то неполноценным, то не составляло никакого труда отнести все феномены, не соответствующие рациональной однозначности, к категории доевропейских и неполноценных. И хотя такой феномен, каким была Армия спасения, выступал под маской мира, поток оскорблений был все же неиссякаем. Всем хотелось созерцать героическое и однозначное, иными словами, эстетическое; считалось, что именно таким должно быть поведение европейцев, всех охватило ложно понятое ницшеанство, хотя большинство и имени-то Ницше наверняка никогда не слышало, шумиха эта прекратилась лишь тогда, когда мир получил возможность так насмотреться на героизм, что не хотел и слушать ничего больше о громком героизме.

Сегодня я присоединяюсь к каждому собранию Армии спасения, которое встречается мне на улице, я охотно кладу что-нибудь на блюдо для сбора пожертвований и часто вступаю в беседы с солдатами Армии спасения. Не то чтобы я был увлечен этим немного примитивным спасительным учением, я просто полагал, что перед нами, теми, кто прежде пребывал в плену у предрассудков, стоит этическая обязанность исправить, где это возможно, наши промахи, тем более, что эти промахи имели просто вид эстетической подлости, к тому же мы можем простить нашу тогдашнюю великую юность. Впрочем, процесс осознания мною этого был медленным, тем более, что во время

войны люди из Армии спасения встречались не часто. Мне приходилось слышать, что они где-то развернули широкую милосердную деятельность, и для меня было довольно большой неожиданностью встретить на одной из окраинных улочек Шенеберга¹ девушку из Армии спасения.

Я производил, наверное, впечатление слегка неряшливого человека, нуждающегося в помощи, к тому же дружеская улыбка захваченного врасплох человека побудила ее заговорить со мной под каким-то тактичным предлогом: она протянула мне одну из листовок, целую кипу которых держала под рукой. Наверное, ее бы разочаровало, если бы я просто купил одну листовку, поэтому я сказал: "К сожалению, у меня нет денег". "Ничего страшного, — ответила она, — приходите к нам".

Мы прошли несколько типичных для пригорода улочек, много незастроенных земельных участков, и я говорил о войне. Думаю, она считала меня трусом или даже дезертиром, которого под давлением внутренней потребности признаться во всем заклонило на этой теме, поскольку она откровенно пыталась направить разговор в иное русло. Но я стоял на своем (почему, я и сейчас не смог бы объяснить) и продолжал браниться.

Внезапно нас охватило замешательство. Мы шли по узкой дороге вокруг комплекса фабричных зданий, а когда дошли до угла, то оказалось, что этому комплексу не видно конца. Поэтому мы свернули налево на узкую дорожку, вдоль которой тянулась слегка провисающая колючая проволока — совершенно непонятно, что здесь надо было ограждать, земля за проволокой состояла из сплошного мусора и отходов, из черепков посуды и осколков стекла, помятых железных леек, вообще из великого множества разнообразных сосудов, которые по необъяснимым причинам оказались здесь, на этом труднодоступном отдаленном клочке земли; дорожка наконец вывела нас в чистое поле, его сложно было назвать настоящим полем, поскольку там ничего не росло, и все-таки это было поле, которое

¹ Шенеберг — один из районов Берлина.

вспыхивали, может, перед войной, а может, еще и год назад. Об этом свидетельствовали затвердевшие борозды, имевшие вид замерзших, покрытых глиной волн. А вдали через поле медленно тащился железнодорожный состав.

За нашими спинами тянулись фабричные корпуса, лежал огромный город Берлин. Положение, в котором мы находились, отнюдь не было отчаянным, только очень припекало послеобеденное солнце. Мы посоветовались, что предпринять. Продолжать путь до ближайшей деревни? "Так мы не встретим ни одной живой души", — сказал я и услужливо попытался отряхнуть пыль с ее темного форменного пиджака. Это был грубый материал — заменитель натурального материала с прокладкой из бумажных волокон, — из которого шьют формы для кондукторов.

Тут я заметил кол, который был забит впереди, словно ориентир. Решив немного отдохнуть, мы по очереди сидели в узкой полоске тени, отбрасываемой колом. Почти не разговаривали, просто потому, что мне ужасно хотелось пить. А когда стало прохладнее, мы двинулись обратно в город.

12

РАСПАД ЦЕННОСТЕЙ (1)

Есть ли в этой искаженной жизни еще реальность? Есть ли в этой гипертрофированной реальности еще жизнь? Патетический жест гигантской готовности к смерти выливается в пожимание плечами — они не знают, почему они умирают; не ощущая реальности, они проваливаются в пустоту, окруженные и убитые все-таки реальностью, которая принадлежит им, поскольку они улавливают ее причинность.

Нереальность нелогична. Кажется, что это время не может больше выйти из климкса нелогичности, антилогичности: возникает впечатление, что жуткая реальность войны приподняла реальность мира. Фантастическое стало логичной реальностью, реальность же растворилась в предельно алогичной фантазма-

гории. Время, трусливое и более жалостливое, чем что-либо другое до того, утонувшее в крови и отравляющих газах; стаи банкиров и дельцов ухватились за колючую проволоку, хорошо организованный гуманизм не преграда, он сосредоточивается на Красном Кресте и производстве протезов; города умирают с голоду и наживаются на собственном голоде, очкастые школьные учителя возглавляют штурмовые группы, жители крупных городов ютятся в норах, рабочие фабрик и другие гражданские рыскают в патрульных группах по борьбе со спекуляцией и, наконец, когда случится такое счастье, что они снова оказываются в тылу, то на производстве протезов опять наживаются дельцы. Не улавливая совершенно никакой формы, в опустившихся на призрачный мир сумерках гнетущей неуверенности, человек, подобно заблудившемуся ребенку, пытается нащупать нить хоть какой-нибудь маленькой, словно вздох, логики, ведущей сквозь ландшафт сновидений, которые он называет реальностью, хотя они и являются для него кошмаром.

Патетическое возмущение, благодаря которому это время характеризуется как безумное, патетическое сочувствие, благодаря которому его называют великим, оправданы гипертрофированной неувимостью и алогичностью событий, которые, вероятно, образуют свою реальность. Вероятно! Поскольку время никогда не может быть безумным или великим, такой может быть отдельная судьба и только. Но судьбы каждого из нас в отдельности ничем не примечательны — они обычны. Наша общая судьба — совокупность наших отдельных судеб, а значит, и жизней, а каждая из этих отдельных жизней развивается более чем "обычно", в соответствии с логикой "своя рубашка ближе к телу". Мы воспринимаем совокупность происходящего как безумие, но для каждой отдельной судьбы легко можно обеспечить логическую мотивировку. Может, мы безумны, поскольку и с ума то не сходили?

Больной вопрос: как может индивидуум, идеология которого в действительности направлена на иные вещи, осознать и смириться с идеологией и реальностью умирания? Любят отвечать,

что основной массе эти чувства в любом случае неведомы, она просто вынуждена принять сей факт — это правильно, может быть, сейчас, когда налицо усталость от войны, но ведь было время и даже сегодня можно наблюдать, как некоторые восхищаются войной и стрельбой! Любят отвечать, что обычный средний человек, жизнь которого проходит между кормушкой и кроватью, не имеет вообще никакой идеологии, и поэтому его безо всякого труда можно использовать, насаждая идеологию ненависти — ослепляющую независимо от того, национальная это ненависть или классовая; так что и такая ничтожная жизнь ставится на службу какому-нибудь сверхиндивидуальному делу, будь оно даже губительно, но пусть сохраняет видимость социальной ценности жизни; но если даже некоторые и принимают такую мотивировку, тем не менее кое-где в этой жизни встречаются другие и более высокие ценности, причастность к которым имеет вопреки всему отдельный индивидуум со всей своей жалкой посредственностью. Этому индивидууму в чем-то свойственно истинное стремление к познанию, какая-то чистая тяга к искусству, для него все-таки характерно точное чутье социальности; как может человек, создатель всех этих ценностей и участвующий в них, как может он "осознать" идеологию войны, безропотно воспринять ее и одобрить? Как может он взять в руки ружье, залезть в окопы, чтобы погибнуть там или снова вернуться оттуда к своей обычной работе, и не сойти при этом с ума? Как возможна такая метаморфоза? Как вообще может поселиться в этих людях идеология войны, как вообще могут эти люди осознать такую идеологию и сферу ее реальности, не говоря уже о более чем возможном ее восторженном признании! Они безумцы, потому что не сходили с ума?

Чужие песни оставляют равнодушными! Равнодушие, которое позволяет гражданам спокойно спать, когда во дворе расположенной неподалеку тюрьмы кто-то лежит под ножом гильотины или висит на виселице! Равнодушие, которое нужно только растиражировать, чтобы в стране никому дела не было до того, что тысячи висят на заборах из колючей проволоки! Ко-

нечно, это именно то равнодушие, и тем не менее все выплескивается наружу, поскольку речь здесь идет уже не о том, что сфера реальности чуждо и безучастно отделяется от какой-то иной сферы, а о том, что есть отдельный индивидуум, в котором слиты воедино палач и жертва, то есть речь идет о том, что одна сфера может соединять в себе гетерогенные элементы, и что вопреки этому индивидуум вращается в ней, является носителем этой реальности, совершенно естественно, как нечто абсолютно само собой разумеющееся. Он не сторонник войны и не ее противник, которые противостоят друг другу, это не перемена внутри индивидуума, который вследствие четырехлетней нехватки продуктов питания "изменился", стал другим типом и теперь противостоит, так сказать, сам себе; это раскол всей жизни, достигающий больших глубин, чем разделение по отдельным индивидуумам, раскол, проникающий внутрь отдельного индивидуума и его единой реальности.

Ах, мы знаем о нашем собственном расколе и не в силах его объяснить, нам хочется сделаться ответственными за время, в котором мы живем, но время могущественно, и мы не можем его осознать, а только называем его безумным или великим. Мы сами, мы считаем нормальным, что, вопреки расколу наших душ, все в нас протекает по логическим мотивам. Был бы человек, в котором все события этого времени представлялись бы очевидными, чье собственное логическое действие являлось бы событием этого времени, тогда, да, тогда это время не было бы больше безумным. Наверное, поэтому мы испытываем такую тоску по предводителю, дабы он обеспечил нас мотивацией события, которое нам кажется просто безумным.

13

С внешней стороны жизнь Ханны Вендлинг можно было бы охарактеризовать как безделье по заведенному порядку. С внутренней стороны впечатление странным образом возникало

то же самое. Не исключено, что сама она обозначала свою жизнь точно так же. Это была жизнь, трепещущая между вставанием утром и укладыванием в постель вечером подобно шелковой нити, свободно висящей и качающейся в разные стороны из-за отсутствия натяжения. В таком многообразии измерений жизнь теряла одно измерение за другим, да, пространство тут едва ли уже имело три измерения: вполне обоснованно можно было сказать, что сны Ханны Вендлинг были более пластичными и живыми, чем ее бодрствование. Но будь это даже целиком и полностью мнением самой Ханны Вендлинг, оно, это мнение, сути дела все-таки не отражало, поскольку освещало только макроскопические стороны бытия этой молодой дамы, тогда как о микроскопических сторонах, в которых-то все и дело, она едва ли имела представление: ни один человек не знает ничего о микроскопической структуре своей души, и, вне всякого сомнения, знать он об этом не должен. Здесь же было так, что под видимой вялостью образа жизни таилось постоянное напряжение отдельных элементов. Если возникало желание просто вырезать из кажущейся ослабленной нити достаточно маленький кусочек, то в ней обнаруживалось неимоверное скручивающее напряжение, спазм молекул, так сказать. То, что проявляется внешне, можно было бы обозвать словом нервозность, поскольку под ним понимают волнующую партизанскую войну, которую даже в самые ничтожные мгновения ведет "Я" против тех крошечных частиц эмпирического, в соприкосновении с которыми вступает его поверхность. Но если даже это во многом и соответствовало Ханне, то странная напряженность ее существа заключалась не в нервно нетерпимом отношении к случайностям жизни, находящим свое проявление в пыли на ее лакированной обуви, или в неудобстве колец на ее пальчиках, или даже в недоваренной картофелине, нет, дело было не в этом, хотя все это и трогало ее переменчивую натуру, похожую на мерцание легкоподвижного водяного зеркала на солнце, и она не могла обходиться без этого, это хоть как-то спасало от

скуки, нет, дело не в этом, а скорее в несоответствии между такой многоцветной поверхностью и невозмутимо неподвижным дном ее души, которое распростерлось подо всем этим так глубоко, что его невозможно было увидеть, да никогда и не видно было это расхождение между видимой поверхностью и невидимой, которая не ведает больше границ, это было то расхождение, в бесконечности которого разворачивается самая захватывающая игра души, это была неизмеримость расстояния между лицевой и тыльной стороной сумерек, напряжение без равновесия, наверное, можно было бы даже сказать, пульсирующее напряжение, поскольку на одной стороне находится жизнь, а на другой вечность — дно души и жизни.

Это была жизнь, во многом лишенная сути, и может, по этой причине — незначительная жизнь. То, что это была жизнь незначительной супруги незначительного провинциального адвоката, не очень много значило на тарелке весов. Потому что вообще-то на значимости человеческой судьбы очень уж далеко не уедешь. И пусть даже нравственный вес какой-то бездельницы во времена безграничного военного ужаса может быть оценен как предельно ничтожный, но не следует все же забывать и то, что из всех тех, кто добровольно или по принуждению героически взвалил на себя выполнение военного долга, едва ли не каждый охотно поменял бы свою нравственную судьбу на безнравственную этой бездельницы. И может, безучастие, с которым Ханна Вендлинг воспринимала продолжающуюся и разгорающуюся и дальше войну, было не чем иным, как выражением в высшей степени нравственного возмущения тем ужасом, в созерцание которого погрузилось человечество. И может, это возмущение достигло в ней уже таких масштабов, что сама Ханна Вендлинг ничего больше узнавать обо всем этом не решалась.

В один из последующих дней пополудни Хугюнау снова оказался у господина Эша.

"Ну, господин Эш, что скажете, дело движется!"

Эш, вносящий исправления в отпечатанный лист, поднял голову: "Какое дело?"

Ох и тупой, подумал Хугюнау, но вслух сказал: "Ну, с газетой".

"Поинтересовались бы вначале, участвую ли я в этом".

Хугюнау настороженно уставился на него: "Эй, послушайте, скомпрометировать меня вам не удастся... или, может быть, вы уже ведете переговоры где-то в другом месте?"

Затем он заметил ребенка, которого видел прошлый раз перед типографией: "Ваша дочь?"

"Нет".

"Так... скажите, господин Эш, если я должен продавать вашу газету, то вам, наверное, следовало бы показать мне свое предприятие..."

Эш сделал круговое движение рукой, показывая комнату, Хугюнау попытался его немного развеселить: "Маленькая фрейлейн, значит, относится тоже сюда..."

"Нет", — кратко ответил Эш.

Хугюнау не сдавался; ему, собственно, было непонятно, зачем он этим интересуется: "А типография, она ведь тоже сюда входит... я должен посмотреть и ее..."

"Как вам будет угодно, — Эш поднялся и взял ребенка за руку, — пойдемте в типографию".

"А как тебя зовут?" — поинтересовался Хугюнау.

"Маргерите", — ответил ребенок.

"Маленькая француженка", — заметил Хугюнау по-французски.

"Нет, — ответил Эш, — просто отец был французом..."

"Интересно, — продолжал разговор Хугюнау, — а мать?"

Они спустились по куриной лестнице вниз, Эш тихим голо-

сом ответил: "Матери уже нет в живых... отец был электриком, здесь, на бумажной фабрике, сейчас его интернировали".

Хугюнау покачал головой: "Печальная история, очень печальная... и вы взяли ребенка к себе?"

Эш спросил: "Вам что, необходимо все это разузнать?"

"Мне? Нет... но девочке же где-то нужно жить..."

Эш неприветливым тоном объяснил: "Она живет у сестры матери... а сюда иногда приходит пообедать... это бедные люди".

Хугюнау был доволен, что теперь ему все известно: "Alors tu es une petite Francaise, Marguerite?"¹

Девочка посмотрела на него снизу вверх, по ее лицу проскользнула тень воспоминания, она отпустила Эша, ухватилась за палец Хугюнау, но ничего не ответила.

"Она не знает ни слова по-французски... Прошло ведь уже четыре года, как отца интернировали..."

"Сколько ей лет сейчас?"

"Восемь",— ответила девочка.

Они вошли в типографию.

"Вот типография,— сказал Эш,— печатные машины и наборный стол уже потянут на свои две тысячи".

"Устаревшая конструкция",— отреагировал Хугюнау, который еще никогда в жизни не видел печатную машину. Справа стоял наборный стол; посередине от времени наборные кассы Хугюнау не заинтересовали, но печатная машина ему понравилась. Кирпичный пол вокруг машины, во многих местах укрепленный бетонными пятнами, был пропитан маслом и имел коричневатый цвет. Тут располагались машины, они стояли прочно и уверенно, чугунные части были покрыты черным лаком, тускло поблескивали тяги из ковкого железа, а на сочленениях и подшипниках сидели желтые латунные кольца. Пожилой рабочий в синей спецовке протирал паклей тусклые тяги, не заботясь о посетителях.

¹ Ты, значит, маленькая француженка, Маргерите? (фр.).

"Так, это все, пойдемте...— сказал Эш,— пошли, Маргерите". Не попрощавшись, он ушел, оставив своего гостя. Хугюнау посмотрел вслед этому хаму, ему, собственно, было на руку, что тот удалился — теперь можно рассмотреть все не спеша. Это была приятная атмосфера покоя и прочности. Он достал свой портсигар, вынул сигару, верхний слой которой был немножко поврежден, и протянул ее мужчине у печатной машины.

Печатник вопросительно уставился на него, ведь табак был редкостью, и сигара по-прежнему считалась дорогим подарком. Он вытер руку о синюю спецовку, взял сигару, и поскольку не знал, как ему правильно следовало бы поблагодарить, произнес: "Большая редкость". "Так точно,— ответил Хугюнау,— с табаком дела идут неважно". "Да сейчас везде дела идут неважно",— добавил печатник. Хугюнау наострил уши: "Приблизительно так же высказался и ваш уважаемый шеф". "Так скажет любой".

Это был не тот ответ, который хотелось бы услышать Хугюнау: "Курите же",— скомандовал он. Мужчина, словно щелкунчик, откусил крепкими с коричневым налетом зубами кончик сигары и прикурил. Его рабочая спецовка и рубашка были расстегнуты, и на груди можно было увидеть белые густые волосы. Хугюнау охотно получил бы за свою сигарету определенную ответную услугу; мужчине следовало бы что-нибудь рассказать. Хугюнау приободрил его: "Хорошая машинка, не так ли?" "Ничего",— последовал скупой ответ. Хугюнау, симпатии которого были на стороне печатной машины, где-то даже оскорбила столь скудная похвала. А поскольку ему не оставалось ничего другого, как прервать молчание, он поинтересовался: "Как вас зовут?" "Линднер". Затем снова наступила тишина, и Хугюнау стал подумывать, не пора ли ему уже уходить, вдруг он почувствовал, что за палец опять ухватилась детская рука: Маргерите подкралась незаметно, бесшумно ступая босыми ногами.

"Tiens,— произнес он,— tu lui as échappé".¹

¹ Держи, ты ему еще покажешь (фр.).

Девочка непонимающе уставилась на него.

"Ах да, ты же не понимаешь по-французски... стыдись, ты должна выучить этот язык".

Девочка пренебрежительно повела рукой, такое же движение Хугюнау уже заметил у Эша: "Тот наверху тоже может по-французски..."

Она повторила: "Тот наверху".

Хугюнау остался доволен и тихо спросил: "Ты его не любишь?"

Лицо девочки помрачнело, она выпятила нижнюю губу, но, заметив, что Линднер курит, сообщила: "Господин Линднер курит!"

Хугюнау засмеялся и открыл портсигар: "А ты не хочешь сигару?"

Девочка отвела руку с портсигаром и медленно произнесла: "Подари денежку".

"Что? Ты хочешь деньги? Зачем они тебе?"

Вместо девочки ответил Линднер: "Теперь они начинают очень даже рано".

Хугюнау пододвинул к себе стул; Маргерите оказалась зажатой между его колен: "Знаешь, деньги мне самому нужны". Девочка медленно и зло повторила: "Подари мне денежку".

"Лучше я подарю тебе конфеты".

Девочка молчала.

"Зачем тебе деньги?"

И хотя Хугюнау знал, что "деньги" — это очень важное слово, и хотя он был в плену у них, вдруг случилось так, что он никак не мог представить себе это и напряженно задумался над вопросом "Зачем нужны деньги?"

Маргерите уперлась руками в его колени, и все ее тельце, зажатое между колен, напряглось.

Линднер буркнул: "Ах, отпустите вы ее,— и обратился к Маргерите: — Ну, давай, иди на улицу, типография не место для детей".

Взгляд Маргерите стал злым и колючим. Она снова ухвати- лась за палец Хугюнау и начала тянуть его к двери.

"Тише едешь — дальше будешь,— произнес Хугюнау, под- нявшись,— все, что нужно, так это покой, не так ли, господин Линднер?"

Линднер снова, не говоря ни слова, принялся вытирать пе- чатную машину, и тут на какое-то мгновение у Хугюнау возникло ощущение необъяснимого родства между девочкой и машиной, в определенной степени какая-то родственная связь. И словно таким образом можно было утешить машину, он быстро, пока они еще были у двери, сказал девочке: "Я дам тебе двадцать пфеннигов".

А когда девочка протянула руку, его снова охватило стран- ное сомнение относительно денег, и осторожно, словно речь шла о какой-то тайне, которая касается только их двоих и никто больше, даже машина, не должен был ничего услышать, он под- тянул девочку к себе и наклонился к самому ее уху: "Зачем тебе деньги?"

Малышка стояла на своем: "Дай".

Но поскольку Хугюнау не поддавался, она напряженно сооб- ражала, затем выдала: "Я скажу тебе".

Вдруг, вырвавшись из объятий Хугюнау, она потянула его к двери. Когда они оказались во дворе, стало заметно холоднее. Хугюнау охотно взял бы маленькое создание, тепло которого он только что ощущал, на руки; Эш был неправ, что в такое время года отпустил ребенка бегать босиком по улице. Он немного смутился и прочистил стекла очков. Лишь когда ребенок снова протянул руку и сказал "дай", он вспомнил о двадцати пфенни- гах. Но на сей раз он забыл спросить о цели, открыл кошелек и достал две железные монетки. Маргерите взяла их и убежала, а Хугюнау, брошенный, не придумал ничего лучшего, как еще раз осмотреть двор и строения. Затем ушел и он.

В тот момент, когда ополченец Людвиг Гедике собрал в свое "Я" самые необходимые частицы своей души, он прекратил этот болезненный процесс. К этому можно добавить только, что мужичок Гедике всю свою жизнь был примитивным человеком и что дальнейшие поиски вряд ли приумножили бы его душевное богатство, поскольку никогда, даже в кульминационные моменты жизни в его распоряжении не было большего количества частичек для формирования своего "Я". Но нельзя доказать, что мужичок Гедике был примитивным существом, и в менее всего можно представить себе мир и душу примитивного существа в определенной степени пустыми и словно обрубленными топором. Следует просто задуматься над тем, насколько сложно сконструированы языки примитивных существ по сравнению с языками цивилизованных народов, и тогда до сознания доходит абсурдность такого предположения. Так что совершенно не представляется возможным определить, узкий ли, широкий ли выбор сделал ополченец Гедике среди составных частичек своей души, какое их количество он допустил для восстановления своего "Я", а какое отшел в сторону; можно только сказать, что он не мог отделаться от ощущения, что ему недостает чего-то, что некогда принадлежало ему, чего-то, в чем он не очень-то и нуждается, чего он лишен и от чего, вопреки доступности, он должен был отказаться, поскольку в противном случае оно его убило бы.

К выводу о том, что здесь действительно чего-то не хватает, легко было прийти, наблюдая за скупостью его жизненных проявлений. Он мог ходить, хотя и с большими трудностями, мог есть, хотя и без радости, и само пищеварение, как и все, что было взаимосвязано с его искалеченным телом, доставляло ему множество проблем. К этому, наверное, можно было отнести и трудности с речью, поскольку часто он ощущал давление на грудь, причем такое же сильное, как и на внутренности, ему казалось, словно железная шина, охватывавшая его живот, на-

ложена также и на грудь и не дает ему говорить. Правда, невозможность и неспособность выдавить из себя самое крошечное словечко наверняка можно было обосновать как раз той экономностью, с которой он создал теперь свое "Я", которая позволяла скудный и самый ограниченный обмен веществ, для которой каждый последующий расход, будь он даже ограничен простым выдохом одного-единственного слова, означал бы невозполнимую потерю.

Он обычно бродил по саду, опираясь на две палки, коричневая борода загибалась на грудь, карие глаза над глубокими, поросшими черноватыми волосами впадинами щек смотрели в пустоту; на нем были или госпитальная куртка, или форменная шинель, в зависимости от того, какую одежду подготовила сестра, и он, конечно, не понимал, что находится в лазарете, что перед ним раскинулся город, названия которого он не знал. Каменщик Людвиг Гедике возвел для дома своей души, так сказать, каркас, и когда он бродил, опираясь на свои две палки, он, конечно же, воспринимал себя словно каркас со всяческими подпорками и распорками; между тем, он никак не мог решиться (вернее, это было для него невозможно) сам принести кирпич и камни для дома, во многом все, что он делал, или, выражаясь точнее, все, что он думал — поскольку он ведь не делал ничего,— было связано со строительством каркаса как такового, с оформлением этого каркаса, в котором имелось множество лестниц и связей, и который с каждым днем становился все более запутанным и в прочности которого приходилось сомневаться; самоцель каркаса тем не менее — истинная цель; невидимо то, что внутри каркаса, но все-таки на каждой из несущих частей висело "Я" строителя дома Людвиг Гедике, и его необходимо было оберегать от головокружения.

Доктор Флуршютц часто задумывался над тем, не перевести ли этого человека в больницу для умалишенных. Но старший полковой врач Куленбек полагал, что шок является просто следствием сотрясения, то есть не обусловлен органическими изменениями, и что пациент со временем преодолеет его. А

поскольку это был спокойный пациент, уход за которым не представлял совершенно никаких трудностей, то врачи пришли к общему мнению: держать ополченца здесь до тех пор, пока полностью не будут устранены его физические недостатки.

16

История девушки из Армии спасения в Берлине (2)

*Есть многое в жизни такого, что можно выразить только
стихами;
и пусть смеется тот, кто только прозой говорить способен;
стихи приносят избавление от некоторых тягостных долгов,
и их певучий голос дает возможность самовыраженья,
пожаловаться
можно лишь на страданье, что в угарные и сумрачные дни
подобно призракам дневным нам сердце рвет,
как пенопенье Армии спасенья: никто не улыбнется,
когда колотят все они и в тамбурины, и в барабаны.
Презрев насмешки, по переулкам держала путь Мари,
и пролегал маршрут ее по кабакам берлинским;
смех вызывала форма — соломенная шляпка вроде ни к чему,
прелестной девушкой она была и отцвела;
и голос тонкий в пенопеньях
звучал нелепо и так дрожал.
И имя было ей — Мари, жила она в приютах,
где кисло пахнет в серых коридорах
капусты гниль и копоть труб печных везде заметна,
где чистотою прет из каждой щели,
где даже летом просится на плечи
теплая шаль,
и старики сидят в приемной,
вонь изо рта и запах пота от немых ног...
Вот здесь жила она, тут в дверь входила,
и здесь в чуланчике угрюмом была ее кровать,*

*а над кроватью — Христос распятый,
молилась здесь она, благодарность вознося за муки,
воздев глаза, ждала упорно и смиренно участи своей,
которую на небесах Сын Божий уготовил ей.
Тут сон ее одолевал, и колокольным звоном ночь ее была
полна.*

*А утром — к лицу прикосновение воды холодной,
горячая ведь здесь была табу;
тускло-серым светом отливали небеса,
и ветер в ожидании свое дыханье затаил, он часто был подобен
влажной
и безжизненно висящей парусине с внезапным всплеском
жизни напряженной.*

*И время это — надежд крушенья час, забыть тебя нет мочи:
и в силах ль кто на радости надежды возлагать в попытке
день сей увековечить и прелести его воспеть?*

*Что в этот день, пришедший одиноко,
нашелся друг, по ком душа истосковалась?
Мари неведомо все это было, горячий кофе ждал ее,
порядок наведя, умывшись и подойдя к окну,
взгляд робкий бросила во двор: все хорошо, должно быть,
ведь благодать струится отовсюду.*

17

Такое случалось достаточно редко, чтобы Ханна Вендлинг выезжала в город. Она терпеть не могла эту дорогу, и не только пыльную проселочную дорогу, что в конечном итоге было бы вполне понятным делом, но и тропинку вдоль речки тоже. При этом поездка в город не занимала и 25 минут. В принципе, поездки были ей всегда в тягость, особенно с того времени, когда она каждый день забирала Хайнриха из канцелярии. Позже у них была машина, но всего лишь два месяца, поскольку нача-

лась война. А сегодня ее повез в город на своем одноконном экипаже доктор Кессель.

Она прошла по магазинам. Новое платье доставало ей лишь до щиколоток, и она ощущала, как ее ноги привлекают взгляды прохожих. Она всегда хорошо чувствовала моду, чувствовала так, как кто-то способен просыпаться в нужное время, совершенно не нуждаясь при этом в часах. Журналы мод для нее были всего лишь постоянным подтверждением ее ощущения. И то, что прохожие пялились на ее ноги, тоже смахивало на некое подтверждение. Так что Ханна Вендлинг испытывала сейчас определенную гордость, если же у нее и мелькала мысль о том, что оснований для этой гордости не так уж много, то давали знать о себе угрызения совести перед лицом всех женщин измученного вида, которые стояли у булочной "Полонез", при одной мысли о том, что какая-нибудь из них могла бы укоротить себе юбку, что к тому же практически не связано с расходами — служанка справилась бы с этим за час, невзирая на новизну фасона, — так что как ни крути, а основание для гордости все-таки имелось, а чувство гордости, как известно, повышает настроение, поэтому у Ханны Вендлинг не вызывали отрицательных эмоций ни грязь под ногтями у торговца свежей зеленью, ни мухи, роившиеся в магазинчике, в данный момент ее не раздражало даже то, что ее туфли покрылись пылью. То, как она шла по улице, останавливаясь то возле одной, то возле другой витрины, придавало ей, без сомнения, тот девический или монашеский вид, который характерен — во время войны такое часто бросается в глаза — для женщин, длительное время живущих в разлуке со своими мужьями и хранящих им верность. И поскольку Ханна Вендлинг испытывала определенное чувство гордости, то с ее лица словно бы спала вуаль; милая, почти неуловимая вуаль, которая может покрывать такие лица подобно предвестнику робко проступающего возраста, была приподнята невидимой рукой: лицо ее светилось, как первый весенний день, пришедший после такой долгой зимы.

Доктор Кессель нанес визиты в городе и собирался уже

возвращаться в лазарет; он должен был доставить ее обратно домой; они договорились встретиться возле аптеки. Подходя к аптеке, она увидела, что повозка уже там, а доктор беседует с аптекарем Паульсеном. Ханне Вендлинг можно было и не рассказывать, что люди думали об аптекаре Паульсене, да, ей, не ограничиваясь этим отдельным случаем, вероятно, было известно, что все мужчины, знающие об измене своих жен, внешне проявляют особую и излишне витиеватую галантность по отношению к другим женщинам; и все же она была польщена, когда он расшаркался перед ней со словами "Какой приятный визит, ну прямо как прелестный весенний день". Хотя обычно Ханна Вендлинг имела обыкновение очень решительно и с пренебрежительным видом отделяться ото всех, сегодня, поскольку она чувствовала себя раскрепощенно и свободно, комплименты даже жалкого аптекаря воспринимались ею благосклонно — это был бросок из одной крайности в другую, колебание между полным уединением и полной раскрытостью, крайность позиции, как это обыкновенно бывает у стеснительных людей, что, конечно же, не имеет ничего общего с крайностями римских пап эпохи Ренессанса, скорее неустойчивость и безликость простого маленького человека, напрочь лишённого понятия о своей значимости. По крайней мере можно объяснить лишь недостаточным пониманием своей значимости тот факт, что Ханна Вендлинг, присев на оббитую красным плюшем лавку в аптеке, позволила себе бросать на аптекаря Паульсена дружеские взгляды и выслушивать его лирические словоизлияния, которым она и верила и не верила одновременно. Да, она подчеркнуто сильно рассердилась на доктора Кесселя, которого звало в лазарет чувство долга и которому пришлось напомнить, что им пора, и когда она садилась рядом с ним в экипаж, то на лицо ее снова опустилась вуаль.

Всю дорогу она не сказала ни единого слова, кроме "да" и "нет", такой же молчаливой была она и дома. Она снова никак не могла понять, почему так сильно противилась тому, чтобы вернуться на время войны в родительский дом во Франкфурте.

То, что в маленьком городке проще обстоят дела с продуктами питания, что она не может оставить виллу без присмотра, что воздух здесь более благоприятен для мальчика, все это были отговорки, служившие только тому, чтобы как-то объяснить странное состояние отчуждения, отчуждения, наличие которого невозможно отрицать. Она одичала, так и было сказано доктору Кесселю; "одичала" повторила она. Когда она произнесла это, то возникло ощущение, будто Хайнрих в ответе за все это, как когда-то она укоряла его за то, что он отдал в металлолом латунную ступу из кухни. Это таинственное ощущение коснулось даже ее отношения к мальчику. Ей стоило усилий, когда она просыпалась ночью, представить, что в соседней комнате спит мальчик и что это ее ребенок. И издавая пару аккордов на фортепьяно, она замечала, что руки, которые делают это, вовсе не ее, это были чужие неуклюжие пальцы, и она знала, что вскоре разучится даже играть. Ханна Вендлинг направилась в ванную, чтобы смыть с себя ощущение этого дня, проведенного в городе. Затем она начала внимательно рассматривать себя в зеркале, пытаясь определить, ее ли это еще лицо. Она пришла к выводу, что ее, но заметила, что на нем какая-то странная пленка, и хотя ей это, собственно говоря, даже понравилось; виноватым во всем она все равно посчитала Хайнриха.

Впрочем, она сейчас все чаще и чаще ловила себя на том, что больше уже не использует его имя и что даже для себя самой называет его так, как привыкла говорить о нем посылным: доктор Вендлинг.

18

История девушки из Армии спасения в Берлине (3)

На какое-то время из поля моего зрения исчезла Мари, девушка из Армии спасения. Берлин был похож тогда... Да, на кого или на что он был похож? Стояли жаркие дни, асфальт плавился, никакие ремонтные работы не велись, дамы играли

главную роль, выполняя такие ответственные функции, как продажа билетов и тому подобное; листья на деревьях были вялыми, несмотря на весну, они напоминали детей, но со старческими лицами, а если дул ветер, то поднимались клубы пыли и по городу носились клочья газет; Берлин стал более деревенским, так сказать, более близким к природе, но именно поэтому и более неестественным, он был похож, если можно так выразиться, на свою собственную копию. В квартире, где я снимал комнату, две или три комнаты занимали еврейские беженцы из-под Лодзи, я, собственно, так и не смог определить, сколько же их было и кем они приходились друг другу; там жили пожилые мужчины с пейсами и в сапогах с голенищами трубочкой, а однажды я встретил человека в кафтане, из-под которого выглядывали белые чулки до колен, и в туфлях с пряжкой, какие носили еще в XVIII веке; некоторые мужчины носили пиджаки длинного покроя, которые только имитировали кафтан, были и молодые люди со странно молочным цветом лица, с пушистыми белокурыми бородами, производившие впечатление театрального реквизита. Как-то появился один в серой военной форме, и казалось, что даже у формы есть что-то общее с кафтаном. А иногда приходил мужчина неопределенного возраста, одетый по-городскому, его русая бородка была аккуратно подстрижена под дядюшку Крюгера, нетронутыми оставались только виски. Он постоянно носил трость со старомодной изогнутой рукояткой и пенсне на черном шнурке. Я его принял за врача. Были, естественно, и женщины с детьми, матроны в париках, девушки, одетые подчёркнуто модно.

Со временем я начал различать пару слов на немецком идише, на котором они разговаривали. Полностью этот язык постичь было просто невозможно. Но им казалось, что я их понимаю, поскольку, когда я оказывался рядом, они прекращали свою гортанную болтовню, так странно звучащую в устах столь почтенных старцев, и с опаской рассматривали меня. По вечерам они в основном сидели по комнатам, не зажигая свет,

а по утрам, когда я выходил в прихожую, все пространство которой постоянно было завешено всевозможными тряпками и где служанка чистила обувь, я часто видел у окна старика. Голова и запястье руки были охвачены молитвенным ремешком, верхняя половина его тела раскачивалась в такт движению обувной щетки, иногда он прикладывался губами к бахrome молитвенной рубахи, и в направлении окна с его дряблых, быстро шевелящихся губ слетали потоком неразличимые слова молитвы — потому, может, что окно выходило на восток.

Я был настолько увлечен суетливой жизнью евреев, что по многу часов в день исподтишка наблюдал за ними. В передней висели две олеографии, изображавшие сценки в стиле рококо, и я даже как-то задумался над тем, способны ли они воспринимать эти картины и многое другое вокруг, могут ли они смотреть на них такими же глазами, что и мы. Занятый этими наблюдениями, я совершенно забыл о девушке из Армии спасения по имени Мари, хотя и усматривал во всем этом какую-то взаимосвязь с ней.

19

Руку лейтенанту Ярецки ампутировали. Выше локтя. Куленбек делал свое дело основательно. То, что осталось от Ярецки, сидело в саду больницы, расположившись у небольшой группы деревьев, и рассматривало цветущую яблоню.

Комендант города проводил инспекцию.

Ярецки поднялся, схватившись за большую руку, нащупал пустой рукав. Затем застыл, вытянувшись по стойке "смирно".

"Доброе утро, господин лейтенант, дела, наконец, идут на поправку?"

"Так точно, господин майор, правда, не хватает приличного кусочка".

Возникло даже впечатление, что майор фон Пазенов испытывает чувство вины за руку Ярецки, поскольку он сказал: "Чертова война... не угодно ли присесть, господин лейтенант?"

"Премного благодарен, господин майор".

Майор продолжил разговор: "Где вас ранило?"

"Меня не ранило, господин майор... газ".

Майор уставился на рукав Ярецьки: "Может, я не совсем понимаю... газ ведь ведет к удушью..."

"Есть и такое воздействие газа, господин майор".

Майор задумался на какое-то мгновение, затем произнес: "Коварное оружие".

"Точно так, господин майор".

Оба подумали о том, что и Германия использует столь коварное оружие, но промолчали. Майор спросил: "Сколько вам лет?"

"Двадцать восемь, господин майор"

"В начале войны газа еще не было".

"Нет, господин майор, я думаю, нет".

Солнце освещало длинную желтую стену больницы. Белые редкие облака зависли в голубизне неба. Гравий на дорожках сада был основательно втопан в черную землю, а на краю травяного покрова копошился в земле дождевой червяк. Яблоня была похожа на большой букет белых цветов.

Со стороны больничного корпуса приближался старший полковой врач в белом халате.

"Желаю вам скорейшего выздоровления",— произнес майор.

"Премного благодарен, господин майор",— ответил Ярецьки.

20

РАСПАД ЦЕННОСТЕЙ (2)

Возмущение этого времени ощущалось даже в архитектурных сооружениях. После продолжительного брожения по улицам я всегда возвращался домой жутко усталым. Мне вовсе не нужно было пялиться на фронтоны домов, они и без того вызывали во мне чувство беспокойства. Иногда я убегал к извест-

ным новым строениям, но бегство сие не приносило желаемых результатов — в готике универмага Месселя¹, несомненно великого архитектора, я усматривал что-то комичное, и эта комичность раздражала и утомляла, причем столь сильно, что успокоиться я не мог даже возле строений в стиле классицизма. И все же я любил величественную ясность архитектуры Шинкеля².

Я уверен, что раньше, созерцая формы архитектурного выражения, человек не испытывал чувства отвращения и брезгливости; это досталось нашему времени. Не исключено, что на новые строения вовсе не обращали внимания, а если даже и обращали, то считали, что они так же хороши, как и естественны, так смотрел еще Гете на строения своего времени.

Нет, я не эстет и, конечно, никогда им не был, если даже кое-что и вызывает такое впечатление, в такой же степени маловероятно, что это ностальгическая сентиментальность, просветительский взгляд на прошедшие эпохи. Нет, за всем моим отвращением и усталостью таилось старое, очень основательное осознание того, что для эпохи нет ничего важнее, чем ее стиль. Не было эпохи в жизни человечества, которая характеризовалась бы иначе, чем своим стилем, и прежде всего, своим архитектурным стилем, ее и эпохой-то можно назвать постольку, поскольку она имеет свой собственный стиль.

Пусть говорят, что мои усталость и раздражительность объясняются плохим питанием. Пусть утверждают, что это время имеет свой, сильно выраженный стиль машин, пушек и железобетона, что только грядущие поколения поймут стиль этого времени. Что ж, у каждого времени имеется свой стильчик, даже период грюндерства³, вопреки всей эклектичности, имел

¹ Альфред Мессель (1859—1909) — немецкий архитектор, разнообразию стиля и орнамента предпочитал функциональное и конструктивное предназначение строений.

² Карл Фридрих Шинкель (1781—1841) — немецкий архитектор, представитель классицизма.

³ Период грюндерства — период в Германии после франко-прусской войны 1870—1871 гг.

свой стиль. Я признаю даже, что определяющие тенденции архитектурного стиля были просто низвержены техникой, что новые строительные материалы не утратили окончательно своих адекватных форм выражения и что вся вызывающая озабоченность диспропорция пока не что иное, как недостигнутая цель. И все-таки никто не сможет меня убедить в том, что новый архитектурный образ не лишен чего-то, с полным осознанием отвергаемого им, чего-то, что радикально отличает его от всех предыдущих стилей, — характерного орнамента. Конечно, и это можно определить и охарактеризовать как достоинство, ведь только сейчас научились конструировать с таким учетом материала, что можно обойтись и без орнаментальных излишеств. Но не является ли термин вроде "учет свойств материала" просто громким современным словечком? Разве в эпоху готики или в любое другое время строили без учета свойств материала? Тот, кто считает орнамент излишеством, не понимает внутренней логики строительства. "Строительный стиль" является логикой, логикой, пронизывающей все строение, от его чертежа до реальных очертаний, и в рамках этой логики орнамент является просто последним, отличительным выражением в малом единого и объединяющего замысла всего творения. Неспособность ли это к самовыражению в орнаменте или его отрицание — в данном случае это одно и то же и означает не что иное, как то, что архитектурный стиль этого времени резким образом отличается от всех предыдущих стилей.

Впрочем, что дает такой взгляд на вещи? Невозможно ни создать при помощи эклектизма орнаментальную форму, ни достичь искусственно новой, чтобы не прибегнуть к комичным творениям какого-то там ван де Велде¹. Что остается? Глубокое беспокойство, беспокойство и осознание, что этот архитектурный стиль, который таковым больше и не является, представляет собой просто симптом, злоещее предзнаменование того,

¹ Хенри ван де Велде (1863—1957) — бельгийский архитектор и мастер декоративного искусства, один из родоначальников стиля модерн, позже — рационализма.

что дух, должно быть, болен в это безвременье. Ах, и утомительно мне все это видеть. Если бы я мог, то и не выходил бы больше из своей квартиры.

21

Исходя из того, что питаться в гостинице было дорого, Хугюнау хотел позволить себе это только после того, как найдет новое дело. Кроме того, его не оставляло сильное предчувствие, что он может нанести вред своей предстоящей акции, если будет попадаться на глаза майору слишком уж часто, более разумным было бы, если бы майор забыл о его существовании до встречи в пятницу. Так что Хугюнау питался в дешевом заведении и появился в обеденном зале гостиницы лишь в пятницу вечером.

Его расчеты оказались верны. Майор ужинал. Казалось, он был более чем ошарашен, когда Хугюнау живо подрулил к нему и начал благодарить за дружески оказанную ему честь присутствовать здесь. "Да,— протянул майор, вспомнив наконец, о чем речь,— да, я представляю вас господам".

Хугюнау еще раз поблагодарил и скромно присел за столик неподалеку. А когда майор закончил вечернюю трапезу и осмотрелся по сторонам, Хугюнау улыбнулся ему и слегка приподнялся, показывая, что он к услугам господина майора. Так что они вместе направились в небольшую соседнюю комнату, где находился стол для постоянных посетителей — влиятельных господ местного масштаба.

Господа были в полном составе, даже бургомистр был здесь. Войдя в эту комнату, Хугюнау сразу же ощутил, что принимают его здесь с теплой симпатией, и его наполнило предчувствие большого успеха. Ощущение не было обманчивым. Многие из этих господ уже слышали о его приезде в город и гостиницу; он уже стал темой повсеместных разговоров, и к его предложению, как он позже рассказывал Эшу, отнеслись с ис-

кренним вниманием. Вечер принес чрезвычайно положительные результаты.

И это в итоге вовсе не было удивительным. Господа оказались под впечатлением того, что приобщены к тайному собранию, которое представляло собой одновременно и тайный суд, совершаемый над этим бунтующим Эшем. И то, что Хугюнау привлек внимание своих слушателей, объяснялось не только его сильной волей к победе, не только его фанатичной уверенностью, а также и тем, что он был не бунтарем, а скорее тем, кто заботится о себе и своем кармане, а следовательно, и говорит на том языке, который понятен другим.

Хугюнау без труда мог бы уговорить господ согласиться с требуемой Эшем суммой — двадцать тысяч марок. Но он не сделал этого. Какой-то подспудный страх повелительно говорил ему, что все должно осуществляться как бы мимоходом, но в рамках управляемости, поскольку истинная безопасность витает где-то вне или выше реальности и очень уж большая деловитость столь же опасна, как и какая-нибудь необъяснимая нагрузка. Пусть это и покажется бессмысленным; только в каждой бессмыслице есть рациональное зерно, оно имело место и в мыслях Хугюнау, что и привело странным образом к собственно итогу: потребуй или прими он от господ слишком уж много денег, кому-то могла бы прийти в голову мысль поинтересоваться его личностью и полномочиями; а поскольку он имел гордый вид и отклонил слишком высокие доли в участии, сохраняя основной пакет за подписчиками своей собственной (легендарной) группы, то ни у кого не возникало никакого сомнения, что в его лице видят представителя действительно самой мощной в финансовом отношении промышленной группы империи (группа Круппа). Не усомнился и вправду никто, в конце концов поверил в это и сам Хугюнау. Он заявил, что не уполномочен предложить уважаемым господам большее участие, чем треть от рассматриваемой суммы в двадцать тысяч марок, то есть всего шесть тысяч шестьсот марок; но он готов провести пере-

говоры со своей группой относительно того, не согласится ли она вместо большинства в две трети на простое большинство в пятьдесят один процент, он охотно также произведет запись на последующее увеличение капитала; в данный момент господам, к его большому сожалению, придется довольствоваться более скромной суммой.

Господа сокрушались, но тут уж ничего не поделаешь. Было договорено, что платежи будут осуществляться с получением временных акций, пока не будет заключен акт купли Хугюнау "Куртрирского вестника", а после последующих контактов с центральной группой созданное предприятие получит форму "общества с ограниченной ответственностью" или даже "акционерного общества". Вспомнили о будущих заседаниях наблюдательного совета, и вечер завершился здравицей в честь союзнических армий и Его Величества Кайзера Германии.

22

Проснувшись, Хугюнау полез в подушку; там он имел обыкновение хранить ночью свой бумажник. Душу его согревало приятное ощущение — он владелец двадцати тысяч марок, и хотя он знал, что в кошельке нет и тех шести тысяч шестисот марок, которые он должен получить от местных господ лишь после покупки "Вестника", а лежит там всего лишь сто восемьдесят пять марок, сумма в двадцать тысяч все же была реальной. Он — владелец двадцати тысяч марочек. И баста.

Вопреки своим привычкам, он повалялся еще немного в кровати. Если он владеет двадцатью тысячами марочек, то это безумие отдавать их Эшу только потому, что он так много хочет получить за свою дрянную газету. Каждая цена рассчитана на торг, и он добьется от Эша определенной уступки, уж в этом пусть он не сомневается. И четырнадцать тысяч было бы многовато за эту газету, а выгода в собственный карман составила бы шесть тысяч марочек. Нужно просто очень искусно обтяпать

это дело, чтобы не обнаружилось, что Эш не получит свои двадцать тысяч в полном объеме. Эту сумму можно назвать резервным капиталом, или объявить, что промышленная группа согласна пока на простое большинство вместо квалифицированных двух третей голосов, или еще что-нибудь в этом духе. Уж кое-что можно будет придумать! И Хугюнау с довольным видом спрыгнул с кровати.

Было еще слишком рано, когда он отправился в редакцию. Там он набросился на озадаченного Эша с сильнейшими упреками, связанными с плохой репутацией его газеты. Было ужасным все то, что ему, Вильгельму Хугюнау, который все-таки в действительности не несет ответственности за господина Эша, пришлось в течение последних двух дней выслушать о газете. Как маклера это не должно было бы его совершенно беспокоить, но у него разрывается сердце, да-да, именно так — разрывается сердце, когда он видит, как умышленно губится хорошее дело; газета живет за счет своей репутации, а если репутация эта терпит крах, то такая же участь ожидает и саму газету. То, как обстоят дела, до чего довел их господин Эш, свидетельствует, что "Куртрирский вестник" — это не что иное, как афера, такую газету невозможно продать. Неплохо было бы понять господину Эшу, что он должен еще доплатить собственно покупателю газеты, а не требовать с него деньги.

Лицо Эша помрачнело; затем по нему пробежала пренебрежительная ухмылка. Но этим сбить Хугюнау с толку было, конечно, невозможно: "А здесь нечего ухмыляться, дорогой друг Эш, дело принимает крайне серьезный оборот, может, даже намного серьезнее, чем вы сами предполагаете. О какой-то там рентабельности не может быть и речи, если и удастся получить некую прибыль, то только за счет неслыханных жертв, да, именно жертв, мой дорогой господин Эш. А если даже и наберется, во что ему очень хочется верить и надеяться, среди моих друзей группа готовых к жертвам господ, не боящихся этого совершенно безнадежного, если не идеалистического проекта, то вы, господин Эш, можете говорить об удаче, такой

удаче, которая бывает, наверное, единственный раз в жизни, поскольку благодаря особо благоприятным обстоятельствам и моему, можете не сомневаться, мощному посредничеству я обеспечу вам еще и вероятную прибыль в десять тысяч марок, а если вам это невдомек, то мне просто жаль, что я бескорыстно занимался вашими делами, которые меня совершенно, ну нисколько не касаются".

"Тогда оставьте все так, как было",— заорал Эш и грохнул кулаком по столу.

"Да ради Бога, я могу, конечно, оставить все так, как было... но не могу понять только, почему вы приходите в такую ярость от того, что кто-то не соглашается безоговорочно с вашими фантастическими ценами?"

"Я не требовал ничего фантастического... двадцать тысяч стоит газета, и то — между своими".

"Ну, конечно, разве не видно, как сразу соглашаются на вашу цену? Особенно если добавить, что в газету для дальнейшего развития необходимо вложить еще как минимум десять тысяч... А тридцать тысяч — это все-таки многовато, не так ли?"

Эш задумался. Хугюнау понял, что он на правильном пути: "Ну что ж, вы становитесь благоразумнее... Я, конечно, не хочу давить на вас... Вы можете не так все истолковать..."

Эш начал ходить по комнате, затем произнес: "Я хотел бы обсудить все это с моей женой".

"Нет проблем... Но только размышляйте не слишком долго... наличные денежки манят, дорогой мой господин Эш, но долго ждать они не будут,— поднявшись со стула, он добавил: — Завтра я, с вашего позволения, хотел бы поинтересоваться еще раз... и, кстати, отрекомендуйте меня вашей дражайшей супруге".

Доктор Флуршютц и лейтенант Ярецьки направлялись из больницы в город. Дорога была в ямах и выбоинах, возникших в результате того, что по ней ездили грузовики с железными шинами, поскольку резины не хватало. В безмятежно спокойном воздухе высилась тонкая черного цвета металлическая труба неработающей толевой фабрики. В лесу щебетали птицы. Рукав Ярецьки был приколот английской булавкой к карману его форменного кителя.

"Странно,— сказал Ярецьки,— с тех пор, как я лишился левой руки, правая кажется мне противовесом, тянущим вниз... лучше оттяпали бы и ее тоже".

"Вы же симметричный человек... инженеры ведь соображают в симметрии".

"Знаете, Флуршютц, иногда я уже и не вспоминаю, что имел такую профессию... Вам не понять этого, своей-то профессии вы не изменили".

"Ну, так уж однозначно это не стоит утверждать... Я был скорее биологом, чем врачом..."

"Я предложил свои услуги фирме "АЕГ", людей ведь сейчас везде не хватает. Но не могу себе представить, что я снова сижу за чертежной доской. А как вам кажется, сколько всего человек погибло?"

"Не знаю, пять миллионов, десять, а может, и все двадцать, неизвестно, сколько их будет, когда все это закончится".

"А я убежден, что это вообще никогда не закончится. Так будет продолжаться вечно".

Доктор Флуршютц остановился: "Скажите, Ярецьки, а вы вообще осознаете, что пока мы здесь так вот спокойно разгуливаем, пока жизнь вообще течет здесь столь размеренно и спокойно, в паре километров отсюда со смехом палят друг в друга?"

"Знаете, я вообще кое-чего не могу понять... Впрочем, мы с вами свою долю всего этого уже отхватили..."

Доктор Флуршютц механически пощупал шрам от огнестрельного ранения под козырьком: "Я, собственно, не это имел в виду... это случилось раньше, когда ко всему этому еще принуждали, людям было стыдно... нет, сейчас, по совести говоря, нужно было бы сойти с ума".

"Этого еще только и не хватало... благодарствую, уж лучше нализаться..."

"А рецепту этому вы следуете основательно".

Порывом ветра со стороны неработающей толевой фабрики до них донесло запах смолы.

Доктор Флуршютц, худой и согбенный, со своей белокурой козлиной бородкой и в пенсне, смотрелся в военной форме немного неуклюже. Какое-то время они молчали.

Дорога спускалась вниз. Расположенные на расстоянии друг от друга одноэтажные домики, возведенные здесь, перед городскими воротами, не так давно, выстроились в одну шеренгу и производили вполне мирное впечатление. В каждом из палисадничков виднелась заботливо ухоженная зелень овощей.

Ярецки сказал: "Вот удовольствие жить здесь, год за годом вдыхая этот смоляной запах".

Флуршютц вздохнул: "Я бывал в Румынии и в Польше. Видите ли, там везде так же мирно стоят дома, с такими же вывесками: каменщик, слесарь и всякое такое... В одном из блиндажей возле Арментьера под досками обшивки была вывеска "Tailleur pour Dames"¹... Это, может быть, пошло, но только там до меня наконец-то дошло все безумие происходящего".

Ярецки словно не слышал его: "Теперь с одной рукой я мог бы также пристроиться инженером на какой-нибудь заводик, выполняющий армейские заказы".

"Вам это больше нравится, чем "АЕГ"?"

"Нет, мне вообще уже ничего больше не нравится... А может, и с одной рукой еще раз подать рапорт на службу? Чтобы

¹ "Дамский портной" (фр.).

метать гранаты, достаточно и одной... Вы не поможете мне прикурить сигарету?"

"А что, вы уже успели сегодня опрокинуть, Ярецки?"

"Я? Стоит ли говорить о том, что я сегодня не опрокинул ни капли, и причиной тому есть вино, к которому я вас сейчас отведу".

"Хорошо, ну а как же насчет "АЕГ"?"

Ярецки усмехнулся: "Если уж быть откровенным, то это — сентиментальная попытка вернуться к гражданской жизни, иметь перед собой карьеру, остепениться, завести семью... но в это вы верите так же мало, как и я".

"А почему, собственно, я не должен в это верить?"

Ярецки продекламировал, подчеркивая ритм сигаретой: "Потому что... война... никогда... не кончится, ну сколько еще прикажете вам это повторять!"

"Такой исход также возможен", — согласился Флуршютц.

"Это единственный исход".

Они подошли к городским воротам. Ярецки поставил ногу на бордюрный камень, вытащил из кармана перчатки и, зажав сигарету в углу рта, выбил ими дорожную пыль на ботинках. Затем он разгладил усы, и, проследовав под холодной аркой ворот, они вышли в узкий тихий переулок.

24

РАСПАД ЦЕННОСТЕЙ (3)

Превалирование архитектурного стиля в характеристике эпохи — одна из самых странных вещей. Да и вообще — это совершенно примечательное привилегированное положение, занимаемое изобразительным искусством в истории! Вне всякого сомнения, оно представляет собой всего лишь незначительную часть всей полноты человеческой деятельности, свойственной эпохе, и все же по силе характеристики изобразительное искусство превосходит все другие духовные области,

превосходит поэзию, превосходит даже науку и религию. Чье существование длится тысячелетиями? Произведений изобразительного искусства; они остаются выразителями эпохи и ее стиля.

Невозможно объяснить это только долговечностью материала: из прошедших столетий до нас дошло великое множество исписанной бумаги, и все-таки каждая готическая статуя "средневековее" всей средневековой литературы. Нет, это было бы очень скудное объяснение, если таковое и возможно, то искать его следует в самой сути понятия "стиль".

Стиль — это не только что-то, ограничиваемое строениями или изобразительным искусством, стиль — это нечто, пронизывающее в одинаковой степени все жизненные проявления эпохи. Нелепо было бы считать художника исключительным человеком, который существует особым образом в рамках стиля и творит его, тогда как другие не имеют к этому отношения.

Нет, если есть стиль, то им наполнены все жизненные проявления, стиль в одинаковой степени присутствует как в образе мыслей того или иного времени, так и в любом действии, совершаемом людьми этого времени. Исходя просто из того, что должно быть так, поскольку иначе быть не может, следует искать объяснение сему удивительному факту — именно действия, воплощенные в пространственном выражении, приобрели столь чрезвычайное, в прямом смысле слова зрительно осязаемое значение.

Может быть, лишено смысла ломать над этим голову, если здесь не кроется та проблема, которая одна лишь оправдывает все философские раздумья: страх перед небытием, страх перед временем, которое ведет к смерти. А может, беспокойство, исходящее от плохой архитектуры и ведущее к тому, что я прячусь в своей квартире, может, оно есть не что иное, как тот страх. Ибо то, что человек делает всегда, он делает для того, чтобы уничтожить время, отменить его, и отмена эта есть пространство. Даже музыка, которая существует только лишь во времени и наполняет это время, превращает его в пространст-

во, и то, что процесс мышления протекает в пространственном измерении, что процесс этот представляет собой слияние невыразимо развитых, существующих во множестве измерений логических пространств, является теорией, имеющей наибольшую вероятность. Если это так, то совершенно очевидно, что все те воплощения, которые непосредственно касаются пространства, приобретают значение и смысл, которые не может приобрести никакая иная человеческая деятельность. И тогда становится понятным особенно симптоматическое значение орнамента, поскольку орнамент, освобождаясь от всякой целевой формы, если и не произрастает из нее, то становится абстрактным выражением, "формулой" всей пространственной мысли, становится формулой самого стиля и, следовательно, формулой всей эпохи и ее жизни.

В этом, кажется, состоит, так и хочется сказать магическое значение, и становится очевидным, что эпохе, полностью находящейся во власти смерти и преисподней, приходится жить в стиле, которому не под силу больше сотворить орнамент.

25

Если бы тогда не планировалось строительство дома, то Ханна Вендлинг, наверное, не влюбилась бы в молодого провинциального адвоката. Но в 1910 году молодые девушки из лучших слоев общества зачитывались "Studio", "Innendekoration", "Deutsche Kunst und Dekoration"¹, любимым произведением было "Stilmobel in England"², их эротические представления о браке были теснейшим образом связаны с архитектурными проблемами. Дом Вендлингов, или "Дом в розах", как было написано буквами в стиле барокко на его фронтоне, в довольно

¹ "Студия", "Внутреннее оформление", "Немецкое искусство и оформление" — названия популярных в то время журналов (нем.).

² "Стильная мебель в Англии" (нем.).

скромной степени соответствовал этим идеалам: низко спускающаяся крыша, майоликовые девочки у входа в дом, символизирующие любовь и плодовитость, холл в английском стиле с камином из необожженного кирпича, а на каминном карнизе — медные безделушки. Стоило большого труда расположить мебель в таком правильном порядке, чтобы повсюду начинало царить архитектурное равновесие, а когда все было готово, то у Ханны Вендлинг возникло ощущение, будто только ей одной ведомо совершенство этого равновесия, несмотря на то что Хайнрих участвовал во всем — да, хороший кусок ее супружеского счастья был положен в такое совместное знание тайной гармонии расположения мебели и картин.

Так вот, мебель с тех пор не перемещалась, напротив, осуществлялся строжайший контроль за тем, чтобы ни на один миллиметр не изменить первоначальный план, и тем не менее все стало совершенно другим. Что случилось? Разве равновесие может износиться, разве может произойти нечто подобное с гармонией? Вначале она не осознавала, что за этим таится безучастность — просто на смену положительного пришло состояние нейтральности, и прежде чем оно превратилось в отрицательное, она стала замечать, что не то чтобы дом или расположение мебели стали ей вдруг неприятными, с этим, в крайнем случае, можно было бы справиться, переставив мебель, нет, это было нечто, что таилось более глубоко; это было проклятие чего-то случайного, снесенного в одну кучу, которое нависло над вещами, над соединением этих вещей, и невозможно было выдумать другой порядок, который не оказался бы таким же случайным и неупорядоченным, как существующий. Без сомнения, во всем этом присутствовал какой-то определенный беспорядок, какой-то мрак, почти даже страх, особенно потому, что не было заметно никакой причины, почему неуверенность архитектурного стиля должна останавливаться перед другими проявлениями чувств или даже перед вопросами моды; это было странно пугающе, но ничто, наверное, не внушало большего страха, чем осознание того, что даже журналы мод

потеряют свою притягательность и что однажды даже "Vogue"¹, так страстно желаемый все эти четыре года английский "Vogue", можно будет рассматривать без содрогания, без интереса, без понимания.

Когда она ловила себя на такого рода представлениях, то называла их фантастическими, хотя это, собственно, были скорее трезвые, чем фантастические мысли, которые казались фантастическими лишь постольку, поскольку здесь имело место не протрезвление после опьянения, а и без того трезвое и почти что нормальное состояние, возникающее после последующего и дальнейшего отрезвления, так что оно становится, так сказать, еще более нормальным и заканчивается отрицательностью. Такие оценки, естественно, до определенной степени всегда относительны; границу между трезвостью и опьянением не всегда можно выдержать, и в конечном счете остается неразрешимой проблемой, возможно ли обозначить русское человеколюбие опьянением, можно ли примерять это уже на нормальные социальные взаимоотношения людей и как надо воспринимать общий обзор вещей — как опьянение или как трезвость. Тем не менее не невозможно, чтобы для трезвости существовало состояние энтропии или некая абсолютная точка отсчета, некая абсолютная нулевая точка, к которой неизбежно и неудержимо стремятся все отношения. И то, что Ханна Вендлинг находилась на этом пути, было само по себе в какой-то степени возможным, являясь в принципе не чем иным, как опережением моды: энтропия человека есть его абсолютное уединение, а то, что он называл раньше гармонией или равновесием, было, возможно, всего лишь копией, копией, сделанной им с социальной структуры, он не мог не сделать ее, пока сам еще оставался ее частью. Но чем более одиноким он становился, тем больше распадались перед ним и изолировались от него вещи, тем безразличнее, должно быть, становились ему взаимосвязи между вещами, и в итоге он едва ли мог уже различать

¹ "Мода" — популярный в то время английский журнал мод.

их. С такими мыслями ходила Ханна Вендлинг по дому, по саду, бродила по дорожкам, вымощенным по английскому образцу каменными плитами, и не видела больше ничего в архитектуре и переплетении белых дорожек; насколько болезненным это должно было бы быть, но это едва ли казалось болезненным, поскольку было неизбежным.

26

Теперь Хугюнау ежедневно навещался на Фишерштрассе к господину Эшу. Следуя многократно проверенному деловому обычаю, он ни единым словом не касался дела, ради которого приходил, а ждал инициативы со стороны партнера, он болтал о погоде, распространялся об урожае, говорил о победах. Заметив, что о победах Эш и слышать ничего не желает, оставил их в покое и ограничился погодой.

Во дворе он как-то встретил Маргерите. Девочка отнеслась к нему доверчиво, вцепилась за его палец и захотела снова посетить типографию.

Хугюнау подумал: "Ага, ты думаешь, что это опять принесет тебе двадцать пфеннигов, но дядя Хугюнау еще недостаточно богат, на все требуется время".

Тем не менее он всучил девочке десять пфеннигов для копилки.

"Ну, так что же мы будем делать, когда оба разбогатеем?.."

Девочка ничего не ответила, а уставилась в землю. Наконец нерешительно проговорила: "Уедем отсюда".

Хугюнау по непонятной причине было приятно это слышать: "Значит, для этого нужны тебе деньги... Ну что ж, когда мы разбогатеем, то сможем уехать вместе. Я беру тебя с собой".

"Да", — согласилась Маргерите.

Когда он поднимался к Эшу, она, как правило, карабкалась за ним, садилась на пол и слушала. Или же, по крайней мере, провожала его до двери.

Зная, что девочка слышит его, Хугюнау сказал: "Люблю детей".

На Эша, как показалось, это произвело хорошее впечатление. Он усмехнулся: "Это сорванец... Она, наверное, и убить способна".

"*Haïssiez les Prussiens*"¹, — не смог удержаться от такой мысли Хугюнау, хотя Эш был вовсе не пруссаком, а люксембуржцем. Эш продолжал: "Я частенько думаю над тем, чтобы удочерить этого маленького сорванца... у нас ведь нет детей".

Хугюнау удивился: "Чужой ребенок!.."

Эш сказал: "Чужой или свой... это же все равно... он ведь никому не нужен".

Хугюнау засмеялся: "Так ведь и о собственном не всегда можно сказать наверняка".

Эш продолжал: "Отец интернирован... я говорил жене, что можно было бы удочерить... девочка ведь почти что сирота".

Хугюнау задумчиво произнес: "Хм, но тогда вам придется о ней заботиться".

"Естественно", — ответил Эш.

"Будь в вашем распоряжении немного денег или получи вы их, например, продав что-нибудь, тогда вы могли бы заключить договор страхования жизни для своей семьи. Я поддерживаю связи с различными компаниями".

"Ну", — отреагировал Эш.

"Я, слава Богу, холостяк, в столь тяжелые времена — неопенимое преимущество. Но если бы я вознамерился обзавестись собственным домом, то все-таки обезопасил бы свою семью деньгами или еще каким-нибудь образом. Да, но у вас-то завидные возможности сделать это..."

Хугюнау ушел. Во дворе его ждала Маргерите.

"Ты хотела бы остаться здесь навсегда?"

"Где здесь?" — поинтересовалась девочка.

"Ну, здесь, у дяди Эша".

¹ Ненавидьте пруссаков (фр.).

Девочка зло уставилась на него. Хугюнау подмигнул и отрицательно покачал головой: "Нет, не так ли?"

Маргерите ответила ему улыбкой.

"Значит, ты не хочешь..."

"Нет, мне здесь не нравится".

"Он тебе вообще не нравится... он наверняка очень строг с тобой, а?" — и Хугюнау показал, как стегают ремнем.

Маргерите презрительно скривила губы: "Не..."

"А она... тетя Эш?.."

Ребенок пожал плечами.

Хугюнау остался доволен: "Значит, ты здесь не остаешься. Мы уедем вдвоем, вместе, в Бельгию. Давай теперь мы пойдем к господину Линднеру в типографию".

Словно два друга они направились к печатной машине и стали смотреть, как господин Линднер заправляет бумагу.

27

История девушки из Армии спасения в Берлине (4)

Ощущение, что евреи наблюдают за мной, не обмануло меня. В течение двух дней мне слегка нездоровилось, я едва прикасался к завтраку, а на людях появлялся всего лишь на полчаса. Вечером второго дня в дверь моей комнатухи постучали, и к моему удивлению вошел маленького роста мужчина, которого я всегда считал врачом. Он и вправду оказался тем, за кого я его принимал.

"Вы, должно быть, заболели?" — спросил он.

"Нет, — ответил я — а если и так, то кого это касается?"

"Вам это ничего не будет стоить, никаких денег, — пробормотал он нерешительно, — просто нужно помочь".

"Благодарю, я в полном порядке".

Он стоял передо мной, держа трость прижатой к груди.

"Температура?" — спросил он.

"Нет, все в полном порядке, я сейчас выйду".

Я поднялся, и мы вместе вышли из комнаты.

В передней ждал один из молодых евреев с театральным пушком на щеках.

Здесь врач отрекомендовался: "Меня зовут доктор Литвак".

"Бертранд Мюллер, доктор философии". Я протянул ему руку, он не преминул всучить мне и свою — сухую и холодную, такую же гладенькую, как и его лицо.

Они присоединились ко мне, словно это было само собой разумеющееся дело. Хотя у меня практически не было никакой цели, я шел быстрым шагом. Эти оба, расположившись справа и слева от меня, выдерживали шаг и беседовали друг с другом на идиш. Возмущение мое было вполне оправданным: "Я не понимаю ни единого слова".

Они рассмеялись, а один заметил: "Он говорит, что ничего не понимает".

Через мгновение: "Вы что, и вправду не понимаете идиш?"

"Нет".

Мы вышли на Райхенбергштрассе, и я взял курс на Риксдорф.

Ну и тут мы встретили Мари. Она стояла, прислонившись к фонарному столбу. Было уже довольно темно, ведь сэкономили на газе. И тем не менее я сразу же узнал ее.

Впрочем, окна забегаловки напротив слегка ее освещали.

Мари тоже узнала меня; она улыбнулась, затем поинтересовалась: "Это ваши друзья?"

"Соседи".

Я предложил зайти в забегаловку; Мари выглядела утомленной, и, казалось, ей надо подкрепиться. Однако оба моих попутчика от приглашения отказались. Может, опасались, что их заставят есть свинину, а может, побаивались насмешек или еще чего-нибудь. В любом случае вполне можно было бы воспользоваться ситуацией, чтобы избавиться от них.

Но тут случилось нечто странное: Мари взяла сторону евреев, сказав, что вовсе не голодна, и, словно по другому и быть

не могло, пошла впереди с молодым евреем, тогда как я поплелся сзади с доктором Литваком.

"Кто он?" — спросил я у врача, указав на молодого еврея, полы серого сюртука которого болтались передо мной.

"Его зовут Нухем Зуссин", — ответил доктор Литвак.

28

Старший полковой врач Куленбек и доктор Кессель оперировали. В целом Куленбек щадил доктора Кесселя, который, являясь в лазарете ассистентом врача, был сильно перегружен гражданской практикой и делами больничной кассы; но теперь наступление обеспечивало приток новых пациентов, и тут уж ничего не поделаешь. Счастье, что попадались всего лишь легкие случаи. Хотя, смотря что называть легкими случаями.

А поскольку они были настоящими врачами, то позже, расположившись в комнате Куленбека, они обсуждали свои случаи. Флуршютц тоже не заставил себя долго ждать.

"Жаль, что вас сегодня не было со мной, Флуршютц, вы бы уж отвели душу,— говорил Куленбек,— просто колоссально, сколько узнаешь... не сделай мы операцию, этот человек ковылял бы всю свою жизнь больным,— он засмеялся,— а теперь через шесть недель он вновь сможет стрелять".

Вмешался Кессель: "Хотел бы я, чтобы наши бедные пациенты, пользующиеся услугами больничной кассы, имели бы такие же условия, как и больные здесь".

Куленбек продолжил: "А вы знаете историю одного преступника, который проглотил рыбку косточку и которого прооперировали, чтобы утром повесить? Это, между прочим, наша профессия".

Флуршютц сказал: "Если бы забастовали врачи всех воюющих сторон, то и война скоро закончилась бы".

"Вот-вот, Флуршютц, можете начинать".

Доктор Кессель произнес: "Как бы я хотел оттарабанить обратно эту ленточку... и не стыдно вам, Куленбек, так подставить старого коллегу!"

"А что мне было делать, я должен был представить вас. Для гражданских эта бело-черная штуковина¹ выделяется по норме".

"Ага, и вы расхаживаете тут с бело-черной ленточкой. А впрочем, Флуршютц, вы уже давным-давно на очереди".

Флуршютц заявил: "В принципе, дело-то ведь в том, что си-дишь вот здесь, говоришь о более или менее интересных слу-чаях и ни о чем другом даже и не думаешь. Да у нас вообще нет времени думать о чем-то другом... И так везде. Потребляешь то, что делаешь, просто потребляешь и все".

Доктор Кессель встрепенулся: "О Боже милостивый, мне пятьдесят шесть, о чем мне еще думать! Я доволен уже тем, что вечером имею возможность лечь в свою постель".

Вмешался Куленбек: "Не выпьете ли крепенького из полко-вых запасов? В два часа мы снова получим кое-что на двадцать человек... Останетесь до приема здесь?"

Он поднялся, подошел к шкафу с медикаментами, который стоял у окна, и достал бутылку коньяка и три рюмки. Он стоял в профиль, на фоне окна резко выделялась его борода, которая казалась роскошной.

Флуршютц сказал: "Профессия, в которую нас угораздило вляпаться, выматывает нас всех без остатка. И военное дело, и патриотизм есть не что иное, как такого же рода профессии."

"Слава Богу,— вставил Куленбек,— врачам нет нужды фило-софствовать".

Вошла сестра Матильда. От нее исходил запах свежесмытого тела. Или считалось, что она должна так пахнуть. Ее узкое длинноносое лицо контрастировало с красными руками служанки.

¹ Специальная медаль для медиков, о которой идет речь, носилась на черно-белой ленте.

"Господин старший полковой врач, позвонили с вокзала, транспорт уже прибыл".

"Очень хорошо, еще сигаретку на прощанье. Сестра, вы едете со мной?"

"На вокзале есть сестра Карла и сестра Эмми".

"Хорошо. Значит, вперед, Флуршютц".

"Под звуки фанфар и звон литавр",— высокопарно, но без соответствующего настроения произнес доктор Кессель.

Сестра Матильда остановилась у двери. Ей нравилось находиться здесь, во врачебной комнате. Когда все вышли, Флуршютц обратил внимание на белизну ее мраморной шеи, увидел веснушки у корней волос, и его охватило легкое волнение.

"Доброго вам дня, сестра",— произнес старший полковой врач.

"Всего хорошего, сестра",— не задержался с пожеланием Флуршютц.

"Храни вас Господь",— сказал доктор Кессель.

29

Перед глазами каменщика Гедике стояли деревья и дома, менялась погода, был день и была ночь, ходили туда и сюда люди, и он слышал, как они говорят. На круглых предметах из металла или фаянса приносили еду и ставили перед ним. Все это он знал, но путь, который вел к этим вещам или который приводил их к нему, был изнурительным и тяжелым: каменщику Гедике сейчас было куда труднее работать, чем когда-либо раньше, поскольку было совсем не таким само собой разумеющимся делом поднести ложку ко рту, когда совершенно невозможно было понять, кто кого кормит; исходя из пугающей потребности разобраться во всем, это становилось мукой безнадежной работы и невыполнимой обязанности, поскольку никому, а меньше всего самому человеку Гедике, не представля-

лось возможным создать теорию о конструктивных элементах того строения, которое являло собой душу того же самого Гедике. Так, например, было бы неправильно утверждать, что человек Гедике составлен из множества Гедике, хотя бы из подростка Людвиг Гедике, который играл на улице, онанировал вместе с друзьями и строил туннели на мусорниках и в песчаных карьерах, из этого подростка Гедике, которого мать звала к столу, чтобы он затем отнес обед на стройку отцу, тоже работавшему каменщиком, утверждать, что этот подросток Людвиг Гедике является составной частью его теперешнего "Я" было бы так же неправильно, как и пытаться увидеть другую составную часть хотя бы в том молодом парне Гедике, который так сильно завидовал гамбургским плотникам из-за их широкополых шляп и перламутровых жилетов, что успокоился только тогда, когда им всем назло совратил в кустах на берегу реки невесту плотника Гюрцнера, он, простой подмастерье каменщика, и было неправильно утверждать, что еще одной составной частью является тот мужчина, который во время забастовки вывел из строя бетономешалку и тем не менее вышел из организации, когда женился на служанке Анне Лампрехт только потому, что она так горько плакала из-за своего ребенка; нет, такого рода продольный срез с личности, такого рода псевдо-историческое расслоение никогда не станут составными частями личности, поскольку не в состоянии выйти за пределы биографии. Следовательно, трудности, с которыми приходилось бороться человеку Гедике, наверняка состояли не в том, что он ощущал, будто в нем живет целый ряд этих лиц, вероятно, трудность состояла в том, что этот ряд обрывался как-то сразу, так что биография прерывалась в одном определенном месте, и в том, что не было связи с ним, которому подобало бы быть последним звеном в этом ряду, что он таким образом, отделившись от того, что он едва ли мог назвать своей жизнью, утрачивал собственное существование. Он видел те фигуры словно через закопченное стекло, и если он, поднося ложку ко

рту, охотно покормил бы и того мужчину, который спал вместе с невестой Гюрцнера под кустами, да, если бы даже это и принесло огромную радость, то тем не менее было невозможно перекинуть мостик, приходилось, так сказать, оставаться на другом берегу и дотянуться до того мужчины на той стороне было не под силу. И если бы даже, вопреки всему, удалось перекинуть мостик, то едва ли было наверняка известно, кто, собственно, вспоминает о невесте Гюрцнера: глаза, видевшие тогда перед собой прибрежные кусты, были не теми, что созерцали деревья у шоссе здесь, и они опять же были не совсем теми, которые осматривались по сторонам в этой комнате. И конечно, был Гедике, который не мог стерпеть и который запрещал, чтобы кормили того человека, того мужчину, который все еще был готов переспать с невестой Гюрцнера. И Гедике, которому приходилось терпеть боли в нижней части тела, мог бы с таким же успехом быть как тем, кто издавал этот запрет, так и тем, кому приходилось его нарушать, но он мог точно так же оказаться и совершенно другим. Имели место в высшей степени сложные взаимоотношения, и каменщику Гедике никак не удавалось увидеть всей целостности картины. Возможно, они возникали потому, что приходящий в себя Гедике не хотел призывать обратно частички своей души, а может, они и были причиной того, что он оказывался неспособным сделать это. Конечно, будь он в состоянии заглянуть в глубь себя, он не смог бы так просто отмахнуться от того, что в каждой из допущенных частичек своего "Я" увидел бы отдельного Гедике, приблизительно так, как если бы каждая из этих частичек создавала вокруг себя некую свою самостоятельную зону, поскольку не исключено, что с душой происходит то же, что и с протоплазмой, в которой делением достигается нагромождение клеточных ядер и, следовательно, создаются зоны самостоятельно функционирующей жизни. В душе Гедике также существовало множество самостоятельно функционирующих фрагментарных жизней, каждую из которых в отдельности позволительно было бы называть

жизнью Гедике, и свести их все в одно целое было весьма изнурительной и едва ли осуществимой работой.

И работу эту камешнику Гедике предстояло осуществить совершенно в одиночку; и не было там никого, кто мог бы ему помочь.

30

Когда Хугюнау, выдержав паузу приличия продолжительностью в два дня, снова появился у Эша, в плетеном кресле рядом с рабочим столом он увидел широкобедрую, безликую и без резко выраженных признаков пола особу неопределенного возраста. Это была госпожа Эш, и Хугюнау понял, что теперь он будет победителем в этой игре. Ему оставалось всего лишь подать себя в выгодном свете: "О, достопочтенная госпожа поддержит нас в столь трудных переговорах".

Госпожа Эш отодвинулась чуть подальше: "Я совершенно ничего не смыслю в делах, это обязанности моего мужа".

"Да, господин супруг, конечно, деловой человек, *comme il faut*¹! Он прошел, как говорят, огонь и воду, и на нем к тому же многие пообломали свои зубы".

Госпожа Эш слегка улыбнулась, и Хугюнау ощутил себя приободренным:

"Очень разумно с его стороны воспользоваться конъюнктурой и избавиться от газеты, которая ему и без того доставляет лишь проблемы и хлопоты и где дела идут все хуже и хуже".

Госпожа Эш почтительно произнесла: "Да, у моего супруга, действительно, много неприятностей с газетой".

"И тем не менее я не сдаюсь", — вмешался Эш.

"Но, господин Эш, вы, кажется, совершенно не думаете о своем здоровье, но тут уж ваша супруга все-таки должна вставить свое словечко. Впрочем, — Хугюнау задумался, — если вы ни в какую не хотите расставаться со своей деятельностью, вы

¹ Как и положено (фр.).

можете оговорить свое дальнейшее сотрудничество, группа покупателей будет только приветствовать, если я сохраню такие ценные кадры”.

“Об этом следует поговорить,— задумчиво произнес Эш,— но дело может продвигаться, если речь будет идти о сумме не ниже восемнадцати тысяч марок, об этом я как раз беседовал со своей женой”.

“Ну что ж, разумно, что господин Эш уже сбавил немного свою фантастическую цену, но если он намерен оставаться в деле, то и это следует учесть при расчетах”.

“И каким образом?” — поинтересовался господин Эш.

Хугюнау почувствовал, что необходимо проявить настойчивость.

“Будет проще всего, господа, если мы составим пробный договор и обсудим при этом отдельные пункты”.

“Пожалуйста,— ответил Эш и взял лист бумаги,— диктуйте”.

Хугюнау принял соответствующую позу: “Значит, так. Заголовок: протокол о намерениях”.

После долгих споров и препираний, занявших всю первую половину дня, появился следующий договор:

§ 1. Господин Вильгельм Хугюнау, выступающий распорядителем и доверенным лицом комбинированной группы заинтересованных лиц, присоединяется к газетному предприятию, открытому торговому товариществу “Куртирский вестник” в качестве компаньона при условии следующего распределения имущества фирмы:

10% остаются во владении господина Августа Эша;

60% получает представляемая господином Хугюнау “Промышленная группа”;

30% получает представляемая также господином Хугюнау группа местных заинтересованных лиц.

Желаемое первоначально господином Эшем пятидесяти-

процентное участие было отклонено Хугюнау: "Это не в ваших интересах, дорогой Эш, чем выше ваша доля, тем ниже получаемая вами сумма наличными... Видите, я блюду ваши интересы".

§ 2. Имущество фирмы состоит из издательских и прочих прав, а также всего редакционного и типографского имущества. Исходя из нового распределения прав собственности, выдаются акции.

Статуетку Свободы и картинку с видом Баденвайлера господин Эш объявил личной собственностью и изъял из имущества фирмы. "Не возражаю", — великодушно согласился Хугюнау.

§ 3. Чистая прибыль подлежит распределению среди партнеров в соответствии с долями находящихся во владении акций, если она не зачисляется в резервный фонд. Убытки возмещаются в таких же соотношениях.

Положение об убытках было включено в договор по требованию господина Эша, поскольку господин Хугюнау убытки вообще не принимал во внимание. Положение о резервном фонде было также изобретением Эша.

§ 4. Господин Хугюнау, выступающий распорядителем и доверенным лицом новой группы участников, вкладывает в фирму капитал в размере 20000 марок (прописью: двадцати тысяч марок). Треть капитала вносится немедленно, оставшиеся трети, по желанию осуществляющих платежи партнеров, могут вноситься через полгода, но не позже, чем через год. За отсроченное производство платежей фирме выплачивается возмещение из расчета 4% за полгода. Выдача акций производится по завершении уплаты причитающегося капитала.

Поскольку после уплаты акции подлежали немедленной вы-

даче, и уплата целых четырех процентов была достаточно сильным отпугивающим средством, Хугюнау не особенно опасался того, что местные заинтересованные лица воспользуются правом на частичную оплату. А если даже так и случится, то наверняка найдется возможность решить эту проблему. Хугюнау не особо беспокоило и то, как он сам будет вносить платежи легендарной промышленной группы; в любом случае первый взнос должен быть внесен лишь через полгода, то есть в начале нового, 1919 года, а до того еще достаточно времени, и многое может случиться; военное время во все привносит беспорядок; может, тогда уже наступит мир; может, газета сама зарабатывает те взносы, и тогда придется даже завуалировать и изъять эту прибыль, изобретая фиктивные убытки; может, к тому времени Эша уже и в живых-то не будет — уж действовать нужно умеючи, прокладывая себе дорогу в жизни.

§ 5. Платежи господина Вильгельма Хугюнау в общем размере 20000 марок производятся по двум счетам, а именно 13400 марок на счет "Хугюнау — Промышленная группа" и 6600 марок на счет "Местная группа".

Ну а теперь подошла очередь наиболее сложного пункта переговоров. Эш настаивал на своих восемнадцати тысячах марок, тогда как Хугюнау утверждал, что из этой суммы необходимо вычесть прежде всего сохраняющееся десятипроцентное участие Эша и еще две тысячи марок за участие в увеличенном капитале фирмы, то есть всего четыре тысячи марок, так что Эш, даже если бы была принята его собственная цена, должен был бы получить всего четырнадцать тысяч марок, но и это все еще слишком много, так как маклеру необходимо быть объективным, и он никогда не сможет протолкнуть через свою группу такую цену; как бы ему ни хотелось пожелать этого Эшу и его прелестнейшей супруге, это просто невозможно, поскольку ему нужно выступать перед своими заказчиками с серьезным предложением и у него нет ни малейшего желания, чтобы его вы-

смеяли; уж он в этом деле незаинтересованная сторона, он — объективен, а как объективный оценщик он мог бы предложить на продаваемые девяносто процентов десять тысяч марок и ни пфеннига больше.

"Нет, — кричал Эш, — я хочу восемнадцать тысяч".

"И как только человек может быть настолько глухим, — обратился Хугюнау к госпоже Эш, — я ведь только что просчитал ему, что по своим собственным расчетам он должен был бы требовать всего четырнадцать тысяч". Госпожа Эш вздохнула.

В конце концов сошлись на двенадцати тысячах и на таком трудовом соглашении:

§ 6. Господин Август Эш как бывший единоличный владелец получает:

а) 12000 марок, из которых треть, т.е. 4000 марок немедленно, а оставшиеся части по 4000 марок подлежат уплате фирмой господину Эшу 1 января и 1 июля 1919 года. На отсроченные по уплате доли производится начисление процентов из расчета 4% годовых;

б) трудовое соглашение на работу в качестве редактора и главного бухгалтера с месячным окладом 125 марок сроком на два года.

Может быть, Эш все еще не сдался бы, даже тогда, когда Хугюнау умело перевел разговор на второстепенную тему уплаты процентов по долям, дабы после видимости жесточайшего спора согласиться на 4%, если бы не был ослеплен предстоящими сложными бухгалтерскими расчетами; он пришел от этого в столь сильный восторг, что его даже не посетила мысль о том, что отсроченные доли — он, конечно, не знал, что их уплата потребовала бы совершеннейшего чуда — вообще могут не предаваться огласке или что разница между двенадцатью тысячами и двадцатью тысячами марок, вопреки всем располагающим к себе бухгалтерским соображениям, может уплыть в мошеннически открытый карман Хугюнау. Впрочем, Хугюнау столь

же мало думал о такого рода отвратительных вещах, пока до него не дошло, что после того, как местная группа заинтересованных лиц внесет свои доли, "Куртрирский вестник" *via facti*¹ достанется ему в подарок; он со всей откровенностью боролся за интересы своей гипотетической группы и, вымотавшись, сказал:

"Ну хорошо, я согласен на двенадцать тысяч марок и, как вы желаете, на 4%, только давайте закончим наконец это дело; я намерен взять все на свой страх и риск... Но теперь я кое-чего добился".

§ 7. Взаимные права и обязанности:

а) господин Хугюнау исполняет обязанности издателя. Коммерческое и финансовое управление делами фирмы относится к его исключительной компетенции. Он полномочен по своему усмотрению принимать или отклонять статьи для газеты. За эту деятельность фирма гарантирует ему минимальный доход в размере 175 марок в месяц, т.е. 2100 марок в год;

б) господин Эш на период действия трудового соглашения располагает правами и обязанностями по обеспечению деятельности бухгалтерии и исполняет обязанности редактора.

Эшу пришлось пойти на ограничение своих полномочий главного редактора с оглядкой на промышленную группу; бухгалтерские права представляли собой своего рода компенсацию.

§ 8. Используемые до сих пор для нужд издательства помещения в доме господина Эша остаются в распоряжении фирмы на последующие три года. В дальнейшем господин Эш предоставляет в распоряжение издателя на такой же период две хорошо меблированные комнаты с завтраком в той же части вышележащего дома. Господин Эш получает за эти ус-

¹ Фактически (лат.).

луги от фирмы вознаграждение в размере 25 марок в месяц.

§ 9. При последующем преобразовании открытого торгового товарищества в общество с ограниченной ответственностью или акционерное общество вышеуказанные положения сохраняют свою силу.

При предполагаемой реформе издательства карточный домик, конечно же, рухнул бы. Но у Хугюнау не болела по этому поводу голова; для него все это было более чем законным делом, и уже только оттого, что оно принесло ему бесплатное жилье и завтрак, он воспринимал эту затею как маленькое озорство, которое его впрочем искренне радовало. Эш же был недоволен тем, что не набралось и десяти параграфов. Они немного подумали и затем дописали:

§ 10. Возможные споры по этому договору подлежат рассмотрению судом первой инстанции.

Так что Хугюнау в удивительно короткий срок — поставили 14 мая — удалось без особых проблем уладить сделку. Уважаемые лица не задержались с внесением своих долей в полном размере, т.е. шесть тысяч шестьсот марок; из них в соответствии с договором 4000 марок были переданы господину Эшу, одну тысячу шестьсот марок господин Хугюнау как осмотрительный и солидный коммерсант определил на покрытие эксплуатационных расходов, тогда как оставшуюся тысячу марок отнес к резервному фонду и использовал в своих целях. Акции были выданы подписчикам, и уже несколько дней спустя надлежащим образом было сообщено, что с 1 июня газета выходит под новым руководством и в новом оформлении. Хугюнау удалось уговорить майора открыть новую серию редакционных статей, кроме этого, первый номер должен был быть украшен частично патриотическими, частично национал-экономическими, в основном, правда, патриотически-экономическими стать-

ями, вышедшими из-под пера владеющих газетой уважаемых лиц.

Ну а Хугюнау для празднования новой эпохи перебрался в освобожденные для него две комнаты в доме Эша.

31

РАСПАД ЦЕННОСТЕЙ (4)

Конечно, не только художник является носителем стиля своей эпохи; стиль пронизывает все, что делают современники; стиль, естественно, находит свое отражение не только в произведении искусства, но и во всех ценностях, создаваемых культурой какого-то времени, а произведение искусства является всего лишь их незначительной частичкой, и тем не менее ощущаешь беспомощность перед конкретным вопросом: насколько стиль должен воплощаться в некоем среднем человеке, хотя бы таком, как Вильгельм Хугюнау. Есть ли у человека, торгующего шлангами и текстилем, что-то общее со стилевым устремлением, как последнее все-таки сочетается со зданиями универмагов Месселя или турбинным залом Петера Беренса¹? Его личный вкус наверняка ограничится виллами с зубчатыми крышами со множеством изящных безделушек, а если даже и не так, то все равно останется часть публики, которая, как это всегда бывает, будет отделена от художника пропастью.

Но если присмотреться повнимательнее к такому человеку, каким является Хугюнау, то можно заметить, что дело вовсе не в пропасти между ним и художником. Наверное, следует согласиться с тем, что в эпохи ярко выраженного стилевого устремления непонимание между художником и современниками не

¹ Петер Беренс (1868—1940) — немецкий архитектор и дизайнер, в строительстве промышленных предприятий использовал железобетон и металлические конструкции, подчеркивая суровую мощь массивных стен.

было столь бросающимся в глаза, как сегодня. Какие же чувства новая картина Дюрера в церкви Св.Себальдуса вызывала у людей типа Хугюнау? Всеобщую радость и восхищение, присущие тем временам, поскольку имеющиеся факты говорят в пользу того, что тогда художник и современники были окружены совершенно иной жизнью и что понимание, которое высказывал художник стригальщику шерсти и шпорному мастеру, было, по меньшей мере, таким же пронизывающим, как и радость, испытываемая последними при созерцании картин художника. Естественно, это не поддается контролю, и не исключено, что некие революционные ценности наталкиваются на слабое признание со стороны современников; так позволительно было проглотить хотя бы Грюневальд¹. Но такого рода коллизии не столь уж существенны, и царило ли в средние века понимание между художником и современниками или нет, не имеет значения перед лицом того факта, что как понимание, так и непонимание являются в такой же степени отражением легендарного "духа времени", как и само произведение искусства или прочие творения современников.

Но если это так, то, значит, совершенно неважно, куда устремлены архитектурные и прочие вкусы представителя типа Хугюнау, значит, не имеет значения и то, что машины вызывают у Хугюнау определенное эстетическое чувство; единственно важным является вопрос, движут ли его прочими действиями, его прочими мыслями те же законы, которые сотворили в каком-то другом месте безорнаментный стиль, или создали теорию относительности, или привели к образу мыслей неокapи- тализма, — иными словами, несет ли в себе мышление, свойственное эпохе, стиль, имеет ли стиль, четко и понятно представленный в произведении искусства, влияние на это мышление,

¹ Имеется в виду, очевидно, Грюнвальдская битва, состоявшаяся 15 июля 1410 г. около населенных пунктов Грюневальд и Танненберг, завершившаяся разгромом войск немецкого Тевтонского ордена польско-литовско-русской армией под командованием польского короля Владислава II Ягелло, что положило конец продвижению Тевтонского ордена на восток.

то есть не передает ли истина как реальность мышления стиль эпохи, к которой она причастна, впрочем как и все другие ценности этой эпохи?

А по-другому и быть не может, ибо не только, исходя из той точки зрения, что истина является ценностью среди всех ценностей, а на службу истине поставлены деяния человека, они, так сказать, пропитаны истиной: что бы он ни делал, понятно ему в любой момент, он обосновывает это тем, что истина существует, он выстраивает цепочку логических доказательств того, что он, по крайней мере на момент, когда это происходит, действовал всегда правильно. Если его образ действия подчинен стилю, то так же должны обстоять дела с его мышлением, и нет необходимости решать, предшествует ли при этом (практически или познавательно-теоретически) образ действий мышлению или мышление образу действий, примат жизни — примату логического мышления, *sum cogito* или *cogito sum* — понятной остается лишь рациональная логика мышления, тогда как иррациональная логика образа действий, творящая любой стиль, узнаваема только по созданному произведению, только по результату.

Но эта очень внутренняя связь между сущностью мышления и ценностями, порождаемыми образом действия, становится одновременно схемой мышления, овладевающей представителями типа Хугюнау и вынуждающей их действовать так, а не иначе, предписывающей им их деловые соображения и позволяющей им составлять договора так, а не иначе, — вся внутренняя логика представителей типа Хугюнау подчинена общей логике эпохи и вступает в существенную взаимосвязь с той логикой, которой пронизаны дух эпохи и ее видимый стиль. И это рациональное мышление является просто тонкой, в определенной степени имеющей одно измерение, нитью, охватывающей многомерность жизни, это мышление, раскачивающееся в абстрактности логического пространства, как бы там ни было, есть аббревиатурой для многомерности событий и их общего стиля, так же, как орнамент телесного пространства есть аб-

бrevиатурой видимого результата стиля, аббревиатурой всех произведений, несущих в себе стиль.

Представители типа Хугюнау — это люди, действующие целесообразно. Целесообразно планируют они свой день, целесообразно ведут свои дела, целесообразно составляют свои договоры и заключают их. В основу всего этого положена логика, которая полностью лишена орнамента, и то, что такая логика во всех отношениях требует отсутствия орнамента, вовсе не кажется, ко всему прочему, рискованным выводом, да, эта логика даже кажется такой же хорошей и правильной, каким хорошим и правильным является все целесообразное. И все-таки с этим отсутствием орнамента связано то, что мы называем ничто, с ним связана смерть, за ним таится чудовище умира-ния, за ним распадается время.

32

Бунтовщика нельзя путать с преступником, пусть даже общество часто навешивает на бунтовщика ярлык преступника, а преступник выдает себя иногда за бунтовщика, дабы придать своим действиям благородный вид. Бунтовщик стоит один, мир, против которого он борется, наполнен живыми отношениями, нити которых просто перепутаны по злему умыслу, распутать их и расположить по собственному, лучшему плану — в этом он видит свою задачу. Так протестовал Лютер против Папы, и Эша с полным правом можно было назвать бунтовщиком.

Но это совершенно недостаточное основание для того, чтобы Хугюнау, напротив, назвать преступником, что не только оскорбило бы его, но и было бы по отношению к нему абсолютно несправедливым. С военной точки зрения дезертир, конечно же, преступник, и, вне всякого сомнения, есть преданные солдаты, которые относятся к дезертиру с таким же презрением, как, например, крестьянин к человеку, укравшему у него курицу, и, подобно крестьянину, они видят справедливое воз-

мездие за злодеяние только в смертной казни. Но, несмотря на все это, имеется здесь одно принципиальное и объективное различие: суть преступления заключается в его повторяемости; а в своей повторяемости оно — не что иное, как гражданская профессия. Преступность направлена против общества лишь в очень слабой степени, даже если борьба против гражданского общества принимает американские формы; вора и лицам, подделывающим векселя, с провозглашением коммунизма мало что осталось изобретать, а взломщик сейфов, направляющийся вечером на свое дело в обуви на мягких резиновых подошвах, такой же ремесленник, как и любой другой, он консервативен, как любой ремесленник, и даже профессия убийцы, который, зажав в зубах нож, взбирается по отвесной стене, направлена не против общества, а является всего лишь личным делом, которое убийца должен уладить со своей жертвой. Ничто не оборачивается против существующего. Предложения по улучшению или смягчению криминального права никогда не исходят от преступников, как бы сильно это не касалось прежде всего их. Если бы речь шла о преступниках, то воров и фальшивомонетчиков по-прежнему вешали бы на виселицах и по-прежнему не сподобились бы отличать умышленное убийство от непреднамеренного убийства, хотя преступники вообще тонко ощущают все нюансы своей профессии и не без удовольствия наблюдают, как юриспруденция приспосабливается к их изощренным оттенкам и требованиям; но именно то, что они ощущают потребность, чтобы за одно дело присуждалась виселица, за другое — колесование и раскаленные щипцы, а за третье — наказание розгами и острог, именно то, что им при-сущи эти неловкие пожелания, которые по сути своей являются не чем иным, как лепетом необразованных людей, неспособных правильно выразить свою мысль и неуклюже, так сказать символически, стремящихся к чему-то, что является всего лишь маленькой частичкой того, к чему расположено их сердце и что едва ли можно понять, именно это раскрывает суть того, на что нацелено их желание: страна, в которой они живут, это страна,

расположенная на границе мира, полного хорошего порядка, вовлечена в тот великий, хороший, почти обожаемый порядок, менять который нет совершенно никакой нужды; если преступники могут представить себе эту взаимосвязь и взаимозависимость лишь посредством хорошо выверенных суровых наказаний, то из этого можно сделать вывод, что они социальны и чувствительны по своей натуре, исполнены лишь страстью избегать споров в их крайних проявлениях, спокойно заниматься своей профессией и как можно тише и бесшумнее приспособиться к службе, которая соответствует общему порядку и существующему положению вещей.

Бунтовщик и преступник, они оба приближаются со своими порядками, со своими собственными представлениями о ценностях к существующему порядку вещей. Но тогда как бунтовщик стремится подчинить себе существующий порядок вещей, преступник ищет возможности соединиться с ним. Дезертир не относится ни к области одного, ни к области другого, или же он принадлежит им обоим.

Это, наверное, ощущал Хугюнау, поскольку теперь перед ним стояла задача возвести собственный маленький мир и реальность на краю большого порядка и интегрироваться в него, и если он даже и соглашался с тем, что дезертиров приговаривали к казни посредством расстрела, то это пока что его не касалось, и не было лишено смысла, было не бессмысленнее, чем язык его снов; "Куртрирский вестник" представлялся ему частью одной большой машины, словно латунный узел, в котором сочленялись друг с другом приводы, словно место, где страна его закона граничила с той, чьи законы он почитал и любил, внедриться в которую, жить в которой он бы хотел. И все эти мотивы привели Хугюнау к крайней необходимости завладеть "Куртрирским вестником" — акция удалась ему с предельным успехом.

не удивляться, что народы подвергаются наказанию сотнями раздоров и тысячами разобщенностей. Ибо рука согрешившая да подвергнется наказанию.

Я слышу возражение, что таким образом мы просто воспринимаем наказание, выносим бичевание, подставляем обидчику и вторую щеку

.....
точно так, как борьба Лютера против развращенного папства была справедливой борьбой. Учил же нас ведь наш учитель Клаузевиц, что к оружию войны относится дух справедливости, который

.....
борьба наша должна означать: "От страха перед Ним обратились в бегство враги Его, все злодеи были свергнуты, и спасение было в Его руке" (Маккавей III, 6), речь не должна идти о преследовании бегущих народов, но о спасении собственного и чужих народов. Мы были бы слепы и действительно, все жертвы были бы напрасными, если такое необдуманно и Божье.....

.....
имеет ту внешнюю свободу, которой мы должны достичь, если даже ему одновременно даруется внутренняя высокая и истинно божественная свобода. И достигаем мы ее не на полях сражений, какими бы победоносными мы там ни были, а мы находим ее только в наших сердцах. Поскольку внутренняя свобода равнозначна вере, которую мир намеревается утратить. Так что эта война не просто.....

.....
в соответствии с Писанием? "Хорошие благочестивые произведения никогда не создают доброго благочестивого человека, а добрый благочестивый человек творить хорошие благочестивые произведения,— говорил Лютер о свободе христианина, а да-

лее он добавлял: — Так что если произведения никого не делают благочестивым, а человек должен быть благочестивым, прежде чем он начнет творит произведения, то становится очевидным, что только вера одна по величайшей милости Христа.....

как говорил Иоанн Креститель: "Ему должно расти, а мне умиляться" (Евангелие от Иоанна 3, 30), так и война эта, которой должно расти, поскольку вера умиляется, и до тех пор, пока вера не возродится заново и не распространится, не будет эта война знать ни конца ни края. Зло волею зла

и нам почти начинает казаться, что должны мы прежде всего посеять по всему миру черные полчища, дабы из огня Апокалипсиса могло восстать новое братство и общность, чтобы было восстановлено Царство Христа и новый и великолепный.....

черные полки, имеющие на вооружении неблагородное оружие, выставлены против нас, так что это всего лишь авангард. За ним следует черное войско, следует ужас Апокалипсиса Иоанна. Ибо пока белая раса не преодолеет инертность чувства и.....

лишается чести, это потерянное поколение, и будет жуткая темень вокруг него, и никто не придет на помощь, и его.....

и яд богохульников и авантюристов, который разлит не только над гордыми метрополиями врага, не пощадил он также и нашу Родину. Подобно крайне запутанной сети незримо нависает он над нашими городами.....

.....
должно произойти подобно прежде всего славному походу в 70 году от Р.Х. для объединения разобщенных германских племен, так что славой этой намного более великой и более ужасной войны будет не только братское объединение племен, но и в такой же степени.....
.....

.....
и вера, и милость свободы будут снова наши. И тогда можно будет сказать: "Христианин — покорный слуга всех вещей, и он подчинен каждому", а также: "Христианин — человек, свободный ото всех вещей, и он не подчинен никому", и то и другое будет правильно, и под этим мы должны понимать истинную свободу.

Я не знаю, смог ли я выразить свои мысли действительно понятно — ведь мне и самому пришлось достаточно помучиться, чтобы прийти к такому пониманию,— но я все же уверен, что изложены они достаточно наглядно. Здесь тоже может иметь силу то, что говорил генерал Клаузевиц: "Разрывающие сердце опасности и страдания с легкостью приводят к тому, что чувство начинает перевешивать убеждения ума, а в сумерках всех проявлений глубокое и ясное видение настолько затруднено, что его замена становится куда более понятной и простительной. *Предчувствие и ощущение истины — вот то, на основании чего всегда совершаются поступки*".

Вот так объяснил майор фон Пазенов проблему войны и немецкого будущего, и далось ему это нелегко. Война, для служения которой его воспитывали, война, ради которой он все молодые годы носил форму и ради которой снова надел ее четыре года назад, война вдруг перестала быть делом формы, перестала быть делом тех, кто носил форменные брюки синего или красного цвета, перестала быть делом враждующих товарищей, которые в рыцарском поединке скрещивают клинки, война перестала быть как венцом, так и сутью жизни человека в

форме; она незаметно и тем не менее все ощутимее начала подрывать основы этой жизни, сделала призрачными моральные устои, и сквозь узлы этого сплетения проглядывала ухмылка греха. Духовных сил, полученных после обучения в кадетской школе в Кульме, явно не хватало для того, чтобы совладать с грехом, и это тем более не было удивительным, поскольку церковь сама, вопреки своему более совершенному оснащению, не преуспела окончательно в противоречиях грехопадения. Но то, что померещилось Святому Августину как святость земного мира, что до него уже пригрезилось стоикам, идея Державы Господней, вмещающей все, что несет на себе лик человеческий, эта возвышенная идея, проглядывающая сквозь картину разрывающих сердце опасностей и страданий, она — скорее чувство, чем убеждения ума, скорее сумерки, чем глубокое и ясное видение, — дала свои всходы в душе старого офицера, и таким образом протянулась хоть и расплывчатая, иногда прерывающаяся, но тем не менее уловимая линия Зенона¹ и Сенеки² вполне может быть от самих пифагорийцев до хода мыслей майора фон Пазенова.

34

РАСПАД ЦЕННОСТЕЙ (5) Логический экскурс

Допустим, что в кайзеровской прусской кадетской школе в Кульме царил иной стиль мышления, чем хотя бы в какой-нибудь римско-католической пасторской семинарии, обозначение "стиля мышления" очень сильно напоминает смутность тех философских и исторических направлений, методологическая

¹ Зенон из Китиона — древнегреческий философ, основал в Афинах школу стоиков.

² Сенека Луций Анней — римский политический деятель, философ и писатель, представитель стоицизма.

суть которых заключена в слове "интуиция". Априорная однозначность мышления и логоса не допускает никаких стилистических оттенков, то есть ей, кроме априорного самопонимания духа, не требуется никакая иная интуиция, и все остальное она отсылает к сфере эмпирических вариаций, патологических отклонений, подлежащих не философскому, а психологическому и медицинскому изучению. Неполноценность эмпирического и земного мышления человеческого мозга перед абсолютной логикой "Я", перед абсолютной логикой Бога.

Или позволительно также возразить: абсолютная формальная логика конечно же существует, она неизменна также для человеческого мозга — изменяется лишь форма мышления, изменяются воззрения на сущность мира, то есть это в лучшем случае познавательно-теоретический, а ни в коем случае не логический вопрос. Логика, подобно математике, остается "лишенной стиля".

Действительно ли форма логического не имеет ничего общего с содержанием? Кое-где она сама примечательным образом становится содержанием, и отчетливее всего, пожалуй, когда следуешь так называемым формальным цепочкам доказательств, и не только потому, что звенья этой цепочки являются аксиомами или аксиомоподобными положениями (хотя бы тот же тезис противоречия), то есть высказываниями, образующими непреодолимые пределы убедительности (пока они, как, например, с тезисом об исключении третьего, однажды не преодолеваются) и их очевидность может быть осмыслена только лишь содержательно, но не может быть доказана больше формально, более того, нет вообще необходимости выстраивать такого рода логическую цепочку, вся логическая машина исключений и доказательств немедленно даст сбой, если не будет надлогических и, вопреки всем перенесениям формальных границ, в конце концов метафизических и содержательных принципов, благодаря применению которых поддержи-

вается функционирование всего механизма. Здание формальной логики покоится на содержательных основах.

Интуитивно-психологический идеализм имеет предпосылкой "ощущение истины", на очевидности которого каждая цепочка вопросов, начинающаяся с удивленного "что это?", продолжающаяся постоянно повторяемым "почему?", приходит в конце концов к завершению, к аксиомной убедительности: "Это так и не иначе". Если же перед лицом неизменности априорного и чисто формального логоса ощущение истины является излишним введением, то с учетом содержательных элементов в логическом достигается новый и более оправданный уровень уважения, поскольку позиции очевидности в конце цепочки вопросов и доказательств отделились от формальной неизменности и должны теперь вопреки определяющему влиянию на логический ход доказательств обрести самостоятельную и основывающуюся на его очертаниях форму. Проблема, возникающая в связи с этим: каким образом может содержание, будь оно логически-аксиоматической или внелогической природы, так вторгаться в формальную логичность, что при поддержании формальной инвариантности возникает неизменность стиля мышления? Эта проблема теперь уже не психологическая, не эмпирическая, а методологическая и метафизическая, поскольку за ней стоит во всей априорности исконный вопрос всего этического: как может Бог позволять ошибки, как в мире Божьем смеет жить безумие?

Можно себе представить, что существуют цепочки вопросов, которые вообще не могут быть доведены до конца: очевидно, этим свойством обладают все цепочки онтических вопросов — проблема материи, которая, продвигаясь все дальше и дальше от основного понятия к основному понятию, от исходного вещества к атому, от атома к электрону, от электрона к кванту энергии, постоянно оказывается только на временном

этапе завершения, вот пример для такого рода бесконечной цепочки вопросов.

На каком месте прерывается такого рода цепочка вопросов, является теперь делом ощущения истины и ясности, то есть делом находящейся в силе аксиоматики. Если по учению Тальса необходимо определить точку убедительности для цепочки онтических вопросов с субстанцией "вода", то это указывает на то, что для Тальса действовала система аксиом, внутри которой водное качество материи казалось "доказуемым". Здесь имеются содержательные, а не формально-логические аксиомы, прерывающие цепочку вопросов, это аксиомы действующей космогонии — но эти содержательные аксиомы должны находиться в каком-то, по крайней мере относительно отсутствия противоречий, согласии с формально-логическими аксиомами, ибо не соответствуя содержательный ход доказательств формальному, не будет и убедительности. (То, что, несмотря на все это, содержательные и логические аксиомы могут вступать в противоречие, можно увидеть на примере учения двойной истины.) Но даже если с полным скептицизмом ставить на исходную точку незнания и, оспаривая наличие космогонической убедительности и ее аксиоматики, принимать цепочку вопросов как непрерывную и ее прерывание рассматривать как чисто целесообразную, но фиктивную преднамеренность, то становится ясно, что незнание как таковое тоже располагает определенным характером убедительности, которая опирается на определенную логичность и определенную логическую аксиоматику.

Определенное, выходящее за рамки интуитивного рациональное представление этих отношений может обеспечить множество содержащихся и действующих в какой-то картине мира аксиом. Само собой разумеется, что это множество аксиом не может быть ни продемонстрировано ни сосчитано — бо-

¹ Тальс из Милета (625—547 гг. до н.э.) — греческий философ и математик.

гатство аксиом или нехватку аксиом можно определить только в экстремальных случаях. Космогония примитивного, например, в высшей степени сложна: каждая вещь в мире живет своей собственной жизнью, является в определенной степени *causa sui*¹, в каждом дереве обитает свой собственный бог, в каждой вещи — собственный демон; это мир бесконечного множества аксиом, и каждая цепочка вопросов, касающихся вещей мира, каждая цепочка вопросов уже после нескольких, а может, даже после первого шага наталкивается на одну из этих аксиом. Перед лицом такого множества коротких, едва ли не однозвенных онтологических цепочек эти цепочки в монотеистическом мире ведут очень далеко, если не бесконечно далеко, собственно, настолько далеко, пока не сольются в единой первопричине — "Бог". Следовательно, если принимать во внимание лишь онтологически-космогонические аксиомы, пренебрегая другими, то есть хотя бы чисто логическими, то для обоих экстремальных случаев, представленных полярными космогониями примитивной магии и монотеизма, количество аксиом снижается от бесконечности до единицы.

Поскольку язык является выразителем логики, поскольку логика внутренне присуща логике языка, то от языка можно протянуть обратную связь к количеству онтологических аксиом, к природе логики и к изменчивости ее "стиля", так как именно сложная онтологическая система примитивного — расширенная система аксиом — находит отражение в чрезвычайно сложной структуре и синтаксисе своего языка. И в такой же малой степени, как изменение метафизической картины мира объясняется причинами целесообразности — никто не сможет утверждать, что западная метафизика "целесообразнее", чем хотя бы стоящая по меньшей мере на такой же ступени развития, китайская, — в такой же малой степени можно ставить упрощение и основополагающее изменение стиля языков (нельзя не

¹ Следование причине (лат.).

поставить под сомнение и их практическое оттачивание) исключительно в зависимости от соображений целесообразности, целиком и полностью исходя из того, что объяснений только с позиций целесообразности явно не хватает для целого ряда изменений и синтаксических особенностей.

Какие функции может выполнять система аксиом, будь она онтологической или логической, каким образом в этой неизменности формальной она все же проявляется как "стиль", может по-прежнему быть представлена образной картиной: в определенных геометрических конструкциях бесконечно удаленная точка произвольно берется на конечном уровне символов, а далее конструирование осуществляется таким образом, словно эта фиктивная точка бесконечности действительно является бесконечно удаленной. Положение отдельных конструктивных звеньев относительно друг друга остается в такой конструкции неизменным, словно та точка действительно бесконечно удалена; лишь сдвигаются и искажаются все размеры. Подобным образом можно себе представить изменения, которым подвергаются логические конструкции, когда точка логической убедительности движется из бесконечности к конечности и земному: сохраняется формальная логика как таковая, образ ее умозаключений, даже ее содержательное ассоциативное соседство, меняются только "размеры" и "стиль".

Шаг, который еще только предстояло сделать за рамки монотеистической космогонии, был почти незаметным и все-таки более важным, чем все предыдущие: первопричина вышла за пределы "конечной" бесконечности все еще антропоморфного бога в истинно абстрактную бесконечность, цепочки вопросов уже больше не замыкаются на этой идее Бога, а уходят действительно в бесконечность (они, так сказать, больше не стремятся к точке, они движутся параллельными путями), космогония не опирается больше на Бога, она покоится на вечной продолжительности вопросов, на осознании того, что нигде не суще-

ствуует конечной точки, что вопросы всегда могут, всегда должны задаваться, что не подлежит предъявлению ни первовещество, ни первопричина, что за логикой стоит еще металогика, что каждое решение оказывается всего лишь промежуточным решением и что не остается ничего другого, кроме акта задавания вопросов как такового; космогония стала радикально научной, и ее язык, ее синтаксис сбросили свой "стиль", превратившись в математическое выражение.

35

Во вторник, четвертого июня, Эш и Хугюнау пересекали Рыночную площадь. Погода была дождливой. Полный и круглый, в распахнутом сюртуке Хугюнау продвигался горделивым шагом. "Словно победитель", — ядовито подумал Эш.

Свернув у ратуши, они стали свидетелями такой процессии: в тюрьму, может, с вокзала, а может, от здания суда вели немецкого солдата, связанного, в сопровождении двух человек с ружьями наперевес. Накрапывал дождь, крупные капли падали солдату на лицо, и чтобы стереть их, ему приходилось время от времени поднимать связанные руки и тереться о них лицом; это был неловкий и в то же время трогательный жест.

"Что с ним произошло?" — спросил Эш слегка пораженного Хугюнау.

Хугюнау пожал плечами, пробормотал что-то об убийстве с ограблением и растлении детей и добавил: "Или зарезал пастора... кухонным ножом".

Эш повторил: "Зарезал ножом".

"А если это дезертир, то расстреляют", — подвел Хугюнау черту, а перед глазами Эша возник военный трибунал, заседающий в хорошо известном зале судебных слушаний, комендант города в качестве судьи, он услышал его безжалостный приговор и увидел, как этого солдата ведут подakraпывающим дождем по тюремному двору, как он, остановившись перед

командой по приведению смертного приговора в исполнение, в последний раз вытирает о связанные руки лицо, на котором смешались дождевые капли, слезы и холодный пот.

Эш был человеком пылкого нрава: мир для него делился на черное и белое и казался вовлеченным в игру злых и добрых сил. Но его пылкость часто приводила к тому, что личность за-слоняла собой дело, он уже был готов обвинить в бесчеловечности, проявленной к этому бедному дезертиру, не бездушный жестокий милитаризм, а майора, он уже хотел сказать Хугюнау, что майор этот порядочная свинья, когда вдруг оказалось, что это не так, и его внезапно охватила растерянность, потому что неожиданно выяснилось, что майор и автор той статьи — один и тот же человек.

Майор не был свиньей, майор был чем-то более порядочным, майор внезапно переместился с черной половины мира в белую.

Перед глазами Эша очень отчетливо возникла та редакционная статья; не совсем ясные, но благородные мысли майора были ему понятны, представлялись частью высшей цели, какой была забота о свободе и справедливости мира, и это казалось тем более примечательным, что он усматривал во всем часть своей собственной задачи и цели, выраженных, впрочем, в настолько сильно возвышенном, светлом и свободном стиле, что все, что он сам думал или предпринимал по этому поводу, теперь воспринималось как нечто глупое, ограниченное, повседневное и близорукое. Эш остановился и вздохнул: "Приходится платить".

Хугюнау был неприятно поражен: "Вам легко говорить, не вас расстреливают".

Эш покачал головой, сделал отметающее и слегка безнадежное движение рукой: "Если бы дело было только в этом... дело в порядочности... а вы знаете, было время, когда я хотел вступить в общество свободомыслящих людей!"

"А если и так", — произнес Хугюнау.

"Вам не следует так говорить,— продолжил Эш,— в Библии ведь что-то есть. Прочитайте-ка только статью майора".

"Хорошенькая статья",— сказал Хугюнау.

"И что?"

Хугюнау задумался: "Еще статью он нам едва ли напишет. Сейчас печатать нужно нечто иное. Но это, естественно, придется снова делать мне одному, до вас же подобное ну совершенно не доходит. И при этом вы хотите издавать газету!"

Эш посмотрел на него полными отчаяния глазами; было совершенно очевидно, что с таким куском дерьма никуда не продвинуться — парень не понимал или не хотел понимать. Эш с удовольствием набил бы ему морду. Он сорвался на крик: "Если вам должно быть ангелом, что приступил к нему, дабы служить ему, тогда я уж лучше буду дьяволом".

"А мы все не ангелы",— философски заметил Хугюнау.

Эш согласился; к тому же они уже подошли к своему дому.

В коридоре играла Маргерите и несколько мальчиков, которые жили по соседству. Она зло посмотрела, поскольку ей мешали, но Эш, не обращая на это никакого внимания, подхватил ее и посадил себе на шею, крепко удерживая за ноги.

"Осторожно в дверях",— крикнул он и пригнулся перед порогом.

Хугюнау вошел за ними.

Когда они поднимались по лестнице вверх, Маргерите, плывущую высоко над полом, взирающую на странно увеличившийся двор и раскачивающийся сад, охватил страх; она ухватилась жесткими детскими ручонками за лоб Эша, пытаясь покрепче зацепиться за его глазные впадины.

"Спокойно там наверху,— скомандовал Эш,— осторожно в дверях". Не помогло и то, что он наклонился: Маргерите напряглась, откинув тело назад, бабахнулась головой о верхний косяк двери и завывала. Эш, который издавна привык успокаивать плачущих женщин ласковым прикосновением, опустил девочку пониже, чтобы поцеловать, но она начала вырываться, вцепилась ему в лицо, так что пришлось опустить ее на землю и отпустить.

Маргерите хотела убежать, но там, расставив руки, стоял Хугюнау и пытался поймать ее. Он с удовольствием наблюдал, как малышка рвалась из рук Эша, и если бы она вместо этого осталась у него, это было бы большой радостью. Но увидев ее угрюмое лицо, он не решился задержать ее, более того, он широко расставил ноги и сказал: "Дверь здесь". Малышка сообщила, улыбнулась и проскользнула на четвереньках сквозь "дверь".

Эш проводил ее взглядом: "Она может укокошить от нечего делать,— это звучало как нечто трогательное,— этакий маленький чумазый сорванец". "Ну, она, кажется, целиком и полностью соответствует вашему вкусу... Но я хотел бы теперь поставить сюда как можно скорее свой собственный письменный стол". "Не могу воспрепятствовать этому,— буркнул Эш,— в любом случае настанет время, когда вы здесь займетесь редакционными делами". Мысли Хугюнау по-прежнему крутились вокруг ребенка: "Малышка-то ведь постоянно здесь". По лицу Эша пробежала легкая улыбка: "Дети — это и счастье и беда, господин Хугюнау, но вам этого не понять". "Я бы еще понял, если бы вы до безумия любили ребенка. Но вот только зачем вы хотите удочерить эту маленькую чужую бестию?" "Не все ли равно — свой или чужой, я ведь вам уже как-то говорил это". "Нельзя сказать, что так уж все равно, когда кто-то другой получил удовольствие". "Вы не понимаете этого", — закричал Эш, вскакивая.

Он несколько раз пробежался из угла в угол, затем остановился там, где были сложены пакеты с газетами, вытащил одну — это был программный номер — и углубился в изучение статьи майора.

Хугюнау с интересом наблюдал за ним. Эш обхватил голову обеими руками, его короткие седоватые волосы взъерошенно торчали между пальцами, вид у него был возбужденный, и Хугюнау, которому хотелось подавить всплывающее в душе мрачное и неприятное воспоминание, уверенным голосом сказал: "Вот увидите, Эш, каких мы еще высот достигнем с газетой".

Эш ответил: "Майор хороший человек". "Да,— согласился Хугюнау,— но подумайте-ка лучше о том, что можно было бы сделать из газеты,— он подошел к Эшу, словно хотел разбудить, и похлопал его по плечу,— "Куртрирский" должны спрашивать еще и в Берлине, и в Нюрнберге, и в кафе "Хауптвахе"¹ во Франкфурте. Вы ведь знаете Франкфурт, там он тоже должен быть. Он вообще должен стать газетой, которую спрашивали бы во всем мире".

Эш никак не отреагировал на сказанное. Он только ткнул в одно место статьи: "Так что, если произведения никого не делают благочестивым, а человек должен быть благочестивым, прежде чем творить произведения. Знаете, что это значит? Что дело не в ребенке, а в образе мыслей, свой или чужой — это все равно, слышите, все равно!"

Хугюнау был в какой-то степени разочарован: "Я знаю только, что вы глупец и что вы довели газету до ручки со своим образом мыслей". Сказав это, Хугюнау вышел из комнаты.

Дверь уже давно захлопнулась, а Эш по-прежнему сидел на том же месте, смотрел застывшим взглядом на дверь, сидел и думал. Ясным, конечно же, это не назовешь, но что касается образа мыслей, то Хугюнау мог оказаться не так уж и не прав. Несмотря ни на что, казалось, именно сейчас может воцариться порядок. Мир был разделен на добро и зло, на прибыли и убытки, на белое и черное, если даже и суждено случиться тому, что вкрадывалась бухгалтерская ошибка, то ее необходимо было исправлять, и она исправляется. Эш немного успокоился. Его руки лежали на коленях, он сидел неподвижно, поглядывал сквозь прикрытые веки на дверь, видел всю комнату, которая теперь странным образом превратилась в ландшафт. Или это была видовая открытка? Сейчас она казалась киоском под зелеными деревьями, деревьями замка в Баденвейлере, он уви-

¹ "Хауптвахе" — буквально "главный караул", популярное в среде журналистов и издателей кафе в центральной части Франкфурта-на-Майне, расположенное в старинном здании, которое раньше служило местом расположения городского караула и содержания под стражей "порядочных граждан".

дел лицо майора, и это был лик чего-то более великого и возвышенного. Эш сидел так долго, что полный восхищения уже и не понимал, куда он попал, и лишь с большим трудом он смог вернуться обратно, к своему чтению. Хотя он знал статью наизусть, предложение за предложением, он все же заставил себя читать дальше, и ему снова стало ясно, где его место на этом свете, поскольку размышления майора, предназначавшиеся немецкому народу, оказали свое влияние на определенную, пусть и не очень значительную часть нации. Этой частью как раз и был господин Эш.

36

Четыре женщины мыли больничную палату.

Вошел старший полковой врач Куленбек, какое-то время он молча наблюдал за ними: "Ну как ваши дела?"

"А как должны быть наши дела, господин старший полковой врач?"

Женщины вздохнули, затем продолжили уборку.

Одна из них подняла корзину: "На следующей неделе придет в отпуск мой муж".

"Прекрасно, Тильден. Смотрите только не сломайте кровать".

Даже под темной кожей лица госпожи Тильден было видно, как она покраснела. Остальные прыснули со смеху. Вместе со всеми засмеялась и госпожа Тильден. В то же мгновение у одной из кроватей раздался лай. Это был не совсем настоящий собачий лай, это было бездыханное, тяжелое и очень болезненное выталкивание чего-то, что едва ли можно было назвать звуком и что шло из самых глубин.

На кровати сидел ополченец Гедике, черты его лица были обезображены болезненной гримасой; чудной звук издавал именно он, смеясь столь удивительным образом.

Это был первый звук, который удалось услышать от него с

момента его поступления сюда (если не принимать во внимание его хныканье в самом начале).

"Ну и похабник,— чертыхнулся старший полковой врач Куленбек,— тут он соображает, что можно смеяться".

37

История девушки из Армии спасения (5)

Поблекшая весна окаменевшего закона,
Поблекшая весна Сионовой невесты,
Шум городской поблекший, беззвучно также
Исходящий из той невидимой сети,
Воскресный день, отточенный из камня, не источающий
ни мягкости, ни доброты,
Небес поблекший лик, свой взгляд бросающий на панцирь
из асфальта площадей,
В зев улиц пропастей бездонных, и, словно мерзкая чесотка,
Ползет бездушный камень по коже нежной, земляной.
О, город полный ложного огня, о, город, полный лживых
воплей,
Взор грешника не может различить деревьев зелень,
И в поисках душа его того местечка, где в покаянной глубине
Восстанет святость из Закона,
Источнику живительной воды подобно, из мыслей,
Из книг священных, из сомнений и колебаний.
То — город странников, и грешников, трясущихся от страха,
и аскетов,
Город того народа, что Бога благосклонный взор к себе
привлек,
Народа, что, размножаясь безучастно, лишь сыновей своих
считать привык,
Народа старцев, что, стоя у окна, молитвы звуки издают,
Словно монахи бородатого народа, связь с Богом непрерывную
хранящего,

Блудущего все праздники, носящего и ремешки, и культа
своего предметы,
А жены между тем хлеб пышный монастырский замесили
И тусклый огонек светильников на масле раздули в день
поминальный;
Народ, берущий женщин, дабы в постели был зачат
Юнец безликий с бородкой театральной,
Юнец Иакова, пред которым и ангелы склоняли головы свои,
И истина которому была открыта, перст указующий дорогу
К тому источнику, где ангелы вкушали воды живительную
благодать,
К тому источнику, где овцы у Рахили воду пили.
О, город серый, привал кочевников бесцветных ликом,
Бредущих по пути Сиона, что к Богу должен привести,
Безбожный град, охваченный безжалостным корсетом,
Камнем безучастным обнесенное пространство, где боли
и проклятьям нет конца,
Где Армии спасенья барабана тонкий голосок струится,
Так что грешники не могут продолжать свой бег губительный,
Путь истины, что милосердья полон, найдя, бредут они домой,
Тем преисполненным любви путем Сиона.
И в этом городе Берлине, в весенние те дни
Нухему Зуссину встретилась Мари святая.
Какое-то мгновенье души их робели,
Затем — колени друг пред другом преклонили;
И не было в них ощущенья когтей судьбы жестокой,
Сион им виделся, и благодареньем стала вся их жизнь.

38

Уже около двух лет Хайнрих Вендлинг не был в отпуске. И все-таки Ханна была поражена, так поражена, словно бы разразилось какое-то не поддающееся пониманию иррациональное событие, когда пришло письмо, в котором Хайнрих сообщал о

своем прибытии домой. Дорога от Салоников должна была занять не менее шести дней, может, даже больше. Ханна испытывала страх перед его прибытием, как будто ей надо было скрывать от него своего тайного любовника. Каждый день задержки в пути она воспринимала, словно подарок; но каждый вечер она уделяла своему вечернему туалету все большее внимание, а по утрам оставалась в постели дольше обычного, ожидая и опасаясь, что возвращаясь домой, грязный и небритый, он сразу же пожелает овладеть ею. А поскольку она, собственно, испытывала стыд от такого рода игры своего воображения и уже по этой причине надеялась, что, может, какое-то там наступление или еще какая-нибудь беда сорвет отпуск, то в душе шевелилась еще более сильная и очень странная надежда, возникшая как бы между прочим, предчувствие, о котором не хотелось ничего знать да ничего и не было известно и которое напоминало ощущение тяжелой операции: нужно быть подвергнутым ей, дабы избежать чего-то неизбежного, к чему неудержимо тянет, это было подобно последнему жуткому убежищу, мрачное само, оно все же казалось спасением от еще более мрачной темноты. Если даже назвать такое поведение, такой исполненный надежды страх и такое пугающее нетерпеливое ожидание мазохизмом, то это означает всего лишь остаться на самой поверхности омута души. И объяснение своему состоянию, которое могла себе позволить Ханна, если она на него вообще обращала внимание, не так уж сильно отличалось от мнения глупых старух, видевших в супружестве единственное средство лечения, способное раз и навсегда положить конец всем страданиям малокровных молодых девиц. Нет, она даже не решалась углубиться мыслями в то, что происходит, это были дебри, влезать в которые ей не хотелось, и если она где-то и ждала, что с приездом Хайнриха ход событий приобретет свой естественный порядок, то с такой же убежденностью она считала, что восстановить такой порядок невозможно будет уже никогда.

Наступило настоящее лето. "Дом в розах" оправдывал свое название, хотя, отдавая должное времени, уход за овощами

был предпочтительнее ухода за цветами, а сил постоянно болеющего садовника не хватало даже на первое. Но плетущиеся цветы не поддавались угнетающему действию войны, и их вьющиеся стебли доставали почти до скульптурных фигур возле входной двери, кусты пеонов красовались белыми и розовыми цветами, а полосы гелиотропов и левкоев, окаймлявшие лужайки, были в полном цвету. Перед домом спокойно раскинулся зеленый ландшафт, уходящая вдаль долина привлекала к себе взор, уводя его к опушке леса, к утопающему в зелени домику лесника, который зимой можно было рассмотреть со всеми его окнами, в зелень были погружены и виноградники, и только лес лежал темным пятном, темным он был еще и потому, что небо над горами затягивало сейчас черными облаками.

После обеда Ханна выставила перед домом шезлонг. Расположившись под каштанами, она наблюдала за сгущающимися облаками, тень которых, приближаясь, уже ползла по полям, превращая светлую яркую зелень в темноватый и странным образом успокаивающий зелено-фиолетовый цвет, и когда эта тень легла на сад и потянуло вдруг подвальной прохладой, цветы, до этого момента затаившиеся от жары, неожиданно разразились благоуханием, словно дыхание их освободилось. Или, может, внезапная прохлада позволила Ханне ощутить аромат, и все же это было столь неожиданно, столь неповторимо, столь стремительно, эта нахлынувшая волна сладостного аромата была столь бодрящей и завораживающей, словно вечер в южном саду, словно вечер на скалистом берегу Тирренского моря. Земля расположилась на берегу облака, низвергающего свою волну — мягкий и густой грозовой ливень, и Ханна, остановившись в распахнутых дверях веранды, вдыхала полной грудью аромат юга, впитывая почти с жадностью мягкую влагу, прохладу и свежесть; вместе с воспоминаниями на нее нахлынул и страх, который она испытала впервые тогда, когда дождливым вечером во время свадебного путешествия по Сицилии стояла на берегу моря: за спиной находилась гостиница, цветы в гостиничном саду источали тонкий аромат, и она не могла понять,

кто он, этот чужой, стоящий рядом с ней мужчина — звали его доктор Вендлинг.

Она испугалась, когда увидела, как по дорожке сада семенил садовник, чтобы спрятать садовую мебель от дождя; она испугалась, подумав, должно быть, о ворах, хотя она точно знала, что собирается делать этот человек. Если бы к ней не вышел Вальтер, то она убежала бы к себе в комнату и заперла бы за собой дверь. Вальтер сел на порог; он выставил босые ноги под дождь и был занят тем, что осторожно сдирал с колена засохший струп, чтобы затем с удовольствием погладить выступившую наружу новую розовую кожу. Ханна тоже присела на порог; она обхватила ноги, свои красивые стройные ноги руками — дома она не носила чулок, — и прохлада коснулась гладкой кожи ее бедер.

Дождь, пробудивший вначале благоухание цветов, прибил его, и теперь пахло только сырой землей. Блестела мокрая, покрытая коричневой черепицей крыша домика садовника, и когда садовник снова направился к нему, щебень под его ногами скрипел уже не от сухости, а оттого, что был мокрый — шуршал отчетливо и слегка приглушенно. Ханна обняла ребенка за плечи. Почему они не могут сидеть вот так вечно, спокойно найдя свое место в очищенном и прохладном мире! Страху у нее почти не осталось. Тем не менее она сказала: "Если сегодня ночью будет гроза, я разрешу тебе спать у меня, Вальтер".

39

Войдя в обеденный зал гостиницы, старший полковой врач Куленбек и доктор Кессель увидели майора на своем обычном месте. Он читал только что полученную "Кельнскую газету". Вошедшие поздоровались, и майор, поднявшись, пригласил их к своему столику.

Старший полковой врач, кивнув на газету, изрек в высшей

степени нетактично: "Нас ждет удовольствие почитать ваши статьи и в других газетах, господин майор?"

Майор лишь покачал головой и передал старшему полковому врачу газету, указывая на военную хронику: "Плохие новости".

Старший полковой врач пробежал глазами статью: "Не хуже, собственно, чем прежде, господин майор".

Майор вопросительно уставился на него.

"Ну, есть ведь еще просто хорошая новость, господин майор, и называется она — мир".

"Тут вы правы,— согласился майор,— но это должен быть почетный мир".

"Прекрасно,— сказал Куленбек и поднял свой бокал,— итак, за мир".

Господа чокнулись бокалами, а майор повторил: "За почетный мир... иначе к чему были все эти жертвы?" Он задержал свой бокал в руке, словно хотел еще что-то заявить, но молчал; выйдя наконец из оцепенения, он сказал: "Честь — это не какая-то там условность. Раньше отравляющий газ как оружие был бы запрещен".

Господа молча пили вино.

Молчание нарушил доктор Кессель: "Что дают самые прекрасные теории о питании в военное время? Приходя вечером домой, я едва держусь на ногах; для пожилого человека этого как раз и недостаточно".

Куленбек сказал: "Вы — пораженец, Кессель; диабет, как доказано, сократился до минимума, карцинома имеет, кажется, такую же тенденцию. Это просто ваше личное несчастье, что вы не болеете диабетом. Между прочим, дорогой коллега, если вас беспокоят ноги... Нам здесь всем не по восемнадцать".

Майор фон Пазенов вставил: "Чувство — это не инертность мысли".

"Я не совсем хорошо вас понимаю, господин майор",— произнес старший полковой врач Куленбек.

Майор смотрел в пустоту: "А, ничего... Знаете... Под Верде-

ном погиб мой сын... Сейчас ему было бы без малого двадцать восемь".

"Но у вас ведь есть еще семья, господин майор".

Майор ответил не сразу; не исключено, что он посчитал это замечание не совсем тактичным. Наконец он сказал: "Да, младший сын и две девочки... мальчик... его тоже скоро призовут... нужно отдать кесарю кесарево...— он запнулся, затем продолжил: — Видите ли, причина всех бед в том, что Богу не отдают Богово".

Доктор Куленбек поддержал разговор: "Даже человеку человеческое не отдают... Мне кажется, начинать необходимо именно с этого".

"Вначале — Бог", — было мнение майора фон Пазенова.

Куленбек гордо поднял голову; его черно-серая борода торчала в воздухе одиноким клинышком: "А мы, врачи, как раз гнусные материалисты".

Майор примирительным тоном возразил: "Да зачем вам говорить такое!"

Доктор Кессель был также другого мнения; настоящий врач всегда идеалист. Куленбек засмеялся: "Верно, а я и забыл о вашей работе в больничной кассе".

После небольшой паузы доктор Кессель продолжил: "Если можно было бы вернуться хоть наполовину назад, я бы снова возобновил занятия камерной музыкой".

Майор сказал, что его жена тоже охотно музицирует. Затем, задумавшись на какое-то мгновение, добавил: "Шпор — хороший композитор".

40

С тех пор, как стало известно, что Гедике смеялся, его соседи по палате пытались сделать все возможное, чтобы заставить его сделать это еще раз. Ему рассказывали самые похабные анекдоты, а когда он лежал на кровати, то мало кто прохо-

дил мимо и не пытался расшевелить этот ходячий скелет. Но подобные усилия окружающих результатов не приносили. Гедике больше не смеялся. Он молчал.

Пока однажды сестра Карла не принесла открытку полевой почты: "Гедике, вам написала супруга...— Гедике не шевельнулся.— Я прочитаю вам". И сестра Карла прочитала, что его верная жена уже давно ничего о нем не слышала, что у нее и детей все в порядке и что все они надеются на его скорое возвращение. "Я отвечу за вас",— сказала сестра Карла. Гедике не подал ни единого знака понимания, так что можно было подумать, будто он в действительности ничего не понял. Ему, вероятно, и вправду удавалось бы скрывать от всех посторонних бурю, разразившуюся в его душе, ту бурю, которая перемешивала части его "Я", в жутком темпе вынося их на поверхность, чтобы затем снова утопить в темной бездне, ему бы удалось успокоить эту бурю и снова постепенно успокоиться, если бы в этот момент мимо не проходил первый весельчак палаты драгун Йозеф Заттлер, который присел на краешек кровати у его ног, чтобы отпустить пару шуток. Тут ополченец Гедике издал крик, который ни в коем случае нельзя было назвать смехом, чего от него ждали и что сделать он, собственно, был обязан, он издал злой и тяжелый крик, сел на кровати, но не так медленно и с трудом, как он обычно делал это в других случаях, он вырвал из рук сестры Карлы карточку полевой почты и разорвал ее. Затем медленно начал оседать обратно, а поскольку быстрые движения вызывали у него боль, он ухватился за живот.

Он лежал, уставившись в потолок, и пытался привести свои мысли хоть в какой-нибудь порядок. Он отдавал себе отчет в том, что поступил правильно; он с полным правом дал отпор тому, кто пытался вторгнуться в него. А то, что тот, кто пытался вторгнуться в него, был служанкой Анной Лампрехт с тремя своими детьми, было почти что все равно и это можно было быстро выбросить из головы. Он радовался именно тому, что смог так быстро успокоить мужчину, женившегося на служанке Лампрехт, и отправить его на свое место за темный барьер —

пусть ждет там, пока не позовут. Но тем не менее дело этим не исчерпывалось: кто приходил один раз, тот может прийти снова, даже если его и звать не будут, и если была открыта одна дверь, то любая другая может распахнуться сама по себе. Охваченный ужасом, он ощущал, не зная даже как сформулировать, что каждое вторжение в любую часть души болезненно затрагивает и все остальные части, да так, что все они претерпевают вследствие этого изменения. Это было похоже на гудение в его ушах, гудение души, гудение множества "Я", сила звучания была настолько мощной, что он чувствовал его всем телом, но это было похоже также на ком земли, которым оказался забит рот, удушающий ком, меняющий все мысли. А может, это было похоже и на нечто другое, но в любом случае это было что-то сверхмощное, ощущение зависимости от которого охватывало полностью. Появлялось чувство, словно хочешь замазать кирпичную кладку раствором, а он застывает еще на кельме. Казалось, словно бы здесь был бригадир стройки, который, ударившись в непозволительную и невозможную спешку, велел класть кирпичную стенку в таком бешеном темпе, что она быстро громоздилась вверх и ее невозможно было как следует обработать. Стенка неминуемо упадет, если, дабы положить конец такому подходу, своевременно не сломать лебедку для подачи кирпичей и бетономешалку. Лучше всего было бы снова заклеить глаза и заглушить пробками уши; человеку Гедике вовсе ни к чему было что-либо видеть, что-либо слышать да и что-либо есть тоже. Если бы его сейчас не мучили такие сильные боли, то он пошел бы в сад и набрал бы полные горсти земли, дабы заглушить эти отверстия. Он ухватился за эту чертову нижнюю часть живота, из которой вытекают дети, сжимая ее руками, словно пытаюсь предотвратить последующее вытекание оттуда, сцепив зубы и сжав губы, чтобы не издать даже вдоха боли,— ему казалось, что таким образом у него прибавляются силы, словно силы эти в состоянии возводить все более высокую и светлую стену, словно бы он сам присутствует везде, стоит на каждом этаже, на каждом уровне стенки, в конце

концов он совершенно один пребывает на самом верхнем этаже, на самой вершине этой стены, он может там стоять, он смеет там стоять, без боли и свободный, распевая песни, как он это делал всегда, находясь наверху. А плотники работали бы под ним, что-то подправляя топорами, забивая скобы, и он по обыкновению поплевывал бы вниз, и его плевки описывали бы большую дугу над ними, а там, где они, шлепая, падали на землю, там вырастали бы деревья, которые, какими бы высокими они ни были, но достать до него все равно не смогли бы.

Когда пришла сестра Карла с тазом и пеленками, он лежал спокойно и так же спокойно позволил укутать себя компрессами. Два дня он отказывался есть и пить. И вскоре произошло то событие, во время которого он начал говорить.

41

История девушки из Армии спасения (6)

К моему собственному удивлению, я снова начал заниматься своими историко-философскими исследованиями о распаде ценностей. И хотя я почти не выходил из дома, работа продвигалась вперед, но медленно. Ко мне иногда заходил Нухем Зуссин, он всегда садился на серые полы своего сюртука, который он никогда не расстегивал: скорее всего своего рода стеснительность не позволяла ему сделать это. Я часто задавал себе вопрос, как могут эти люди доверять доктору Литваку, который в своем коротком пиджачке свободного покроя вступал в противоречие со всеми их воззрениями. Пока я нашел для себя объяснение в том, что прогулочная трость, с которой носился доктор Литвак, могла быть своеобразной заменой недостающим длиннополым одеяниям. Но это, естественно, были всего лишь предположения.

Довольно долго не удавалось разузнать, чего, собственно,

хочет Зуссин. Когда он садился, то никогда не забывал сказать "с вашего позволения", а после непродолжительной неловкой паузы всплывала какая-нибудь юридическая проблема: имеет ли право правительство конфисковывать продукты питания, которые уже находятся в доме или даже на тарелке, может ли распространяться на алименты, которые получают жены военнослужащих, положения страхования на случай смерти... Собственно говоря, было непонятно, чего он хочет этим добиться, создавалось впечатление, будто он соединяет наугад различные провода, но ощущалось все же, что из этого выплывают настоящие проблемы или что в его голове простирается некий юридический ландшафт, который необходимо было изучить с помощью такой искусственной и замысловатой подзорной трубы.

Даже когда он брал в руки книгу и подносил ее к близоруким глазам, то казалось, что читает он нечто совершенно другое. Он испытывал безмерное уважение к книгам, но мог до упаду смеяться над некоторыми строчками Канта и бывал удивлен, когда я не следовал его примеру. Так, для него стала необычайно забавной шуткой следующая мысль Гегеля: "Принцип волшебства заключается в том, чтобы не просматривалась взаимосвязь между средством и результатом". Вне всякого сомнения, он презирал меня, поскольку на вещи и на их комичность я смотрел по иному, странным образом склоняясь к тому, чтобы признать его точку зрения более правильной, хотя и более сложной. Впрочем, это был единственный повод, когда я видел его смеющимся.

А еще у него была определенная тяга к музыке. В моей комнате на стене висела лютя со множеством бантиков. Я думаю, что она принадлежала сыну хозяйки; сын был то ли в плену, то ли пропал без вести. В любом случае Зуссин просил меня: "Сыграйте" и не хотел верить, что я не умею, считал, что я слишком стеснителен. Ну а двигаясь по этому пути, он наконец добрался, собственно, до цели своих визитов: "Вы уже слышали, люди играют... Те, в форме. Очень красиво".

Он имел в виду Армию спасения и попытался скрыть улыбку, когда я догадался об этом. "Сегодня вечером я иду послушать. Пойдете со мной?"

42

Радовался Хугюнау газете не очень долго, не более месяца. На газете писали еще "июнь", а Хугюнау был уже по горло сыт ею. В первом порыве ему удался программный номер с программной статьей; но поскольку сразу же после этого ничего нового ему в голову не приходило, то он потерял к газете всякий интерес. Возникло впечатление, что он забросил в угол свою игрушку, так как она ему больше не нравилась. И если даже за этим просматривалось сформировавшееся мнение, что из провинциального листка никак невозможно сделать влиятельную газету, все же Хугюнау было просто скучно, он, собственно, не хотел больше ничего слышать обо всем этом, а реалии газетного дела его просто раздражали. Он и раньше никогда особенно не торопился, собираясь на свою работу, а теперь и вовсе подолгу валялся в кровати, растягивал завтрак сверх всяких приличий и только скрепя сердце, направлялся в свой рабочий кабинет во флигеле, да, а частенько случалось и такое, что он задерживался на кухне у госпожи Эш, чтобы поговорить с ней о ценах на продукты питания. Оказавшись в конце концов в редакции, он в основном скоро снова спускался вниз и проскальзывал к печатной машине.

Маргерите играла в саду. Хугюнау крикнул ей через двор: "Маргерите, я в типографии".

Девочка подбежала к нему, и они вместе вошли в помещение. "Доброе утро",— кратко поздоровался Хугюнау. С тех пор, как Линднер и помощник наборщика стали его подчиненными, он старался быть с ними как можно более кратким. Впрочем, это их мало беспокоило, и у него снова возникло впечатление, что они действительно презирают его, человека, который ниче-

го не смыслит в машинах. Сейчас они работали в наборной, и Хугюнау, держа малышку за руку, попытался, заглядывая из-за спин, разобраться в их работе и был рад, когда они оставили наборную и снова оказались у его печатной машины.

Печатная машина все еще нравилась ему. Человек, который всю свою жизнь продавал произведенный машинами товар и для которого фабрики и владельцы машин занимали положение необычайное и, собственно говоря, недостижимое, наверняка воспримет как особое событие факт, что он сам вдруг стал владельцем машин, и вполне может быть, что у него сформируется то исполненное любви отношение к машине, которое почти всегда характерно для мальчишек и недоразвитых народов, отношение, героизирующее машину, проецирующее ее на возвышенный и не обремененный рамками уровень собственных представлений и захватывающих героических подвигов. Мальчишка часами может наблюдать за локомотивом на вокзале, в глубине души радуясь тому, как он переставляет вагоны с одной колеи на другую, часами мог сидеть и Вильгельм Хугюнау перед своей печатной машиной, с любовью взирая на нее серьезным и пустым мальчишеским взглядом из-за стекол очков, испытывая безмерное чувство удовлетворения от того, что она движется, глотает бумагу и возвращает ее обратно. Избыток любви к этому живому существу так переполнял его душу, что в ней не могли проклюнуться ни честолюбие, ни хотя бы попытка понять все же эти *недостижимые и удивительные* функции машины; он с удивлением и нежностью, почти что со страхом воспринимал ее такой, какой она была.

Маргерите залезла на рулон бумаги, а Хугюнау сидел на красного цвета лавке, стоявшей рядом. Он посматривал то на машину, то на ребенка. Машина была его собственностью, она принадлежала ему, ребенок принадлежал Эшу. Некоторое время они бросали друг в друга скомканным листком бумаги; затем Хугюнау устал от такой игры в "мячик", он закинул ногу на ногу, протер очки и сказал: "И на объявлениях можно было бы кое-что заработать".

Девочка продолжала играть бумажным мячиком.

Хугюнау продолжал: "Я и не представлял себе, что все так плохо. С газетой вышла промашка... но тем не менее у нас есть типография. Тебе ведь нравится печатная машина?"

"Да, поиграем в печатную машину, дядя Хугюнау!"

Маргерите спустилась с рулона бумаги и забралась к Хугюнау на колени. Затем они взялись за руки и начали ритмично раскачиваться назад и вперед, скандируя в такт движению: "Чух, чух".

Хугюнау притормозил. Маргерите осталась сидеть верхом на его коленях. Хугюнау немного запыхался: "С газетой вышла промашка. Если дело пойдет так и дальше, то мы упадем до четырехсот экземпляров. Но если у нас будет две страницы объявлений, то это будет хороший бизнес, и мы разбогатеем. Не так ли, Маргерите?"

Маргерите подпрыгивала на его коленях, а Хугюнау начал трясти ими, имитируя скачущую лошадь; девочка смеялась, поскольку в такт трясущимся коленям он приговаривал: "Да, ты будешь бо-га-той, ты будешь бо-га-той. Ты рада этому, Маргерите?"

"Тогда ты дашь мне много денег".

"Как, как?"

"Много денег".

"Знаешь, Маргерите, мы возьмем мальчиков, которые будут заниматься сбором объявлений... в селах... везде. За вознаграждение".

Девочка со всей серьезностью кивнула головой.

"Я себе уже могу представить: брачные объявления, купля-продажа и так далее, и тому подобное. Принеси-ка мне образцы от господина Линднера,— и он крикнул в наборную: — Линднер, образцы объявлений!"

Девочка со всех ног бросилась в наборную и принесла образцы.

"Вот посмотри, такие образцы мы раздадим агентам. Увидишь, как это будет привлекательно.— Он снова взял девочку

на колени, и вместе они углубились в изучение образцов. Затем Хугюнау сказал: — Значит, с деньгами ты хочешь дать делу... И куда же ты хочешь?"

Маргерите пожала плечами: "Куда-нибудь".

Хугюнау задумался: "Через Эйфель ты попадешь в Бельгию. Там живут хорошие люди".

Маргерите спросила: "Ты поедешь со мной?"

"Может быть... может быть, позже, да".

"Когда позже?"

Она ласково прижалась к нему, но Хугюнау внезапно и бесцеремонно прервал разговор: "Все, хватит". Он подхватил ее и посадил на печатную машину. На удивление отчетливо перед глазами возникло изображение того убийцы, того совратителя малолетних, что был прикован к колесу, это воспоминание вызвало у него чувство беспокойства. "Всему свое время", — сказал он и посмотрел на девочку, которая легко и подвижно сидела на тяжелой и неподвижной машине и которая тем не менее каким-то образом относилась к ней. Если бы машина сейчас заработала, то она проглотила бы Маргерите точно так же, как и бумагу, и он проверил, действительно ли сняты ремни привода. Как-то с опаской он повторил: "Всему свое время, а время еще придет... Тут он нам хоть так, хоть эдак не помешает".

А когда он задумался над тем, для чего еще придет время, то обратил внимание на то, что этот Эш со своей лошадиной улыбкой, что этот костлявый несносный учитель не дает ему покоя и, ссылаясь на договор, постоянно ссылаясь на договор, пытается повесить на него редакционные дела и требует, чтобы он целый день сидел возле него и работал, а может, он потребует еще, чтобы Хугюнау надевал голубую военного покроя рубашку. Придираться к внешним проявлениям — это он может, а вот идей — ни на грош! Тут у Хугюнау улучшилось настроение, поскольку господину учителю еще ни разу не удалось заставить его работать.

Раскладывая образцы объявлений, он сказал: "Ну, с господином учителем мы еще посчитаемся, не так ли, Маргерите?"

"Сними меня", — попросила девочка.

Хугюнау подошел к машине, но когда малышка обхватила его шею рукой, он на какое-то мгновение застыл в задумчивости, поскольку теперь до него дошло: тайно он ведь поставлен выше учителя! Он же сам предложил понаблюдать и пошпионить за этим подозрительным человеком, и майор одобрил его план! Это был именно Хугюнау, и пусть даже его занесло сюда просто волею случая, чтобы найти свою собственную цель в жизни, его жизнь была бы наполнена до края, если бы удалось полностью разоблачить тайные происки господина Эша. Да, все так и было, и Хугюнау с жаром поцеловал Маргерите в измазанную типографской краской щечку.

А господин Эш, между тем, сидел наверху в редакции, довольный, что должен выполнять свою работу и что ему не приходится передавать ее Хугюнау — он ко всему прочему был убежден, что Хугюнау никогда не сможет выдерживать то направление, которое было начертано майором, и его желание заключалось в том, чтобы позаботиться об этом самому, послужив таким образом майору и хорошему делу.

43

Доктор Флуршютц исследовал в операционной культю руки Ярецьки: "Смотрится замечательно. Старший полковой в ближайшие дни будет вас выписывать. Вам было бы неплохо... в какой-нибудь дом отдыха".

"Естественно, было бы неплохо, самое время выметаться отсюда".

"Я тоже так думаю, а то нам придется поддержать вас здесь еще и с белой горячкой".

"А что остается делать, если не пить, а пристрастился я к этому и правда только здесь".

"Раньше вы не прикладывались к рюмке?"

"Нет... Ну, разве что совсем немного, как впрочем любой из

нас. Знаете ли, я ведь учился в политехникуме в Брауншвейге, а где вы учились на врача?"

"В Эрлангене".

"Ну, тогда и вы не должны были бы просыхать, без этого в маленьких городках не обойтись. Когда там сидят вот так, как здесь, то все получается как-то само собой...— Флуршютц продолжал ощупывать культю руки.— Вот видите, эта зараза и хочет и не хочет заживать, а как обстоят дела с моим протезом?"

"Уже заказан, без протеза мы вас отсюда не отправим".

"Прекрасно, но тогда постарайтесь, чтобы его привезли. Если бы вы не занимались здесь своим делом, вы бы снова начали пить".

"Не знаю, думаю, я нашел бы, чем заняться. А с книгой в руках, Ярецки, вас действительно ни разу не видели".

"Скажите-ка, но только честно, вы в самом деле читаете всю ту кучу книг, что валяется в вашей комнате?"

"Читаю".

"Странно... И есть в этом хоть какие-нибудь смысл и цель?"

"Абсолютно нет".

"Тогда я спокоен. Знаете, доктор Флуршютц... Да, я уже успокоился. Вы ведь отправили некоторых людей на смерть, для этого вы здесь, но когда ты действительно убил пару человек... видите ли, тогда, наверное, на протяжении всей жизни больше не возникает потребности брать в руки книгу... это то, что чувствую я... все уж устроено... поэтому и война не окончится..."

"Смелый ход мыслей, Ярецки, что вы сегодня уже успели принять?"

"Нет, я трезв как стеклышко..."

"Так, готово... Максимум через четырнадцать дней мы попробуем одеть протез. Вам тогда придется, собственно говоря, походить в эдакую школу... Вы ведь хотите чертить..."

"Да как сказать, я просто не могу себе это больше представить".

"А как же "АЕГ"?"

"Как по мне, так пусть будет протезная школа... Иногда мне

кажется, что руку-то мою вы отчекрыжили очень уж высокогато. Сделали это, так сказать, исключительно во имя справедливости, ведь я бросил тогда гранату французу прямо под ноги..." Флуршютц внимательно посмотрел ему в глаза: "Послушайте, Яречки, не сходите с ума, вы ведь говорите ужасные вещи... и правда, сколько вы успели уже сегодня залить внутрь?"

"Стоит ли об этом... я ведь благодарен вам за чувство справедливости, и вы отлично справились с операцией... Сейчас я чувствую себя намного лучше, до охречения хорошо, и все чудненько устроено... Да и "АЕГ" ждет не дождется меня".

"На полном серьезе, Яречки, вы должны пойти туда".

"Знали бы вы только... не ту руку оттяпали вы мне... этой...— Яречки стукнул двумя пальцами по стеклянной поверхности инструментального столика,— этой рукой метнул я ту гранату... может, поэтому она по-прежнему висит на моем теле подобно какому-то отвесу".

"Все образуется, Яречки".

"А и так уже все в полном порядке".

44

РАСПАД ЦЕННОСТЕЙ (6)

Логике солдата поддается процесс метания гранаты под ноги противнику;

логике военных поддается процесс использования с предельной последовательностью и радикальностью военных средств власти и, если это оказывается необходимым, процесс истребления народов, разрушения соборов, обстреливания больниц и операционных;

логике предпринимателя поддается процесс использования с предельной последовательностью и полнотой экономических средств и, при условии уничтожения любой конкуренции, посябничество обретению монопольного положения его экономи-

ческими объектами, будь то магазин, фабрика, концерн или еще какое бы то ни было экономическое образование;

логике художника поддается процесс соблюдения до самого конца художественных принципов с предельной последовательностью и радикальностью, с риском, что будет создано полностью эзотерическое, понятное только автору, творение;

логике революционера поддается пособничество революционному подъему вплоть до демонстрации революции на собственном примере, логике политизированного человека вообще поддается доведение политической цели до абсолютной диктатуры;

логике обывательского пустозвона поддается реализация с абсолютной последовательностью и радикальностью лозунга обогащения: таким образом, с такой абсолютной последовательностью и радикальностью возникли мировые достижения Запада, чтобы с этой абсолютностью, уничтожающей саму себя, дойти до абсурда: война это война, искусство для искусства, в политике нет места сомнениям, дело есть дело — это все говорит, это все свидетельствует о собственно агрессивной радикальности, преисполненной той таинственной, я бы даже сказал, метафизической беспощадности, той направленной на дело и только на дело ужасной логике, которая не поглядывает ни вправо ни влево — о, все это есть стиль мышления нашего времени!

Этой жестокой и агрессивной логики, вытекающей из всех ценностей и малоценностей данного времени, невозможно избежать, даже если удастся в одиночестве спрятаться в замке или еврейской квартире; а между тем, кто испытывает страх перед познанием, для кого речь идет о замкнутости картины мира и ценностей, кто ищет желаемую картину в прошлом, тому с достаточным основанием стоит обратить свой взор на средневековье, поскольку у средневековья имеется идеальный центр ценностей, от которого все зависит, имеется высшая ценность, которой подчинены все другие ценности: вера в христианского Бога. От этой центральной ценности зависела как

космогония (более того, она могла схоластически дедуцироваться из нее), так и сам человек; человек со всеми своими делами являлся частью того мирового порядка, который был всего лишь зеркальным отражением церковной иерархии, замкнутой в себе и являющейся конечной копией вечной и не знающей конца гармонии. Для средневекового купца не существовало понятия "дело есть дело", конкурентная борьба была для него чем-то предосудительным, средневековому художнику неведомо было "искусство для искусства", он знал лишь служение вере, средневековая война только тогда принимала во внимание достоинство абсолютности, если она велась во имя абсолютной ценности, во имя веры. Это была покоящаяся на вере окончательная, не каузальная¹ цельность мира, основывающегося больше на бытии, и его социальная структура, его искусство, его социальное единство — короче говоря, вся структура его ценностей — были подчинены всеобъемлющей жизненной ценности веры; вера была точкой убедительности, в которой заканчивалась каждая цепочка вопросов, она была тем, что, реализуя логику, придавало ей ту специфическую окраску и ту стилеобразующую силу, которые называются не только стилем мышления, а до тех пор, пока вообще будет жить вера, — стилем эпохи.

Но мышление решилось сделать шаг от монотеистического к абстрактному, и Бог, видимый и персонифицированный в конечности-бесконечности триединства Бог, стал тем, чье имя невозможно было больше произнести и чье изображение невозможно было нарисовать, он вознесся и растворился в бесконечной нейтральности абсолютного, исчез в ужасном бытии, которое больше не знает покоя и является непостижимым.

В насилии такого переворота, которое несет в себе радикализация, в этом перемещении на новый уровень бесконечности точки убедительности, в этом разворачивании веры из земного действия состоит отмена покоящегося бытия. Стилеобразую-

¹ Causalis — причинный (лат.).

щая сила в земном пространстве кажется угасшей, а рядом с мощью системы Канта все еще изящно красуется рококо или пребывает моментально дегенерирующий до уровня обывателей ампир. Если бы даже ампир и последовавший вскоре за ним романтизм воспринимались как расхождение между духовным переворотом и земельно-пространственной формой выражения, если бы даже обращенный назад взгляд на античность и готику был взыванием к спасительному, то развитие все равно невозможно остановить; превратив бытие в чистую функциональность, размыв саму физическую картину мира, доведя ее до такой абстрактности, что после двух поколений не останется и пространства, было принято решение в пользу чистой абстрактности. И перед лицом бесконечно далекой точки, к недостижимо ноуменальной дали которой устремилась теперь каждая цепочка вопросов и убедительности, сразу стала невозможной связь отдельных областей ценностей с основной ценностью; абстрактное безжалостно пронизывает логику создания каждой отдельной ценности, а обнажение ее содержания не только запрещает любое отклонение от целевой формы, будь это целевая форма строительства или целевая форма какой-нибудь иной деятельности, оно радикализует отдельные области ценностей настолько сильно, что они, опираясь на самих себя и будучи отосланными к абсолютному, отделяются друг от друга, становятся параллельными и, оказываясь неспособными создать единое тело ценности, паритетными друг другу, подобно чужакам они стоят друг подле друга — область экономических ценностей "предпринимателя самого по себе" рядом с художественным "искусством для искусства", область военных ценностей рядом с технической или спортивной, каждая автономно, каждая "сама по себе", каждая "раскрепощена" в своей автономности, каждая стремится со всей радикальностью сделать последние выводы и побить собственные рекорды. И, увы! Если в этом споре областей ценностей, которые пока еще уравновешены между собой, одна перевешивает другие ценности, возвышаясь над ними, возвышаясь, как военная область сейчас, в

годы войны, или как экономическая картина мира, которой подчинена даже война, она охватывает все другие ценности и уничтожает их подобно полчищу саранчи, ползущей по полям.

Но человек, человек, созданный когда-то по подобию Божьему, зеркало мировой ценности, он уже больше не такой; сохрани он даже представление о тогдашней защищенности, задавай он себе вопросы, что за довлеющая логика исказила ему смысл всего, человек, вытолкнутый в ужас бесконечного, пусть даже ему страшно, пусть он даже преисполнен романтики и сентиментальности и испытывает щемящее чувство тоски по защите веры, он останется беспомощным в системе ставших самостоятельными ценностей, и ему не остается ничего другого, как подчиниться отдельной ценности, которая становится его профессией, ему не остается ничего другого, как стать функцией этой ценности, — профессиональным человеком, пожираемым радикальной логичностью ценности, в сети которой его угораздило попасть.

45

Хугюнау договорился с госпожой Эш насчет обеденного пансиона. В любом случае это имело смысл, а госпожа Эш очень старалась, тут уж следует отдать ей должное.

Придя как-то к обеду, Хугюнау застал за накрытым столом Эша, углубившегося в книгу с черной обложкой. С любопытством он заглянул через его плечо и узнал ксилографическое клише Библии. Редко удивляясь чему-либо, за исключением случаев, когда кому-то удавалось надуть его в делах, но это случалось довольно редко, Хугюнау просто сказал: "Ага" и по дождал, пока ему принесут обед.

Госпожа Эш ходила по комнате размашистыми шагами, без изящества и не по-женски; ее светлые волосы, основательно тронутые сединой, были беспорядочно скручены в узел. Но, проходя мимо, она всякий раз неожиданно и, пожалуй, слишком

уж часто касалась мощной спины мужа, и у Хугюнау как-то сразу возникло ощущение, что она наверняка знает толк в еженощном исполнении своих супружеских обязанностей. Эта мысль не показалась ему приятной, поэтому он спросил: "Эш, вы что, собираетесь уйти в монастырь?"

Эш оторвался от книги: "Вопрос в том, позволительно ли сбежать,— и добавил со своей обычной грубоватостью,— но вам этого не понять".

Госпожа Эш принесла суп, а Хугюнау никак не мог отделаться от неприятных мыслей. Эти двое живут, словно любовники, без детей, наверное, хотят удочерить Маргерите, чтобы скрыть это. Он, собственно, сидел на том месте, где подобало бы сидеть сыну. Итак, он возобновил по простоте душевной свои шутки и рассказал госпоже Эш, что ее муж уйдет в монастырь. Госпожа Эш поинтересовалась, правда ли, что во всех монастырях господствуют постыдные отношения между монахами, и засмеялась, без особого стеснения представив себе все это. Но затем ее взор медленно и недоверчиво устремился к мужу:

"От тебя, наверное, всего можно ожидать".

Господин Эш оказался в откровенно неловком положении; Хугюнау заметил, как он покраснел и с какой яростью посмотрел на жену. Но пытаясь не потерять свое лицо перед женщиной, даже подать себя в более выгодном свете, Эш объяснил, что это в конечном счете зависит от обычаев, и, между прочим, всем известно, что далеко не каждый, кто ведет монашеский образ жизни, является голубым, более того, он считает, что и в рясе он оставался бы настоящим мужчиной.

Госпожа Эш приобрела совершенно серьезный вид и впадала в какое-то оцепенение. Она начала механически поправлять свою прическу и наконец спросила: "Вкусно, господин Хугюнау?"

"Великолепно",— ответил Хугюнау и, интенсивно работая ложкой, доел свой суп.

"Не хотите ли еще тарелочку? — госпожа Эш вздохнула.— У

меня, видите ли, нет больше ничего такого на сегодня, только кукурузный пирог".

Она с удовлетворением кивнула, когда Хугюнау согласился еще на одну тарелку супа. А Хугюнау продолжал о своем: господин Эш, наверное, сыт уже этими военными пайками по горло; а в монастыре нет карточек ни на мясо, ни на муку, там жизнь идет как в самое что ни на есть мирное время; с учетом того, что эти, в рясах, являются землевладельцами, тут нечему удивляться. Там все еще набивают брюхо до отвала. Когда он был в Мальбронне, ему рассказывал обо всем этом один служащий монастыря...

Эш перебил его: если бы мир снова был действительно свободным, то тогда не было бы нужды хлебать тюремную похлебку...

"Вода да хлеб наполовину с опилками", — вставила госпожа Эш.

"Хорошо хоть так, — сказал Хугюнау. — А что вы имеете в виду под действительно свободным?"

"Свободу христианина", — ответил Эш.

"Да ради Бога, — сказал Хугюнау, — хотелось бы только узнать, как это должно сочетаться с хлебом, который выпечен наполовину из опилок".

Эш схватился за Библию: "Написано: дом Мой домом молитвы наречется. А вы сделали его вертепом разбойников".

"Хм, разбойники получают хлеб наполовину с опилками, — Хугюнау язвительно ухмыльнулся, затем его лицо сделалось серьезным: — Вы считаете, значит, что война является своего рода разбоем, в определенной степени грабежом, как это говорят социалисты".

Эш не слушал его; он продолжал листать книгу: "Далее в Летописи говорится... Вторая книга¹, шестая глава, стих восьмой... вот: "У тебя есть на сердце построить храм имени Мо-ему; хорошо, что это на сердце у тебя. Однако не ты построишь

¹ Речь идет о Второй книге Паралипоменон Ветхого Завета.

храм, а сын твой, который произойдет из чресел твоих,— он построит храм имени Моему".— Эш раскраснелся: — Это очень важно".

"Возможно,— согласился Хугюнау,— но почему?"

"Убийство и убийство в ответ... многим пришлось пожертвовать собой, дабы родился Спаситель, сын, которому позволено построить храм".

Хугюнау осторожно поинтересовался: "Вы имеете в виду государство будущего?"

"С одними профсоюзами это нереально".

"Так... о том же самом речь идет в статье майора?"

"Нет, об этом речь идет в Библии, но только пока еще никто не вычитал это".

Хугюнау погрозил Эшу пальцем: "А вы третий калач, Эш. И вы думаете, что наш стрелянный воробей майор не заметит, что вы тут исподтишка вытворяете с Библией?"

"Что?"

"Ведете коммунистическую пропаганду".

Эш оскалил крепкие желтые зубы: "Да вы просто идиот".

"Грубить может каждый, так что же вы думаете о государстве будущего?"

Эш напряженно задумался: "Вам же невозможно ничего объяснить, но одно уж позвольте сказать: когда люди снова начнут разбираться в Библии, тогда не нужен будет больше никакой коммунизм и никакой социализм... настолько мало смогут дать французская республика или германский кайзер".

"Ну, тогда, стало быть, все-таки революция, а вы расскажите-ка только все это майору".

"Я расскажу ему все это так же спокойно".

"Тут он уж просто безумно обрадуется, а что будет потом, когда вы сместите кайзера?"

Эш ответил: "Господство Спасителя над всеми людьми".

Хугюнау бросил взгляд в сторону госпожи Эш: "Вашего сына, стало быть?"

Эш посмотрел на жену; возникло впечатление, словно бы он испугался: "Моего сына?"

"У нас нет детей", — вставила госпожа Эш.

"Вы же сказали, что ваш сын возведет храм", — ухмыльнулся Хугюнау.

Но для Эша это было уж слишком: "Уважаемый, вы богохульствуете. Вы настолько глупы, что богохульствуете или же перекручиваете смысл сказанного..."

"Он не хотел сказать ничего предосудительного, — попыталась разрядить обстановку госпожа Эш, — обед совершенно остыл, пока вы тут спорили".

Эш замолчал, ожидая, когда принесут кукурузный пирог.

"Знаете, как-то мне частенько приходилось сживать за столом с одним молчаливым пастором", — сказал Хугюнау.

Эш продолжал хранить молчание, но Хугюнау не сдавался: "Ну, так что же есть в этом господстве Спасителя?"

Госпожа Эш уставилась на мужа глазами полными ожидания: "Скажи же ты ему".

"Символ", — буркнул Эш.

"Интересно, — оживился Хугюнау, — тогда это вот эти священники?"

"Боже милостивый, да для вас, должно быть, все равно, что выдвигают в качестве аргументов, это безнадежное дело, о господстве церкви вы, наверное, еще ничего не слышали. И он хочет быть издателем газеты!"

Тут уж Хугюнау со своей стороны был возмущен до глубины души: "Так, значит, выглядит ваш коммунизм, если он действительно так выглядит... а подсунуть все это вы хотите священникам, поэтому и стремитесь уйти в монастырь, чтобы эти, в рясах, еще больше набивали свое брюхо, а для нас тогда не останется даже хлеба наполовину с опилками... С таким трудом заработанные деньги он хочет бросить в пасть этой компании. Нет, тут мне мое честное дело действительно куда дороже вашего коммунизма".

"К чертям, тогда идите и занимайтесь вашим делом, но ес-

ли вы ничему не хотите научиться, то хоть не упорствуйте со своими ограниченными — да, я так и говорю, ограниченными! — воззрениями в стремлении издавать газету. Есть вещи несо-вместимые!"

На что Хугюнау с гордым видом сообщил, что, найдя его, не грех было бы и обрадоваться; с объявлениями, при том, как это дело вел некий господин Эш, "Куртрирскому" в течение года пришел бы конец. Полный ожидания, он подмигнул госпоже Эш, предполагая, что в этой практической области она поддержит его. Но госпожа Эш, убирая со стола кукурузный пирог, положила руку — Хугюнау опять с раздражением заметил это — на плечо супруга, она не особенно внимала речам, а просто сказала, что есть вещи, которые мы — вы, дорогой господин Хугюнау, и я — не так-то легко можем усвоить. И Эш, с торжественным видом вставая из-за стола, поставил точки в дискуссии: "Учиться вам нужно, молодой человек, учитесь открывать глаза".

Хугюнау вышел из комнаты. "Церковно-елейная болтовня", — подумал он. *Haïssiez les ennemis de la sainte religion*¹. Да, *merde, blagueurs*², он был готов уже возненавидеть, но кого он должен был возненавидеть, не поддавалось определению. *D'ailleurs je m'en fous*³. Стук моющихся тарелок и неприятный запах смываемых остатков пищи, доносившийся из кухни, сопровождал его до самой деревянной лестницы и напомнил до удивления отчетливо родительский дом, и он представил себе свою мать на кухне.

46

Несколько дней спустя из-под пера Хугюнау вышло следующее письмо:

¹ Ненавидеть врагов святой веры (*фр.*).

² Дрянь, болтуны (*фр.*).

³ К тому же начхать мне на это (*фр.*).

*Его высокоородию
господину коменданту города майору
Йоахиму фон Пазену*

Отн. секретного донесения № 1

Место назначения

Ваше высокородие господин майор!

Покорнейше ссылаясь на касающийся данного вопроса разговор, участие в котором почитаю за честь, низжайше позволю себе доложить, что вчера у меня была встреча с красноречивым господином Эшем и некоторыми элементами. Как известно, по несколько раз на неделе господин Эш встречается с подрывными элементами в кафе "У Пфальца", а вчера он любезно предложил мне пойти с ним. Кроме одного мастера с бумажной фабрики, некоего Либеля, там также были один рабочий с указанной фабрики, имя которого из-за преднамеренно нечеткого произношения я не разобрал, два пациента военного госпиталя, у которых было увольнение, а именно унтер-офицер по имени Бауэр и канонир с польской фамилией. Чуть позже подошел еще доброволец из минометного отделения. Его фамилия Бетгер, или Бетцгер, или что-то в этом роде, упомянутый Э. обращался к нему "господин доктор". Инициатива с моей стороны, дабы перевести разговор на военные события, даже и не потребовалась, говорили прежде всего о возможном окончании войны. В частности, вышеупомянутый доброволец высказывался в том духе, что дело идет к концу, поскольку австрияки полностью выдохлись. От солдат танкового взвода наших союзников, проследовавшего через наш населенный пункт, он слышал, что в Вене то ли итальянскими летчиками, то ли предателями была взорвана крупнейшая пороховая фабрика и что австрийский флот после убийства своих офицеров пе-

реходил на сторону противника, ему в этом воспретствовали лишь немецкие подводные лодки. Канонир ответил, что поверить в это трудно, поскольку немецкие матросы тоже больше не хотят во всем этом участвовать. Когда я спросил, откуда у него такие сведения, он сказал, что от одной девушки из организованного здесь публичного дома, в котором проводил свой отпуск один финансист с флота. После славной битвы в Скагерраке, рассказывала она, ссылаясь на финансиста, а на нее ссылался канонир, матросы отказываются продолжать службу, а довольствие команд тоже далеко от идеала. После этого все сошлись на том, что всему должен быть положен конец. Производственный мастер подчеркнул при этом, что война приносит выгоду только большому капиталу и что русские были первыми, кто разобрался в этом. Эти подрывные идеи выдвигались также Э., который ссылался при этом на Библию, но я могу, исходя из опыта моего общения с господином Э., с уверенностью сказать, что он преследует при этом мнимо духовные цели и что церковное добро для него, что бельмо в глазу. Очевидно, для прикрытия готовящегося заговора он предложил основать общество по изучению Библии, что, впрочем, у большинства присутствующих вызвало насмешливо-отрицательную реакцию. Чтобы с одной стороны от него, а с другой стороны от финансиста узнать побольше, после того, как удалились оба пациента госпиталя и рабочий с фабрики, по моему предложению мы посетили публичный дом. Хотя мне и не удалось получить там дополнительных сведений о финансисте, но поведение господина Э. становилось все более подозрительным. Доктор, который, вне всякого сомнения, был завсегдатаем в этом заведении, представил меня со словами: это господин из правительства, ему следует ока-

зять хороший прием, из чего я понял, что Э. испытывает по отношению ко мне определенные подозрения и поэтому призывает своих сообщников вести себя со мной осторожно. После этого мне не удалось расколоть господина Э., и хотя он по моему предложению и за мой счет выпил очень много, подтолкнуть его, вопреки обыкновению, к тому, чтобы поискать комнату, не удалось, внешне он остался совершенно трезвым, это состояние он использовал для произнесения в салоне громких речей о несоответствии христианству и о пороке, витающем в такого рода заведениях. Когда добровольно ушедший на войну доктор объяснил по этому поводу, что подобные дома поддерживаются военной администрацией по медико-санитарным соображениям и поэтому их необходимо считать военными объектами, он отступил от своей оппозиционной точки зрения, к которой, впрочем, снова вернулся по дороге домой.

Не рискуя сегодня больше утомлять, расписываюсь в моем глубочайшем почтении и искренней готовности быть и в дальнейшем к вашим услугам

С уважением
Вильг. Хугюнау

PS. Позволю себе дополнительно сообщить, что во время заседания в кафе "У Пфальца" господин Эш упоминал о том, что в местной тюрьме содержится один или несколько дезертиров, которые должны быть расстреляны. После этого также им было высказано всеобщее мнение, что бессмысленно сейчас, перед концом войны, расстреливать еще и дезертиров, ведь и без того пролито достаточно крови. Господин Эш высказал мнение, что по этому поводу необходимо провести акцию. Имеет ли он в виду насильственные или какие-либо иные действия, он не сказал. Мне бы хо-

телось еще раз подчеркнуть, что я считаю упомянутого Э. волком в овечьей шкуре, который прикрывает свою хищную сущность благочестивыми разговорами. Еще раз к услугам.

*С уважением
вышеозначенный*

Закончив донесение, Хугюнау посмотрел в зеркало, чтобы убедиться, удастся ли ему та ироничная гримаса, которая так часто раздражала его в Эше. Да, письмецо было состряпано мастерски; он правильно делал, что когда-то придирался к этому Эшу, и эта приятная мысль так взволновала его, что он тут же представил себе радость, которую испытает майор при получении документа. Он задумался над тем, а не должен ли он передать письмо лично, но потом решил, что будет лучше, если майор получит донесение служебной почтой. Итак, он отправил подписанное письмо, не забыв предварительно вырисовать на конверте большими буквами три раза подчеркнутое "Лично в руки".

Но Хугюнау заблуждался; майор совершенно не обрадовался, найдя на своем письменном столе среди документов сие послание.

Это было пасмурное утро, капли дождя стекали по оконным стеклам канцелярии, а в воздухе пахло или серой, или гарью. За этим письмом скрывалось нечто отвратительное и насильственное, и не знал майор да и не его была обязанность знать, что всегда является насилием, если кто-то предпринимает попытку связать собственную действительность с действительностью других и проникнуть в нее; тут в голову ему пришли слова "ночные призраки", и казалось, что он должен защищать себя, должен защищать свою жену и своих детей от чего-то, что было не его миром, а каким-то болотом. Помедлив, он еще раз взял в руки письмо; в принципе, ни в чем нельзя упрекнуть человека, насильственная деятельность которого просто незаметна, который всего лишь исполняет патриотический долг и пишет донос,

и если это принимает характер противоречивой и не пользующейся уважением деятельности агента-provokatora, то вряд ли можно винить в этом необразованного человека. Но поскольку все это, собственно, было непостижимо и не поддавалось пониманию, то майор испытывал один лишь стыд, что доверился человеку более низкого духовного уровня, и его лицо под седыми волосами слегка покраснело. Тем не менее комендант города не мог себе позволить просто так бросить документ в корзину для бумаг, во многом это была служебная обязанность продолжать с умеренным недоверием наблюдение за подозрительным лицом, следить за ним в определенной степени с расстояния, что позволяло бы предотвратить возможную беду, которая могла бы угрожать родине со стороны господина Эша.

47

Старший полковой врач разговаривал с доктором Кесселем по телефону: "Коллега, не могли бы вы подойти сегодня к трем на операцию? Небольшое извлечение пули..."

Доктор Кессель промямлил, что едва ли он сможет, он так ограничен во времени.

"Для вас, наверное, это будет крайне пустяковое дело сделать небольшой надрез для извлечения пули, для меня — тоже, приходится довольствоваться малым, впрочем со временем это перестает казаться жизнью или работой, я тоже намерен сменить место работы, но сегодня — увы! — ничего не поделаешь. Я приказываю вам приехать, посылаю за вами автомобиль, через полчаса начинаем".

Куленбек положил трубку, улыбнулся: "Ну что ж, на пару часов он занят".

Рядом сидел Флуршютц: "И все-таки странно, что вы вызываете Кесселя из-за такого пустяка".

"Шустрый Кессель всегда попадаете мне под руку. А мы сразу же удалим и аппендицит этого Кнезе".

"Вы что, и вправду намерены его оперировать?"

"А почему нет? Мужичок должен получить удовольствие... ну и я тоже".

"А он согласен на операцию?"

"Ну, Флуршютц, сейчас вы так же наивны, как и наш старина Кессель,— до сих пор я хоть у кого-то спрашивал согласия? А после они еще и благодарны мне были. И четыре недели отпуска по болезни, которые я обеспечиваю каждому из них... Ну, вот видите".

Флуршютц хотел что-то возразить, но Куленбек отмахнулся: "Ах, избавьте меня от ваших секреторных теорий. Дорогой друг, если я могу заглянуть в брюхо, то мне совершенно не нужны никакие теории, следуйте моему примеру и становитесь хирургом — единственная возможность остаться молодым".

"А всю свою работу с железами внутренней секреции прикажете запрятать в дальний ящик стола?"

"Сделайте это и успокойтесь. Вы ведь уже очень неплохо оперируете".

"Что-то нужно делать с Ярецки, господин старший полковой врач, парень дошел до ручки".

"Попробовать, что ли, трепанацию?"

"Но вы уже выписали его, он со своими нервами подлежит теперь специальному лечению".

"Я направил его в Кройцнах, там уж он оправится. Вы прямо беда, а не поколение! Пару раз нализался — и уже катастрофа, прямая дорога в больницу для нервнобоных... Ордоннанц!"

В дверях появилась Ордоннанц.

"Скажите сестре Карле, что в три операция. Да, сегодня ничего не давайте кушать Марвицу из второй палаты и Кнезе из третьей. Ну, ладно, скажите, Флуршютц, нам ведь, собственно, совершенно ни к чему этот бедный Кессель, мы и сами чудненько со всем этим справимся... Кессель все равно не оценит это, будет просто ныть, что болят ноги; настоящий садизм с моей стороны вытащить его сюда... ну, так что скажете, Флуршютц?"

"Как прикажете, господин старший полковой врач, за мной дело не станет, но долго так продолжаться не может. И потом, это же просто невозможно, волевым решением сводить всю медицину к операциям".

"Неповиновение, Флуршютц?"

"Чистая теория, господин старший полковой врач. Нет, просто мне кажется, что в не таком уж далеком будущем медицину постигнет настолько глубокая специализация, что консилиум между терапевтом, хирургом или дерматологом вообще не сможет привести к какому-то результату просто потому, что больше не будет средства для взаимопонимания между специализациями".

"Неправильно, совершенно неправильно, Флуршютц, вскоре вообще будут одни только хирурги. Это единственное, что останется от всей этой жалкой медицины. Человек — это мясник, и везде он остается мясником, ничего другого он не понимает, а это ему понятно, как дважды два четыре". И доктор Куленбек стал рассматривать свои большие, ловкие, покрытые волосами руки и пальцы с предельно коротко подстриженными ногтями.

Затем он задумчиво произнес: "Знаете, кто не приемлет этот факт, у того действительно может поехать крыша. Все это необходимо воспринимать так, как оно есть, и иметь свою долю радости в этом. Так что, Флуршютц, послушайте совета, смените лошадь и становитесь хирургом".

48

За каждый рулон бумаги, который нужно было поставить, приходилось сражаться, и хотя на руках у Эша была выданная властями справка о выделении достаточного количества бумаги для "Куртрирского вестника", ему приходилось каждую неделю мотаться на бумажную фабрику. Почти каждый раз возникали скандалы с престарелым господином Келлером или с заведующим производством.

Рабочий день как раз закончился, когда Эш уходил с фабрики. На улице он догнал мастера Либеля и машиниста Фендриха. Либеля, собственно, он терпеть не мог, особенно его башку с соломенными волосами и толстой веной на лбу. Он процедил: "Добрый вечер".

"Добрый, Эш, выбились из сил со стариком?"

Эш не понял.

"Ну, чтобы он поставил вам бумагу".

"Чушь собачья", — ответил Эш.

Фендрих остановился и показал дыры на своих подошвах: "Это стоит шесть марок. Вот к чему ведет, когда зарплаты растут".

Эш уцепился за эту мысль: "Только зарплатами все это объяснить нельзя, это заблуждение всех профсоюзов".

"Как так, Эш, не хотите ли вы залатать заблуждения Фендриха тоже с помощью библейских нравоучений?..— и с удивлением он отметил: — Нравоучение, заблуждение — рифмуется".

"Чушь собачья", — повторил Эш.

Глаза Фендриха заблестели в провалах воспаленных глазниц; он был туберкулезником, и ему не хватало молока. Он сказал: "Вера, наверное, это тот шик, который могут позволить себе только богатые".

Либель добавил: "Майоры и издатели газет".

Эш выдал из себя едва ли не извиняющимся тоном: "Я в газете всего лишь служащий,— но затем раздраженно добавил: — Да это вообще ерунда, можно подумать, что профсоюзы дали обет бедности!"

Фендрих сказал: "Не так уж это плохо, когда можешь верить".

Эш продолжал: "Я для себя кое-что прояснил: вера тоже должна обновляться, и для нее должна наступить новая жизнь... в Библии говорится, что только сыну позволено будет возвести храм".

Либель заметил: "Естественно, у следующего поколения дела будут идти лучше, что тут нового... Я больше не могу про-

жить на свои сто сорок марок, даже если сюда добавить производственные премии. До старика это не доходит. К тому же я, так сказать, мастер".

"А у меня не больше,— сказал Эш,— даже если учитывать дом. У меня два квартиранта, с которых я как порядочный человек не могу требовать плату за квартиру, бедняги. Я больше трачу на содержание дома, чем имею с него".

Вечерний ветерок подул прохладой. Фендрих закашлялся.

Либель вздохнул: "Ну, да".

Эш признался: "Я ходил уже и к пастору..."

"Зачем?"

"Чтобы прояснить это место в Библии. Идиот, он даже не выслушал меня. Начал нести какую-то ахинею о молитве и церкви, и это все. Придурок, нужно самому себе помогать".

"Да,— согласился Фендрих,— на чужую помощь не надейся".

Либель возразил: "Те, кто держатся вместе, помогают друг другу. В этом преимущество профсоюзов".

"Доктор считает, что мне нужно в горы, я уже раз десять обращался в больничную кассу, но кто пришел не с фронта, тот может пока подождать, а я продолжаю кашлять".

Эш скорчил ироничную мину: "С профсоюзами и больничными кассами вы продвинетесь не дальше, чем я со своим попом".

"Остается одно — загнуться",— сказал Фендрих и закашлялся.

Либель спросил: "А что вы, собственно, хотите!"

Эш задумался: "Раньше мне казалось, что нужно просто уехать... в Америку... На пароходе через огромный океан, чтобы можно было начать новую жизнь, но теперь..."

Либель ждал продолжения: "Но теперь?"

Но Эш неожиданно выпалил: "Протестантам там, наверное, лучше... майор тоже протестант... но сначала нужно самому задуматься над этим... нужно было бы собраться всем вместе и почитать Библию, чтобы получить представление... кто в одино-

честве, тот всегда сомневается, особенно если еще так много думает".

"Если есть друзья, то тогда легче", — сказал Фендрих.

"Приходите ко мне, — предложил Эш, — я покажу вам то место в Библии".

"Хорошо", — ответил Фендрих.

"Ну а как вы, Либель?" — Эш почувствовал, что обязан задать и этот вопрос.

"Вначале рассказали бы, что вы там себе придумали".

Фендрих вздохнул: "Каждый может это увидеть только собственными глазами".

Либель ухмыльнулся и ушел.

"Он еще придет", — произнес Эш.

49

История девушки из Армии спасения в Берлине (7)

В памяти сохранилось не так уж много от того вечера, когда я сопровождал Нухема Зуссина в Армию спасения. Я был занят более важными делами. Можно как угодно оценивать занятия философией, но окружающий нас мир становится невзрачным и менее привлекательным. А кроме того, и примечательные вещи становятся невзрачными, пока их переживаешь. Короче говоря, я помнил только то, как Нухем Зуссин вышагивал рядом со мной, в своем застегнутом сюртуке, в своих слишком коротких и потому болтающихся брюках и в своей слишком маленькой смешной бархатной шапочке. Все эти евреи, если у них на головах не красуются их черные фуражки с козырьком, носят эти слишком маленькие бархатные шапочки, даже следящий, так сказать, за модой доктор Литвак. Я не смог удержаться, чтобы не задать не совсем корректный вопрос Нухему: откуда он взял такую шапочку? "Дали", — был ответ.

К тому же те события и вовсе не стоили того, чтобы о них

говорить. Некий налет важности они получили лишь благодаря доктору Литваку, который вчера побывал у меня. У него была не очень приятная привычка заходить запросто; во время моей так называемой болезни он тоже поступил подобным образом. Итак, он снова стоял передо мной, а я как раз растянулся в шезлонге, в руках он держал неизменную прогулочную трость, а на голове у него была маленькая смешная бархатная шапочка. Собственно, она казалась не такой уж и маленькой, она была широкая, но сидела очень уж высоко, не покрывая всей головы. Впрочем, у меня сложилось впечатление, что доктор Литвак в молодости тоже имел молочный цвет лица. Сейчас же оно напоминало безупречные желтоватые сливки.

"Вы не могли бы мне сказать, что с Зуссином?"

Я сказал, и это соответствовало истине: "Он мой друг".

"Друг, прекрасно...— Доктор Литвак пододвинул к себе стул.— Люди волнуются, они решили позвать меня... Вы понимаете?"

В принципе я не был обязан его понимать, но мне хотелось сократить это расследование: "Он имеет право идти туда, куда хочет".

"Нет, кто-то имеет право, кто-то не имеет. Я ведь ни в чем вас не упрекаю... но что он делает с гойей¹?"

Только сейчас я вспомнил, что в тот вечер Мари и Нухем побывали в моей комнате. У кого нет денег, тот не очень может пошатаваться по забегаловкам.

Я не смог сдержать улыбку.

"Вы смеетесь, а жена сидит там и плачет".

Это была, конечно, новость; я, впрочем, мог бы и знать, что эти евреи женятся уже в пятнадцать лет. Хоть бы я знал, кто был женой Нухема; одна из этих модных девушек? Или одна из матрон с пробором? Последнее показалось мне более приемлемым.

Я прикоснулся к цепочке пенсне доктора Литвака: "У него что, и дети есть?"

¹ Нееврейкой.

"А кто у него должен быть? Котенок?"

Лицо доктора Литвака приняло столь возмущенное выражение, что мне пришлось поинтересоваться, как его зовут по имени.

"Доктор Симсон Литвак",— представился он еще раз.

"Итак, послушайте, доктор, что вы, собственно говоря, от меня хотите?"

На какое-то мгновение он задумался: "Я человек свободный от предрассудков... Но это заходит слишком далеко... Вы должны его удержать".

"От чего я должен его удержать? Что он хочет в Сион? Оставьте ему это его безобидное удовольствие".

"Он еще и крещение примет... Вы должны его удержать".

"Да плевать, поедет он в Иерусалим иудеем или христианином".

"Иерусалим",— он сказал это с выражением лица человека, которому в рот положили сладкую конфетку.

"Ну вот",— заявил я, надеясь, теперь-то уж он отстанет от меня.

Он, очевидно, все еще наслаждался названием: "Я человек, лишенный предрассудков... но с громкими песнопениями и die Schmonzes¹ попасть туда еще никому не удавалось... Это удел других людей... Мне приходится посещать каждого, я врач, мне может быть абсолютно все равно, иудей это или христианин... везде есть хорошие люди... Вы удержите его?"

Эта настойчивость начала действовать мне на нервы: "Я большой антисемит,— он недоверчиво улыбнулся,— я уполномоченный Армии спасения и ведаю у них снабжением в Иерусалиме..."

"Шутите,— сказал он веселым тоном, хотя это было ему явно неприятно,— шутите, как это ни прискорбно".

В этом, впрочем, он был прав: шутка, как это ни прискорбно, была как раз тем, что так смахивало на преобладающее во

¹ Всякой чушью (фр.).

мне отношение к жизни. Кто должен быть в ответе за все это? Война? Я не знал, не знаю, наверное, и сегодня, хотя кое-что с тех пор изменилось.

Я все еще перебирал пальцами цепочку пенсне доктора Литвака. Он сказал: "Вы ведь современный человек..."

"Ну и что дальше?"

"Что вы можете дать людям, кроме их... — он с трудом выдал из себя это слово, — ... их предрассудков?"

"Так, это вы называете предрассудками!"

Тут он смутился окончательно. "Это, собственно, не предрассудки... что такое предрассудки?.. — наконец он успокоился. — Это ведь действительно не предрассудки".

Когда он ушел, я задумался над тем вечером в Армии спасения. Как уже говорилось, он прошел для меня совершенно без впечатлений. То там, то здесь на глаза мне попадался Нухем Зуссин, я видел, как он сидел и слушал песнопения, а его еврейские губы на молочного цвета лице улыбались слегка растерянню. А потом я пригласил их обоих в свою комнату, или правильнее было бы — только Мари, Нухем ведь и так жил здесь, так вот, а потом они оба сидели у меня в комнате, слушали меня и молчали. Пока Нухем снова не показал на лютню и не попросил: "Сыграйте". Тогда Мари взяла в руки лютню и спела песню: "Сквозь врата Сиона прошествовали полки могучие, омытые кровью Агнца, и для тебя есть место". А Нухем прислушивался, и на его лице по-прежнему играла немного растерянная улыбка.

50

В течение восьми дней Хугюнау ждал, что получит от майора какое-то поощрение или, по крайней мере, ответ. Прошло десять дней, и его охватило беспокойство. Информация, очевидно, не понравилась майору. Но разве это его вина, что кретин Эш не дал больше материала? Хугюнау задумался: а не отпра-

вить ли ему второй донос, но только что прикажете в нем писать? Что Эш, как и до того, якшается с виноградарями и рабочими, так в этом нет ничего нового, майор будет скучать!

Майор не должен скучать, Хугюнау ломал голову над вопросом, что бы предложить майору. Непременно должно что-то случиться; в редакции заправлял Эш и делал это так, словно нет тут никакого издателя, а в типографии помереть можно было со скуки. В поисках выхода Хугюнау рылся в крупных газетах и нашел его, обнаружив, что ежедневные газеты повсеместно служат делу отечественной благотворительности, тогда как "Куртрирский вестник" не предпринимал ничего, ну совершенно ничего в этом направлении. Именно так выглядело доброе сердце господина Эша, доброе сердце, не выносившее вида нищеты виноградарей. Но для своей персоны он знал хорошо, что следует предпринимать.

В пятницу вечером после длительного перерыва он снова появился в обеденном зале гостиницы и направился напрямик в комнату для уважаемых лиц, поскольку к их кругу принадлежал и сам. Майор сидел за своим столиком в обеденном зале, и Хугюнау, проходя мимо, поздоровался степенно и кратко.

Господа, к счастью, были уже большей частью в сборе, и Хугюнау заявил, что неизмеримо рад встретить их всех, поскольку должен обсудить кое-что важное и не откладывая, еще до того, как придет господин майор. В растянутой речи он изложил суть: город нуждается в настоящем благотворительном обществе, из разряда тех, которые повсеместно существуют уже годами для смягчения тягот войны, он предлагает немедленно создать такое объединение. Что касается его целей, то он среди всего прочего хотел бы предложить хотя бы уход за солдатскими могилами, заботу о вдовах и сиротах погибших и еще кое-что, необходимо собрать деньги на столь благородные цели, для этого можно было бы, например, выставить на продажу "Железного Бисмарка"¹, булавку за десять пфеннигов, это

¹ Немецкая награда, изготавливаемая из железа.

все-таки действительно стыд и позор, что именно здесь нет ни одного соответствующего памятника, да, в конечном итоге самые различные благотворительные мероприятия, без учета сборов, могли бы постоянно пополнять кассу. Ну а почетное покровительство над этим объединением, для которого он позволяет себе предложить название "Мозельданк"¹, мог бы взять на себя господин комендант города. Он сам и его "Куртрирский вестник" всегда — разумеется в меру своих скромных сил — и бесплатно к услугам объединения и его благородных целей.

Вряд ли, собственно, стоит говорить о том, что проект вызвал всеобщее одобрение и был принят единогласно и без обсуждений. Хугюнау и аптекарю господину Паульсену было поручено обратиться с соответствующим предложением к господину майору, и, поправив на себе сюртуки, они с некой торжественностью направились в обеденный зал.

Майор выглядел немного ошарашенным, затем он сделал легкий уставной щелчок каблуками и принялся внимательно слушать фразы, слетавшие с уст обоих господ, ничего не понимая. Фразы смешивались и перебивали друг друга, майор слушал о "Железном Бисмарке", о солдатских вдовах и о каком-то "Мозельданке" и ничего не мог понять. Хугюнау наконец стало достаточно ясно, что слово необходимо предоставить аптекарю господину Паульсену; поступить так казалось ему также проявлением скромности, так что он затих, принявшись рассматривать часы на стене, картину "Кронпринц Фридрих после Гравелоттской битвы" и табличку "Шпатенброй"² (с лопаточкой), которая была повешена на веревочке рядом с портретом кронпринца. И где сейчас берут "Шпатенброй"! До майора, между тем, дошла суть сказанного аптекарем Паульсеном: он отметил, что никаких оснований военного порядка для отказа взять на себя почетное покровительство нет, он приветствует эту патристическую акцию и может самым сердечным образом выра-

¹ Букв.— "благодарность Мозеля".

² Сорт пива.

зить свою благодарность; он поднялся, чтобы высказать свою признательность также остальным господам, оставшимся в соседней комнате. Паульсен и Хугюнау последовали за ним, гордые за успешно сделанное дело.

Компания долго не расходилась, поскольку это было своего рода празднование создания объединения. Хугюнау выжидал момента, чтобы подойти к майору, эта возможность представилась довольно скоро, поскольку было предложено выпить за благополучие и процветание нового объединения, а также его покровителя, при этом, само собой разумеется, не был забыт и инициатор прекрасной идеи господин издатель Хугюнау.

Хугюнау, держа в руке бокал, обошел, чокаясь, весь стол и добрался таким образом до майора фон Пазенова: "Надеюсь, сегодня господин майор остался доволен мной".

Майор ответил, что у него никогда не было повода для недовольства.

"Ну как же, как же, господин майор, мое донесение оказалось столь скудным на информацию... но я прошу учесть в мое оправдание, что условия очень уж сложные. К тому же я сильно перегружен работой по реформированию газеты; я прошу не считать забвением своего долга тот факт, что я еще не смог отправить второе донесение..."

Майор сделал отрицательный жест рукой: "Мне кажется, вряд ли стоит заниматься этим делом дальше; вы исполнили свой долг в достаточно удовлетворительной степени".

Хугюнау был поражен. "О, еще вовсе нет, еще вовсе нет", — бормотал он, демонстрируя свое намерение только сейчас по-настоящему показать свою бдительность.

Когда майор никак не отреагировал на это, Хугюнау продолжил: "Мы завтра же напечатаем сообщение о "Мозельданке". Не окажет ли господин майор честь своим посещением нашему предприятию, покровителем которого он так любезно согласился стать? Вне всякого сомнения, это будет самой лучшей рекламой нашего объединения".

Майор сказал, что он, конечно же, с большой охотой посе-

тит редакцию и типографию; завтрашний день, правда, уже полностью расписан, но ведь один день ничего не решает.

"Чем быстрее, тем лучше,— рискнул настоять Хугюнау.— Господин майор, впрочем, не найдет там ничего особенного, все в высшей степени скромно, и работы по реорганизации внешне, естественно, не бросаются в глаза, но типография, констатируя со всей скромностью, в полном порядке..."

Внезапно его осенила новая идея: "Типография, например, вполне могла бы справиться с печатанием материалов военной администрации,— он весь загорелся этой идеей, так что ему захотелось ухватить майора за лацканы кителя.— Вы увидите, господин майор, увидите, как Эш запустил это дело. До моего прихода не нашлось никого, кто бы подумал об этом. Мы должны получить военные заказы сейчас, когда газета находится, так сказать, под вашим непосредственным патронажем и когда мы вложили в нее такие деньги, а как еще вы прикажете мне обеспечить дивиденды акционерам при том положении дел, в котором находилась газета!" Он весь прямо дрожал от волнения и был откровенно рассержен. Майор немного беспомощно пролепетал: "Это не в моей компетенции..."

"Конечно, конечно, господин майор, но если бы господин майор со всей серьезностью захотел... если бы господин майор посмотрел типографию... вы бы вне всякого сомнения захотели..."

Он пялился на майора соблазняющим и завлекающим взглядом, в котором одновременно угадывалось сомнение. Затем немного успокоившись, он протер стекла очков и осмотрелся вокруг: "Это ведь в интересах всех причастных к этому господ. Само собой разумеется, что все господа приглашены осмотреть предприятие".

Естественно, все прекрасно знали развалюху Эша. Они только ничего не сказали об этом.

С тех пор как Хайнрих Вендлинг сообщил о своем отпуске, прошло уже более трех недель. Ханна все еще нежилась по утрам в постели и уже почти не верила больше в то, что Хайнрих действительно приедет. Но внезапно он оказался здесь, и случилось это не вечером и не утром, а среди бела дня. Полночи он проторчал на вокзале Кобленца, а затем добрался домой медленно тащившимся воинским эшелонном. Пока он рассказывал все это, они стояли друг против друга на вымощенной плитой аллее сада; палило полуденное солнце, посреди поросшей травой лужайки выделялся садовый зонт красного цвета, стоявший рядом с шезлонгом, на котором она только что лежала; в воздухе улавливался запах нагретой хлопчатобумажной ткани красного цвета, а легкий полуденный ветер перелистывал страницы оставленной книги. Вернувшийся домой стоял неподвижно, он даже не протянул ей руку, а просто неотрывно и пристально смотрел на ее лицо, она, зная, что он, должно быть, ищет тот образ, который носил с собой более двух лет, стояла также неподвижно под ищущим взором и смотрела на обращенное к ней лицо, взгляд ее также искал, но, впрочем, не образ, сопровождавший ее — ведь в ней уже не было никакого образа,— она искала те черты, которые вынудили ее когда-то полюбить это лицо, странно, но оно до сих пор не изменилось, она снова узнавала линии губ, форму и положение зубов, прежней осталась и форма подбородка, а пространство между глазами из-за широкой верхней части черепа казалось слегка великоватым.

"Мне нужно посмотреть на твое лицо в профиль",— сказала она, и он послушно повернул голову.

Над растянутой верхней губой оказался все тот же прямой нос, просто в чертах исчезла всякая мягкость. Его, собственно говоря, следовало бы назвать красивым мужчиной, но она, вопреки этому, не нашла в нем того, что когда то так восхитило и увлекло ее. Хайнрих спросил:

"А где мальчик?"

"Он в школе... Ну, пойдём, наверное, в дом".

Они вошли внутрь. Но и теперь он не прикоснулся к ней, не поцеловал, а просто смотрел на нее.

"Прежде всего мне хотелось бы помыться... я не мылся от самой Вены".

"Да, нужно принять ванну".

Пришли поприветствовать своего хозяина обе служанки. Ханне это было не совсем приятно. Она поднялась вместе с ним в ванную комнату. Сама подала банные полотенца.

"Здесь ничего не изменилось, Хайнрих".

"Да, все на старом месте".

Она вышла из ванной; нужно было отдать несколько распоряжений, кое-что нуждалось в изменении; ей было утомительно все это.

Нарезала букет роз в саду для обеденного стола.

Через какое-то время она тихонечко вернулась к ванной комнате, послушала, как он плещется там, внутри. Она ощущала приближение головной боли в затылочной части. Опираясь на перила, она снова спустилась в гостиную.

Наконец из школы вернулся сын. Она взяла его за руку. Остановившись перед дверью ванной комнаты, она спросила:

"Уже можно войти?"

"Ну, конечно", — услышала она слегка удивленный голос.

Она приоткрыла дверь, заглянула в щелочку; Хайнрих, раздетый до пояса, стоял перед зеркалом, она сунула в неохотно открытый кулачок мальчика одну из роз и втокнула его в ванную, сама же убежала прочь.

Она ждала их обоих в столовой, а когда они вошли, отвела взгляд в сторону. Они до смешного были похожи друг на друга; так же широко посажены глаза, одинаковые движения, такие же коричневые волосы, правда, Хайнрих был сейчас очень коротко подстрижен. Возникло впечатление, что в этом ребенке от нее вообще ничего нет. Состояние влюбленности представлялось каким-то ужасающим механизмом. В это мгновение ее жизнь

показалась ей сплошной неменяемостью, сомнительной не-
вменяемостью, от которой вряд ли когда-либо суждено изба-
виться.

"Снова дома", — произнес Хайнрих и сел на свое старое ме-
сто. Эта фраза, наверное, ему самому показалась глупой; по
лицу пробежала несмелая улыбка. Мальчишка смотрел на него
пристально, но как-то отчужденно.

Он сидел здесь как глава семейства и нарушитель спокой-
ствия.

Девочка-служанка тоже не могла оторвать от него взгляд —
в нем было что-то похожее на робкое удивление и даже за-
висть; когда она зашла в столовую в очередной раз, Ханна
очень громко спросила:

"Мне позвонить Редерсу... насчет вечера?"

Адвокат Редерс — коллега Вендлинга — был освобожден от
военной службы, ему уже было за пятьдесят.

Часы в корпусе из красного дерева пробили несколько уда-
ров.

Мизинцем Ханна коснулась его руки, словно прося такой
нежностью прощения за мысль о вечере с Редерсом, преду-
преджая в то же время, что она хотела бы избежать телесного
прикосновения.

Хайнрих согласился:

"Естественно, мне нужно позвонить Редерсу... я хотел бы
сразу же избавиться от этой проблемы".

Ханна сообщила:

"А после обеда мы пойдем с папой гулять, покажем, какие
мы стали".

"Да, пойдем", — подтвердил Хайнрих.

"Ну, разве не хорошо, что папа снова вместе с нами".

"Да", — согласился ребенок, немного помедлив.

"Ты должен посмотреть его школьные тетради. Сейчас он
уже умеет писать и считать. Свои письма он писал сам".

"Это были просто великолепные письма, Вальтер".

То, что они посадили ребенка между собой, чтобы находиться друг от друга на расстоянии его русой головы, казалось им обоим чуть ли не насиллием. Конечно, вернее было бы сказать: сначала мы будем целовать друг друга, пока наша страсть не станет невыносимой. Но страсть эта и страстью-то не была, так, несносное ожидание.

Они пошли в детскую комнату, на деревянной обшивке одной из стен которой был нарисован, с позволения сказать, веселый детский сюжет. Но тем подсознанием, тем более светлым и слегка отрешенным умом, которому удалось избежать чрезмерно напряженного ожидания и сдавливающих тянущих головных болей, Ханна ощущала, что лакированная мебель и вся эта белизна тоже были насиллием над ребенком, знала, что это все не имеет ничего общего с собственно жизнью и сущностью ребенка, что здесь был создан и возведен символ, символ ее белой груди и белого молока, которое она должна была давать после успешных объятий. Она приложила руки к исходящему болю затылку. Мысль была какая-то отдаленная и очень расплывчатая, но именно состояние, порождающее эту мысль, было причиной того, что она никогда не любила задерживаться в детской и предпочитала звать мальчика к себе. Она сказала:

"Тебе следует показать папе твои новые игрушки".

Вальтер принес новый конструктор и солдатиков в серой полевой форме. У него было двадцать три солдата и один офицер, который, опустившись на одно колено, указывал обнаженной шпагой на врага. Никто из троих не придавал значения тому, что доктор Хайнрих Вендлинг тоже был одет в серую офицерскую форму; впрочем, у каждого из них была своя причина для этого: Вальтер воспринимал отца как нечто вторгнувшееся и инородное, Хайнрих не мог идентифицировать героический жест оловянного солдатика со своим собственным военным опытом, Ханна к собственному ужасу видела этого мужчину перед собой в голом виде, он был обнажен и изолирован в своей обнаженности. Это была та же изолированность, с которой вокруг нее громоздилась мебель, обнаженная, не связанная с

окружающими ее вещами, не составляющая единое целое, холодная и отчужденная.

Он, должно быть, чувствовал то же. А когда они пошли гулять, то ребенок оказался между ними, и это было разделение, хотя Ханна, весело размахивая руками, вела мальчика за одну руку, а Хайнрих часто хватал ребенка за вторую. Они не смотрели друг на друга, их обуревало чувство одинакового стыда, они смотрели или прямо, или на лужайки, где в траве росли одуванчики и клевер с фиолетовыми цветками, маленькие травяные гвоздики и лиловые скабиозы. День был жарким, а Ханна не привыкла гулять в послеобеденное время. Впрочем, не только жара была причиной того, что, возвратившись с прогулки, она ощутила сильнейшую потребность принять ванну; сейчас каждое желание скрывалось во все более глубоких слоях ее души: подобно огромному одиночеству, обволакивающему погруженное в воду тело, то были представления о магическом возрождении, переживаемом одиноким человеком благодаря воде. Правда, при этом отчетливее данных мыслей был стыд от того, что вечером придется посещать ванную комнату в присутствии Хайнриха. Однако если бы она среди бела дня стала принимать ванну, это бросилось бы в глаза служанке, поэтому, ссылаясь на то, что ей необходимо переодеться к вечеру, она попросила Хайнриха заказать пока машину и позаботиться о Вальтере, а сама решила хотя бы принять душ. Но только она зашла в ванную, в которой еще висели капельки воды, оставшиеся с дообеденного купания, как почувствовала слабость в коленях, ей пришлось так долго поливать себя холодной водой, что кожа задеревенела, а соски груди превратились в застывшие выступающие комочки. После этого она ощутила облегчение.

К Редерсу они поехали поздно; Хайнрих отпустил машину, вечер был настолько чудным, что Ханна с благодарностью согласилась возвращаться домой пешком — чем позже это произойдет, тем лучше. Была уже, наверное, полночь, когда они вышли из дома Редерса. Пересекая безмолвную Рыночную пло-

щадь, на которой не было видно никого, кроме поста перед зданием комендатуры,— площадь эта с темными домами вокруг, в которых кое-где горел свет, раскинулась перед ними подобно кратеру одиночества, подобно кратеру покоя, из которого на спящий город постоянно изливались все новые и новые потоки покоя,— Хайнрих Вендлинг взял жену под руку, и почувствовав первое соприкосновение тел, она прикрыла глаза. Он, наверное, поступил так же и не видел ни тяжело нависающего летнего ночного неба, ни белой полосы проселочной дороги, которая простиралась перед ними и в пыль которой они ступили, возможно, каждый из них видел другой небосвод, оба они, подобно своим глазам, закрылись в своих одиночествах, находя все же единство в узнавании тел, которые привели к конечным поцелуям, открытию лиц, бесстыдству в однозначности телесного и тем не менее целомудренности в боли бесконечной отчужденности, от которой уже невозможно было избавиться никакой лаской.

52

После погребения Замвальда мужичок Гедике начал говорить.

Добровolec Замвальд был братом часовщика Фридриха Замвальда, того часовщика, который имел собственную лавку на Ремерштрассе. После ураганного обстрела и атаки молодой Замвальд неожиданно начал кашлять и заболел. Он был смелым парнем девятнадцати лет, приятной наружности и у всех вызывал чувство симпатии, так что ему удалось попасть в лазарет своего родного города. Он прибыл даже не с эшелоном, в котором перевозили раненых и больных, а самостоятельно, словно отдыхающий; старший полковой врач Куленбек сказал ему: "Ну, тебя, мой мальчик, мы подлечим быстро". И хотя большую заботу о Замвальде проявлял доктор Кессель, а сам Замвальд выглядел вполне здоровым молодым человеком, у

него произошло кровоизлияние, и через три дня он уже лежал на погосте. Вопреки случившемуся, веселое солнце улыбалось с небосвода.

Поскольку это был госпиталь для легкораненых и больных, то смерть пациента здесь не утаивалась, как это происходит в больших госпиталях. Напротив, смерть эта была обставлена как торжественное событие. Перед тем как отнести покойника на кладбище, гроб с его телом установили перед входом в лазарет, здесь же была проведена соответствующая церковная церемония. Пациенты госпиталя, которые могли передвигаться, надели военные мундиры и выстроились у гроба, много людей пришло из города. Старший полковой врач выступил с речью, восхваляя героизм воинов, пастор стоял перед гробом, мальчишка в красной сутане с белым воротником размахивал кадиллом. После этого на колени опустились женщины, их примеру последовали некоторые из мужчин, они еще раз повторили за священником слова молитвы.

Гедике находился в саду. Заметив собравшихся людей, он приковылял к ним на своих палках. То, что там происходило, казалось ему хорошо знакомым, поэтому он хотел отвергнуть все это, эту картину, разорвать, как лист бумаги, разодрать, словно картон,— он напряженно и вплотную задумался об этом. А когда женщины плюхнулись на колени, словно служанки, в горле у него заклокотал комок смеха, но ему запретили издавать какие-либо звуки. Так и стоял он, опираясь на две палки, среди коленопреклоненных женщин, словно каркас с вколоченными в землю опорами, и сдерживал в горле рвущиеся наружу звуки. Как только женщины закончили читать "Отче наш", трижды повторили "Прощай" и подошли к словам: "Спустившись в ад и третьего дня восстав из мертвых", словно из более глубоких уровней каркаса, словно из уст чрево вещателя, которого ему как-то пришлось слушать, словно с поверхности столь болезненной и затянutoй нижней части тела, донеслись слова, и не лающие, может, даже почти что не слышимые, настолько глубоко они еще сидели внутри,— каменщик Гедике произнес:

"Восстав из мертвых..." и сразу же снова замолчал, настолько сильно поразило его то, что происходило на нижнем этаже кар-каса. На него не обратили внимания; подняли гроб; с прибитым на крышке распятием гроб покачивался на плечах несущих его людей; часовщик Замвальд, маленький и немного хромым, присоединился с остальными родственниками к несущим гроб; далее следовали врачи; затем — все остальные. Процессию замыкал, ковыляя в своем больничном халате, опираясь на две палки, каменщик Гедике.

На шоссе его заметила сестра Матильда. Она обратилась к нему: "Гедике, ну нельзя же так идти... ну, подумайте, в больничном халате...", но он не слушал ее. Даже когда она позвала на помощь старшего полкового врача, он не дал ввести себя в заблуждение; уставившись прямо перед собой, он продолжил свой путь. Куленбек наконец сказал: "Ах, оставьте его, война есть война... когда он устанет, возле него должен быть кто-то из мужчин, чтобы доставить его обратно в госпиталь".

Путь, который таким образом проделал Людвиг Гедике, был долгим; женщины вокруг молились, а по краям дороги росли кустарники. Когда одна группа заканчивала свою молитву словами "земля пухом", начинала другая, а из лесу доносилось кукование кукушки. На некоторых из мужчин, а также на маленьком часовщике Замвальде, были черные костюмы, что делало их схожими с плотниками. Многие приблизились друг к другу, особенно когда на повороте траурная процессия замедлила ход и сблизила тела людей; юбки женщин стали такими же, как и его собственный халат; при ходьбе юбочная ткань ударяла по ногам; а одна из женщин там, впереди, шла с наклоненной головой и держала возле лица носовой платочек. И если даже мужичок Гедике не смотрел по сторонам, а уставившись прямо, строго удерживал в поле зрения след от автомобиля (часто он даже пытался закрыть глаза и не как-нибудь, а сцепив зубы, из-за чего частицы его души сжимались еще сильнее в стремлении удушить его "Я"), да, если он даже куда охотнее и остановился бы, упершись палками в землю, с ог-

ромным удовольствием заставив этих людей замолчать и прекратить движение, с великим удовольствием отправив их на все четыре стороны, его тем не менее влекло дальше, его тянуло, и он плыл, раскачиваясь, он сам — раскачивающийся гроб, на волне снова и снова повторяющейся молитвы, которая сопровождала его.

И когда на кладбище была еще раз произведена церковная церемония и над могилой, куда опустили гроб, снова разнеслось "Восставший из мертвых", и когда маленький часовщик Замвальд, держа себя в руках, заглянул в могилу и всхлипнул, и каждый, подходя к могиле, бросал на гроб солдата комочек земли и пожимал руку часовщику, там стоял, и теперь все это видели, опираясь на две палки, с развевающейся бородой, в сером, почти до пят, больничном халате этот парень Гедике; огромный по сравнению с тщедушным часовщиком Замвальдом, он не обращал внимания на протянутую ему руку, а с большим напряжением, но вполне различимо для всех, произносил слова: "Восставший из мертвых". После этого он отложился в сторону палки, но только не потому, что хотел взять лопаточку и бросить в могилу немного земли, нет, он хотел не этого, произошло нечто совершенно иное и неожиданное — он вознамерился сам опуститься в могилу, собрался основательно и старательно слезть в яму, и одну ногу небезуспешно уже начал спускать. Естественно, его намерение было непонятно окружающим; думали, что поскольку он еще ни разу не передвигался без помощи палок, то устал и просто решил опуститься на землю, чтобы отдохнуть. Старший полковой врач и еще несколько участников траурной церемонии подскочили к нему, вытянули из могилы и отнесли на одну из кладбищенских лавочек. Теперь, наверно, силы действительно оставили Гедике; он больше не сопротивлялся, а тихо сидел на лавочке, глаза его были закрыты, а голова завалилась набок. Подбежавший часовщик Замвальд, который охотно помог бы в переноске, остался рядом с ним; а поскольку сильная боль, должно быть, смягчает душу человека, то Замвальду показалось, что здесь

происходит что-то особенное; сидя рядом с ним, он говорил каменщику Гедике слова утешения, словно какому-то страждущему, говорил с ним, словно с человеком, которому пришлось испытать тяжелейшие муки, он говорил о покойном брате, которому суждено было умереть ранней, красивой и безболезненной смертью. А Гедике слушал все это с закрытыми глазами.

А между тем к могиле приблизились уважаемые люди города, а среди них, так уж теперь повелось, был и Хугюнау в синем костюме; он держал высокую черную шляпу в одной руке и венчик — в другой. С высшей степени недовольным видом Хугюнау посмотрел по сторонам — брата покойного не оказалось на месте, дабы восхититься венком, красивым веночком от общества "Мозельданк", действительно прекрасно свитым венком с лентами, на которых можно было прочитывать: "Храброму солдату Отечества".

53

История девушки из Армии спасения в Берлине (8)

*Словно в зарожденьи будущих морей зеркальных
найдя покой в прибрежной пены многоцветье,
и дуновенье ветерка над водной гладью,
поток лучей дрожащих солнца золотого,
и у края дальнего того,
где сотворенное им небо,
само на зеркало похожее, к зеркальной глади моря
наклонясь и сон увидя Афродиты, спросило:
Тогда ли это все случилось с ним?
Тогда ли он узнал все это,
вознесенный, в муках родовых кружась
наигранности страсти сладкой?
Леса ль то были, разделенные лугами,*

что, окруженные проклятьем, в пучину уходили
безвозвратно?
Ведь в озареньи глас оглушительный
за ним вдогонку несся,
и глаз его ужасный лишь теперь открылся,
кружась здесь в зное скал высоких,
в туман бездонных пропастей летя,
в неистовство впадая,
застывая в напряженье страшном,
чтобы бежать обратно из мира жаркого огня,
чтоб снова оказаться в роще кипарисов стройных,
в прохладе, рожденной ручейков журчаньем,
и день и ночь, в тени деревьев сидя,
вдыхая ароматов многообразье,
зари великолепьем наслаждаться,—
он будет вечно час искать сей,
ибо забыл его он навсегда;
тут, голосом испуганный, вскочил,
что совести мученья столь внезапно разбудил,
довел его до края, лишив меж тем
существование его любого смысла,
сомнением наполнил и безмерно опустошил:
так было ль море или нет? И были ль кипарисы?
Но голос перекрыл все это,
тот глас, что возносил его,
тот глас, рабом чьим был он;
найди его он снова, пришел бы просветленья час,
и в забытье ушедшее вернулось бы обратно
в пьянящем аромате волн морских,
в рощ прибрежных водном отраженьи.—
Но знанье то, что в нем возникло вновь,
сомнению на смену нового сомненья боль приносит,
гоня его в пустыни раскаленной пыль
в попытке глас найти, что был утерян безвозвратно,
что прочь бежит, за ним он мчится,

поскольку клятве следует, что дал он лживо
тому Единственному, кем избран был однажды,
предатель: уста его — то крик,
они раскрылись в крике, заглушая разум,
раскрылись в крике, что несется из пропасти бездонной,
в крике, ветром по пустыне разносимом,
в крике цепей не знающего зверя,
в диком крике огнедышащих вершин.
О, изумленья крик! Крик путника, домой бредущего!
Почувствовать бы изумленье то! То изумленье чуда?
Способно ль "Я" мое так изумиться?
О, мысль, приходишь ты с каких пределов?
Иль глубоко случайно все?
Брожу я там, где жизни нет,
вопя и к вечности взывая, о, Агасфер!¹
В кроваво-тусклом свете ада покоя нет,
усохнуть суждено моим рукам и лику моему усохнуть
тоже,
рожден для крика я, я — Агасфер!
Лишен корней и загнан в пропасть,
знаньем одарен и съедаемый сомнением,
разбрасывающий камни, вскормленный прахом,
ума великого творенье, снедаемое жуткою тоской,
благословенный гласом и им же проклятый,
знаменьем крестным осененный сеятель плода
запретного.

54

Майора охватило в определенной степени неприятное чувство, когда ординарец доложил ему о визите господина редак-

¹ Агасфер (Вечный жид) — герой средневековых сказаний, еврей-скиталец, осужденный Богом на вечную жизнь и скитания за то, что не дал Христу отдохнуть (по многим версиям — ударил его) по пути на Голгофу.

тора Эша. Был ли этот газетчик посланцем Хугюнау? Гонцом из затхлого болота и всяческих старательно скрывааемых афер? К тому же у майора почти что выветрилось из головы, что Хугюнау сам провел линию, отделяющую его от Эша, фигура которого вызывает в политическом плане определенные подозрения, а поскольку он в течение непродолжительной неловкой паузы решительно не смог придумать ничего в оправдание отказа, то в конечном итоге ему пришлось выдать из себя: "Ну, ладно уж... просите".

Эш, впрочем, не производил впечатления ни гонца из преисподней, ни политически ненадежного типа, он вошел со смущенным видом, словно человек, которого снова мучают сомнения относительно правильности принятого решения: "Дело в том, господин майор... если кратко, меня очень тронула статья, написанная господином майором..."

Майор фон Пазенов понимал, что нельзя позволить запудрить себе мозги лицемерными речами, какой бы приятной ни была мысль об успехе его литературных изысканий.

"И если господин майор охарактеризовал дьяволом, которого необходимо изгнать..."

На что майор посчитал нужным уточнить, что цитата из Библии ни в коей мере не содержит в себе указание на конкретное лицо или событие, что подобное уточнение означало бы даже осквернение Библии, что мы в своей жизни, дабы дело шло к лучшему, должны пустить в себя частичку дьявольского. Ну а если господин Эш пришел, чтобы потребовать сейчас столь настойчивым образом объяснений и удовлетворения, то он мог бы довольствоваться данным заявлением.

Пока майор говорил, Эш обрел свою обычную уверенность. "Нет, господин майор, дело не в этом. Да я бы пустил в свою душу даже дьявола... конечно же, не потому, что пару раз у меня конфисковывали мою газету,— он пренебрежительно махнул рукой,— нет, господин майор, никто не может упрекнуть меня в том, что моя предыдущая газетная деятельность была более непорядочной, чем теперешняя. Я пришел с другой

просьбой". И он потребовал не больше и не меньше, а чтобы майор потрудился указать путь к вере ему и его братьям — так возбужденно патетическим тоном он назвал своих друзей.

Все его манеры — то, как он стоял перед столом, как держал, комкая в руках, свою шляпу, как двигались от волнения скулы, покрываясь краской, медленно переходящей в цвет загара его смуглого лица, — делали Эша похожим на управляющего имением майора. Что может сказать какой-то управляющий о вере? Майору казалось, что вопросы, связанные с верой, были прерогативой владельца имения. В его памяти возникли картины обычной религиозной жизни, ему вспомнилась церковь, к которой он подъезжал со своей семьей; в летнее время, когда пыль стояла столбом, они ездили на повозке с большими колесами, а зимой — на повозке с полозьями, нижняя часть которых была обтянута мехом; он вспомнил, как на Рождество и на Пасху рассказывал своим детям и прислуге о Библии, вспомнил, как служанки-польки, наряженные в красные платки и кофточки, направлялись в католический костел, располагавшийся в соседней деревне, мысль о костеле напомнила майору о том, что господин Эш относится к римско-католической церкви, это и породнило его неприятным образом с польскими батраками и той атмосферой беспокойной ненадежности, которую он, исходя частично из собственного опыта, частично из имевшей место реальности, а частично просто из-за предубежденного отношения, обычно считал характерной для поляков. А поскольку так уж бывает, что вопросы совести ближнего довольно часто вызывают неприятные ощущения, словно он здесь очень уж преувеличивает то, что для него не так уж важно, то майор предложил господину Эшу сесть, но, начав говорить, не коснулся поднятой темы, а поинтересовался делами в газете.

Но Эш был отнюдь не тем человеком, которого можно было так легко увести от его намерения. "Вот газета как раз и обя-зывает вас, господин майор, послушать меня, — и заметив во-просительный взгляд майора, продолжил: — ...Да, вы, господин майор, начертали "Куртрирскому вестнику" новый путь... я и

сам себе всегда говорил, что в мире должен быть порядок и что редактор тоже должен способствовать этому, если он не хочет стать анархистом и бессовестной тварью. Господин майор, все в поисках спасения, все боятся отравы, все полны ожидания, что придет избавление и несправедливость будет уничтожена”.

Его голос сорвался на крик, а взгляд майора стал отчужденным. Эш немного успокоился: “Видите ли, господин майор, социализм — это просто знак, один из многих... но с той статьи в программном номере... господин майор, речь идет о свободе и справедливости в этом мире... с человеческими жизнями не играют, должно что-то произойти, иначе все жертвы будут напрасны”.

“Все жертвы напрасны...— повторил майор словно в полузабытьи, но затем встрепенулся: — Не хотите ли вы, господин Эш, вернуть газету снова в социалистический фарватер? И не хотите ли заручиться в этом моей поддержкой?”

Лицо Эша приобрело пренебрежительное выражение: “Дело не в социализме, господин майор... дело в новой жизни... в порядочности... в совместном поиске веры... мои друзья и я, мы организовали изучение Библии... господин майор, ведь вы же были совершенно искренни, когда писали свою статью, поэтому вы не можете нас сейчас так просто отвергать”.

Стало ясно: Эш выставил счет, хоть и всего лишь духовного порядка, и майору поневоле снова вспомнился управляющий, который сиживал напротив в его кабинете со своими счетами, он опять подумал о работниках-поляках, которые вечно старались надуть его. А не грозили ли и они социализмом? Может, это и было делом давно ушедших дней, но он сказал: “Нас всегда кто-нибудь отвергает, господин Эш”.

Эш поднялся и, следуя своей привычке, начал мерить комнату неуклюжими шагами. Глубокие складки вокруг рта стали еще резче; как он расстроился, подумал майор, трудно поверить, что этот серьезный человек, завсегдаятай забегаловок и посетитель сомнительного толка заведений — посланец под-

польного мира. Или он такой лицемер? Это было так же трудно себе представить, как и сам тот мир.

Эш остановился и в упор посмотрел на него: "Господин майор, дабы уж быть откровенным... как прикажете мне выполнять свои обязанности, если мне не понятно даже, будет ли наш путь более легким не в протестантской вере?.."

Здесь, конечно, майор мог бы ответить, что решать теологические проблемы отнюдь не входит в обязанности редактора, но прямой вопрос Эша так напугал его, что он вообще не смог придумать что-либо в ответ: все это не очень сильно отличалось от попыток Хугюнау добиться армейских заказов, и на какое-то мгновение, казалось, фигуры обоих мужчин стали снова уподобляться друг другу. Майор ухватился рукой за Железный Крест на своей груди, и весь его облик приобрел строгость человека, находящегося при исполнении служебных обязанностей: ему, военному человеку, находящемуся на передовом рубеже, к лицу ли вербовать себе приверженцев? Католическая церковь в конце концов так или иначе считается союзницей, и он не взял бы на себя ответственность побуждать какого-то австрийца, или болгарина, или турка к тому, чтобы тот предал свое государство, переметнувшись к немцам. Действительно злило, что этот Эш ссылался на написанное им ранее, но все-таки было в этом нечто сладостное и увлекательное: не милость ли вечно обновляющейся и всегда возрождающейся веры возвещалась в этом требовании? Но майор все еще упорствовал и полагал, что должен сослаться на то, что он, сам протестант, не чувствует себя призванным вести за собой в делах веры католика.

Эш снова пренебрежительно махнул рукой — к делу это не относится; в статье майора говорилось, что христианин обязан помогать христианину, следовательно, различия между католическим и протестантским христианством нет никакого, а католический священник разбирается в таких вопросах еще меньше.

Майор молчал. Была ли это сеть из его собственных слов,

накинута на него, с помощью которой этот человек стремился вовлечь его в грязь и мрак? И все-таки возникало впечатление, словно чья-то мягкая рука пытается направить его к тихим берегам спокойной реки. Ему вспомнилось крещение в Иордане, и, преодолевая себя, он сказал: "По вопросам веры, господин Эш, никаких уставов не существует; вера — это природный источник, так говорится в Библии". Затем он задумчиво добавил: "Милость каждый должен познать самостоятельно".

Презрев приличия, Эш повернулся к майору спиной; он стоял возле окна, прижавшись лбом к оконному стеклу. Затем он повернулся; выражение его лица было серьезным, почти просящим. "Господин майор, но речь ведь не об уставах... речь идет о доверии... — и он задумался на какое-то мгновение. — Иначе ведь... — он запнулся в поисках подходящих слов, — иначе газета не будет лучше всех остальных газет... продажной прессы... демагогической болтовни... но вы, господин майор, вы ведь хотите кое-чего другого..."

Майора фон Пазенова снова охватило сладостное ощущение, возникающее тогда, когда тебя несет по течению, увлекая куда-то вдаль, словно тебя желает взять на себя серебряное облако, покачивающееся над реками, набухшими от весенних разливов. Безопасность доверия! Нет, этот человек, стоящий перед ним с самым серьезным выражением лица, не был авантюристом, не был предателем и не был ненадежным человеком, он не был тем, кто перетаскивает доверие на другую сторону жизни, дабы, обнажив его, бесстыдно выставить на всеобщее обозрение. Так что, вначале запинаясь, потом все более увлекаясь, майор начал говорить о руководстве Лютера, в наследии которого никому не дано усомниться, никому, господин Эш! Потому что абсолютно каждый несет в глубине души искорку, и — о, насколько сильно ощущает майор фон Пазенов то, что и говорить-то ему не позволено — никто не обойден милостью, так что каждый, на кого снизошла эта милость, может выйти и восславить святость. И каждый, заглянувший в собственную душу, познает истину и праведный путь; он наверняка поймет,

что путь идет к ясности, и пойдет по нему. "Будьте спокойны, господин редактор,— сказал он,— все еще изменится к лучшему". Он также готов, если этого желает господин редактор Эш и будет позволять его ограниченное время, снова побеседовать с ним — майор поднялся и протянул над столом руку Эшу,— впрочем, в ближайшее время он как-нибудь зайдет, чтобы осмотреть типографию "Куртрирского вестника". Он наклонил голову, давая понять Эшу, что разговор закончен. Тот застыл в нерешительности, а у майора возникли опасения, что придется выслушать благодарственную речь. Но слова благодарности не последовали, а Эш где-то даже грубовато поинтересовался: "А мои друзья?" Лицо майора снова приобрело выражение человека, находящегося при исполнении служебных обязанностей: "Позже, господин Эш, может быть, позже". И Эш отвесил неловкий поклон.

Как бы там ни было, но теперь ничто уже не могло удержать Эша и его радикальное неистовство. То, что он несколько дней спустя — к удивлению всех, кто об этом узнал, а это был без малого весь город — принял протестантскую веру, было своего рода выражением преданности майору его ищущей души.

55

РАСПАД ЦЕННОСТЕЙ (7) Исторический экскурс

То преступное и бунтарское время, называемое Возрождением, то время, когда христианское представление о ценностях раскололось на католическую и протестантскую части, то время, когда распадом гигантского Органона¹ средневековья был инициирован процесс растворения ценностей, длящийся вот

¹ Органон — по Аристотелю это обозначение логического вспомогательного средства аргументации и систематизации наук, по Фрэнсису Бэкону — это "истинные указания для истолкования природы".

уже пятьсот лет, и посеяно семя модернизма, время посева и одновременно время первого цветения, это время невозможно однозначно очертить ни протестантизмом, ни присущим ему индивидуализмом, ни национализмом, ни чувственной радостью, ни в такой же степени гуманистичным и естественнонаучным обновлением; если это время, находящее столь отчетливо свое проявление в едином стиле и удерживающееся в своей целостности, если оно обладает соответствующими этому единству духом времени и является носителем стиля, то оно не может считаться каким-то произвольным и многообразным феноменом, даже в том случае, если речь идет о феномене столь высокой революционной мощи, каким является протестантизм, более того, все эти феномены должны быть сведены к единому знаменателю, у всех у них должны быть общие корни, и корни эти кроются в логической структуре мышления, в той специфической логике, которая пронизывает эпоху и выполняет все действия, свойственные эпохе.

С определенным правом можно утверждать, что радикальная революция стиля мышления — а революционизация всех жизненных феноменов четко указывает на столь полный перелом в мышлении — всегда имеет место тогда, когда мышление выходит на грань бесконечности, когда противоречия бесконечности более невозможно решить старыми средствами, и вследствие этого становится необходимым пересмотреть свои собственные основы.

Четче всего, поскольку с этим сталкиваешься непосредственно, такой перелом в мышлении можно наблюдать на примере теоретического изучения основ современной математики, которая, исходя из противоречий бесконечного, пришла к революционизации математических методов, к изменениям, важность которых сегодня еще не представляется возможным оценить. Впрочем, нереально разобраться и в том, идет ли здесь речь о новой революции мышления или же о последней и окончательной ликвидации средневековой логичности (не исключено, что имеет место и то и другое). Дело не только в том, что

вплоть до нашего времени сохранились остатки средневековых представлений о ценностях, и это дает основания предполагать, что имеют место и остатки соответствующего мышления, но дело и в противоречиях, как раз в противоречиях бесконечного, в том, что они произрастают на почве дедукции, а одновременно наверняка и на почве теологии: ни одна теологическая система мира, которая не является дедуктивной, не стремится, следуя логике, сводить все проявления к высшему принципу, следовательно, к Богу, и любой платонизм, с такой точки зрения, не является в конечном итоге дедуктивной теологией. Ведь если поэтому не так просто увидеть платонически-теологическое содержание в системе современной математики, то, возможно, пусть оно и остается невидимым до тех пор, пока эта математика является адекватным выражением господствующей в ней и над ней логики, но тем не менее возникает бросающееся в глаза родство между ее противоречиями бесконечного и противоречиями схоластики: конечно, средневековая дискуссия о бесконечности разгоралась не в области математики (а максимально приближенно в области космических соображений), но "этическая" бесконечность, как ее с полным правом можно было бы назвать, поскольку она вскрывает круг проблем, касающихся бесконечности атрибутов Бога, содержит все вопросы актуальной и потенциальной бесконечности, по своей структуре представляет, собственно, пограничную область, где сконцентрированы противоречия и сложности современной математики. Как тут, так и там из абсолютизации логической функции возникает противоречивое содержание, абсолютизации, которой невозможно избежать до тех пор, пока не сдаст свои позиции сама господствующая логика, на которую можно обратить внимание лишь тогда, когда достигается предел противоречивости. Для схоластики эта абсолютизация ошибки оформляется в толковании символов: явность церкви, то есть ее земная и конечная форма существования, которая тем не менее претендует на абсолютность, аристотелевское "достижение конечности" бесконечно удаленной платонически-

логической точки должно повлечь за собой достижение конечности всех форм символов, и поскольку система достойных восхищения символов, система символов для символов была отодвинута на задний план и соединилась посредством возвышенно-земного, бесконечно-конечного символа евхаристии в магическое единство, то перелом в мышлении уже невозможно было больше удержать в рамках бесконечности, и схоластическому мышлению пришлось измениться на пределе противоречиво-бесконечного, дабы диалектически снова разрешить ставшую бесконечной платоническую идею, то есть подготовить возврат к позитивизму и обрести то автоматическое развитие, начала которого просматривались уже в аристотелевском придании формы церкви, но последующий уход которого, невзирая на разнообразные попытки спасения со стороны схоластики (учения о двойной истине, спор номиналистов и реалистов, новое обоснование теории познания Оккамом¹), уже невозможно было затормозить; оно потерпело крушение, столкнувшись с абсолютизмом, с противоречиями бесконечного — на пьедестале господствовала логичность.

Всякое мышление согласовывается с фактами лишь до тех пор, пока сохраняется доверие к своей логичности. Это касается любого мышления, а не только дедуктивно-диалектического (тем более, что невозможно определить, сколько же дедукции содержится в каком-то акте мышления). Было бы ошибочным говорить, что потеряно доверие к дедукции, поскольку люди вдруг научились смотреть на факты другими, более внимательными глазами; как раз наоборот, на факты лишь тогда начинают смотреть по-другому, когда терпит крах диалектика, и этот крах нельзя объяснить капитуляцией перед действительностью, действительностью, выпрямление которой продолжалось бы еще очень долго, он имел место еще раньше, в области собст-

¹ Уильям Оккам (ок. 1285—1349) — английский философ-схоласт, логик и церковно-политический деятель, главный представитель номинализма XIV века, францисканец. Согласно принципу "бритвы Оккама", понятия, которые не сводятся к интуитивному и опытному познанию, должны удаляться из науки.

венно логики, конкретнее — перед лицом проблем бесконечно-го. Терпеливое отношение человека к авторитету логики почти неисчерпаемо, и его можно сравнить даже с неизменно терпеливым отношением к врачебному искусству, и так же, как человеческое тело доверчиво подвергается в высшей степени бесполезным лечебным сеансам и при этом даже выздоравливает, так и действительность переносит невозможные сооружения теорий, и до тех пор пока теория не объявит сама себя банкротом, ей верят, и действительность подчиняется ей. И только после объявленного банкротства человек протирает глаза, лишь после этого он снова поворачивается лицом к действительности, переносит источник своих знаний из области умозаключений в область жизненного опыта.

Обе эти фазы духовной революции четко просматриваются теперь в позднем средневековье: банкротство схоластической диалектики и последовавший за этим — истинно коперниковский — поворот к непосредственному объекту. Или, говоря иными словами, это поворот от платонизма к позитивизму, от языка Бога к языку вещей.

Но с этим поворотом от централистски церковного Органа к многообразию возможностей непосредственного восприятия, с этим переходом от платонической картины средневековой теократии к позитивистскому видению эмпирически воспринимаемого и бесконечно движущегося мира, с этим разложением до мельчайших составляющих бывшего целого необходимо было одновременно и согласованно разложить до мельчайших составляющих области ценностей, поскольку они совпадают с областями объектов. Короче говоря, ценности больше уже не определялись из некой центральной инстанции, они получали свой облик, исходя из объекта; речь теперь идет не о соблюдении библейской космогонии, а о "научном" видении природного объекта и об эксперименте, который можно произвести с ним, не о создании Царства Господнего теперь идет речь, а о ставшем самостоятельным политическом объекте, который делает необходимым новый политический метод в

виде макиавеллизма; смысл рыцарства — не в абсолютной войне, как он был конкретизирован в крестовых походах, а в земном споре, разрешаемом с помощью нового нерыцарского огнестрельного оружия, речь теперь идет не о христианском мире, а об определенных эмпирических группах людей, объединенных внешними языковыми проявлениями своей национальной принадлежности, интерес возникающего индивидуализма относится теперь не к человеку как звену церковного Органона, а к человеческому индивидууму в его самозначимости, и для искусства сообщество святых и их возвеличивание уже не являются больше единственной и конечной целью, а дело все — во внимательном рассмотрении внешнего мира, дело в той точности, которая составляет натурализм Возрождения. Но выгляди даже этот поворот к непосредственному объекту таким светским, таким действительно языческим, что не без удовольствия он призывает в качестве надежного свидетеля вновь открытую античность, то не с меньшей силой наряду с внешним объектом ощущается натиск внутреннего, именно так, непосредственность Возрождения является наиболее откровенной, наверное, как раз в этом внутреннем видении: Бог, которому до сих пор позволительно было проявляться лишь в субстанции церковно-платонической иерархии, стал, с учетом глубин души, с открытием искорки в бездне душевной, непосредственным мистическим познанием, он стал откликнувшейся милостью, — и это бросающееся в глаза сосуществование предельно языческой светскости с предельно последовательной духовностью мистического протестантизма, это одновременное сосуществование в высшей степени несовместимых ценностных тенденций внутри одной и той же области стиля было бы наверняка совершенно необъяснимым, если бы речь не шла об общем знаменателе непосредственности. Протестантизм, подобно всем остальным феноменам Возрождения, а может, и в большей степени чем они, был феноменом непосредственности.

Но, исходя из этого, свое обоснование может получить еще

одна в значительной степени решающая структурная черта этой эпохи: феномен "действия", который столь ощутимо проявлялся в любом жизненном явлении Возрождения, и не в последнюю очередь в протестантизме, то начинающееся пренебрежение словом, которое стремится ограничить языковое выражение в рамках его поэтической и риторической автономии, не позволяет ему проникать в другие области, и вместо этого считающее действующего человека единственным фактором, это стремление к немоте, которая должна подготовить безмолвие всего мира, все это пребывает в не поддающейся осознанию взаимосвязи с распадом мира на области отдельных ценностей, независимо от того поворота к языку вещей, который, дабы уж быть последовательным, является безмолвным языком. Это почти что так, словно этим нужно было бы подтвердить, что взаимопонимание между отдельными областями ценностей является излишним, или словно такого рода взаимопонимание могло бы исказить строгость и однозначность языка вещей. Оба великих рациональных средства взаимопонимания современности — язык науки в математике и язык денег в бухгалтерском учете — берут свое начало в эпохе Возрождения, оба они возникли из той исключительной и однозначной направленности на собственную область ценностей и из эзотерики выражения, строгость которой можно было бы обозначить как почти что аскетизм. Тем не менее такое направление смысла имеет мало общего с католически-монашеским аскетизмом, поскольку у него иные, чем эти, средства достижения цели, оно не стремится быть "экстатической" помощью, а проистекает из однозначности действия, действия, которое впредь должно считаться единственно однозначным языком, которому только оно и должно подчиняться. Так что протестантизм, исходя из его возникновения и сути, тоже является "действием", он с такой же активностью предполагает бого-действующего, богищущего и бого-находящего человека, какая характерна для нового естествоиспытателя, да и для нового типа воинов, и для нового политика. Религиозность Лютера является целиком и

полностью религиозностью действующего человека и по сути своей чем угодно, но только не созерцательностью. Именно в этом "действии", в этой "действительности" лежит строгость, категорически-императивное исполнение долга, отгораживание от всех других областей ценностей; тот свойственный яростным поборникам нового аскетизма кальвинистов¹, тот, так и хочется сказать, познавательного-теоретического аскетизма, который подвигнул Эразма Роттердамского² к тому, чтобы потребовать убрать музыку с церковных богослужений.

Впрочем, средневековью тоже было знакомо действие. И столь сильно хотелось новому позитивизму подняться над схоластическим платонизмом, что он, отсылая индивидуум к одинокому "Я", одновременно отмел и "позитивистские корни" всего платонического. Новый христианский мир не только протестовал, он также реформировался, воспринимал себя, прежде всего, как возрождение христианской мысли, и даже если вначале он выступал без теологии, то позже на автономной и суженной основе он развил чисто платонически-идеалистическую теологию — ведь именно так можно истолковать философию Канта. "Направление ценности", этическое требование к действию не изменилось по сравнению со средневековьем, да и не могло измениться, ведь только в действующем стремлении к ценности и к ее абсолютности конституируется сама ценность — что-либо иное, чем абсолютные ценности, просто не существует. Что изменилось, так это выделение определяющего ценности действия: если до сих пор интенсивность абсолютизации касалась общей ценности христианского Органона, то теперь радикальность самоутверждающейся логики, строгость ее автономии сепаратно подчинена каждой отдельной области, каждая из этих отдельных областей абсолютизировалась в соб-

¹ Кальвинизм — направление протестантизма, для которого, в частности, характерна проповедь "мирского аскетизма". Основатель кальвинизма Жан Кальвин (1509—1564) отличался крайней религиозной нетерпимостью.

² Эразм Роттердамский (1469—1536) — гуманист эпохи Возрождения, философ, писатель.

ственную область ценностей, в мире появилась та стремительность, рядом с которой независимо и самостоятельно должны существовать абсолютизированные области ценностей, та стремительность, которая придала эпохе Возрождения характерную для нее окраску.

Конечно, можно возразить, что общий стиль времени в одинаковой степени охватывает все несовместимые области ценностей, что даже личность Лютера ни в коей степени не ограничивается аскетически какой-то отдельной областью, напротив, именно при нем своеобразно объединяются религиозные и мирские моменты. С таким же успехом можно сказать, что тут происходит всего лишь зарождение развития, для полного разворачивания которого потребовалось пятьсот лет, что время преисполнено тоски по средневековому содержанию и что именно такая личность, как Лютер, хотя и не следуя логике, но в силу своего человеческого богатства, объединила в себе самые несовместимые ценностные тенденции, идя навстречу потребностям эпохи, делая эпоху своей и оказывая на нее влияние, которому пришлось быть неизмеримо большим, чем влияние "более логичного" Кальвина. Возникает впечатление, как будто бы время все еще полно страха перед "строгостью" и зарождающейся безмолвностью, как будто бы оно и не стремилось преодолеть это страшное приближающееся безмолвие и как будто бы ему поэтому пришлось стать часом рождения нового языка Господнего, часом рождения новой полифонической музыки. Но это все предположения, которые невозможно доказать. Более того, можно наверняка утверждать, что это состоявшие эпохи, эта спутанность начала были тем, что сделало возможной католическую контрреформацию, что боязнь зарождающегося одиночества и изолированности инициировала готовность к движению, которое обещало снова найти единство, ибо контрреформация взвалила на себя гигантскую задачу опять собрать исключенные из строгой религиозности протестантизма области ценностей, попытаться снова собрать воедино мир и все его ценности, стремясь под руководством новой

иезуитской схоластики опять-таки к средневековой целостности, на основе которой навсегда сохранит свое божественное положение господствующее платоническое единство церкви как высшей ценности над всеми другими областями ценностей.

56

Часовщик Замвальд теперь часто навещал госпиталь. Он посещал те места, где ухаживали за его братом, он хотел выразить свою благодарность и проявлял ее не только тем, что бесплатно чинил часы в лазарете, но и предлагал также всем пациентам и персоналу безо всякой оплаты отремонтировать карманные часы. А затем он бывал у ополченца Гедике.

И Гедике ждал этих визитов. С тех похорон кое-что стало ему понятнее, а на душе — спокойнее; земное начало в его жизни как-то уплотнилось, но тем не менее оно казалось возвышенным и бестелесным, не теряя при этом своей явственности. Теперь он четко знал, что не следует пугаться темноты, за которой стоял тот другой Гедике или, вернее, стояли когда-то много Гедике, что ему больше не нужно бояться того темного шкафа, поскольку это было просто время, когда он лежал в могиле. И если теперь приходил кто-то, кто пытался напомнить ему о том, что предшествовало его возложению в могилу, то не было больше необходимости испытывать страх, а можно было отделаться, так сказать, простым пожиманием плеч, зная, что это не имеет уже совершенно никакого значения. Теперь ему надо было всего лишь выждать, ведь не нужно было больше бояться жизни, которая окружала его, даже если она подбиралась уж очень близко: смерть его была позади, и все, что приходило, служило только тому, чтобы выше и выше возводить каркас. Хотя он по-прежнему не произносил ни единого слова и не слышал, когда к нему обращались сестры или соседи по палате, но его немота и глухота были в гораздо меньшей степени защитой всех его "Я" и его одиночества, чем пренебреже-

нием и наказанием нарушителю спокойствия. Терпеть он мог только часовщика Замвальда, он даже ждал его.

Замвальд действительно приносил ему облегчение. Даже когда Гедике шел, сгорбившись и опираясь на палки, он мог смотреть на маленького ростом часовщика свысока; но это ни в коем случае не было существенным. Более важным наверняка было то, что Замвальд, который как будто понимал, кто перед ним, не предпринимал ни малейшей попытки выпытать у него что-нибудь и чем-нибудь намекнуть на то, что ему, Людвигу Гедике, было неприятно. Замвальд, собственно, вообще мало говорил. Когда они сидели вдвоем на скамейке в саду, он показывал ему часы, взятые в ремонт, открывал крышку, так что можно было увидеть часовой механизм, и пытался объяснить, что неисправно. Или же он рассказывал о своем покойном брате, которому, как он говорил, можно позавидовать, ведь он прошел уже все и находится теперь в лучшем мире. Но когда затем часовщик Замвальд начинал рассказывать о рае и о небесных радостях, то, с одной стороны, с его рассказом не совсем можно было согласиться, поскольку он касался конфирмационного обучения уже исчезнувшего мальчика Гедике, с другой стороны, впрочем, это звучало словно хвалебная ода мужчине Гедике, который уже побывал в лучшем мире. И когда Замвальд рассказывал о собраниях по изучению Библии, которые он обычно посещал и на которых на него многократно снисходило просветление, когда он рассказывал, что бедствие этой войны должно в конечном итоге привести к просветлению души, то Гедике уже не слушал его, одно только это издали казалось похожим на подтверждение призываемой обратно жизни, это было похоже на требование занять в этой жизни в определенной степени потустороннее место. Маленький часовщик напоминал ему кого-то из мальчиков или женщин, подносящих кирпичи к укладываемой стене, с которым вряд ли стоит говорить, с которым обращаешься в высшей степени грубо и который, как бы там ни было, нужен. Должно быть, это послужило причиной того, что как-то он позволил себе пре-

рвать рассказ часовщика и повелительным тоном сказал: "Принеси мне пива", а поскольку этот приказ не был выполнен немедленно, то он с возмущенным непониманием уставился перед собой. На протяжении многих дней он сердился на Замвальда, не удостоивал его даже взглядом, и Замвальд ломал голову над тем, как можно снова помириться с Гедике. Это было достаточно сложно. Гедике, собственно, и сам не понимал, что он сердится на Замвальда, и очень сильно страдал от того, что ему под давлением какой-то непонятной навязчивой необходимости при встрече с Замвальдом приходится отворачивать лицо. И не то чтобы он считал именно Замвальда виновником такой необходимости, но он сильнее всего обижался на Замвальда, что эта необходимость никак не проходит. Это был своего рода мучительный поиск друг друга, имевший место в отношениях этих двух мужчин, и то была едва ли не гениальная мысль часовщика, когда он в один из прекрасных дней взял Гедике под руку и потащил с собой.

Было чудное теплое послеобеденное время, и часовщик Замвальд вел бывшего каменщика Гедике за рукав военного мундира, осторожно, шаг за шагом, обходя кучи щебня на дороге. Затем они присели, чтобы немножко отдохнуть, когда Замвальд дернул Гедике за рукав, тот поднялся, и они пошли дальше. Так они добрались до владений Эша.

Лестница, которая вела в редакцию, была слишком крутой для Гедике, поэтому Замвальд посадил его на скамейку перед садом и поднялся наверх один; обратно он вернулся с Эшем и Фендрихом. "Это Гедике", — сказал Замвальд. Гедике не поздоровался. Эшу хотелось показать им садовые постройки. Гедике остановился возле двух парников, стеклянные крыши которых были распахнуты, поскольку Эш производил предзимний сев, и заглянул в углубления, где виднелась коричневая земля. Эш поинтересовался: "Ну как?", но Гедике продолжал безмолвно пялиться в парник. Так стояли они, с непокрытыми головами и в темных костюмах, словно бы находились у незасыпанной могилы. Замвальд нарушил молчание: "Господин Эш организовал

занятия по изучению Библии... нам хочется найти Бога". Тут Гедике засмеялся, это не был безумный смех, это был скорее едва слышный смешок, и Замвальд продолжил: "Гедике Людвиг, восставший из мертвых", он произнес это не очень громко и триумфальным взглядом посмотрел на Эша; да, он выпрямился из своего смиренно сгорбленного положения и стал почти такого же роста, что и Эш. Фендрих, державший под мышкой Библию, посмотрел на него воспаленным взглядом человека, у которого больны легкие, а затем слегка прикоснулся к форме Гедике, как будто хотел убедиться, что там действительно находится Гедике собственной персоной. А для Гедике дело было улажено, и все это оказалось не таким уж и сложным, позвоительно было теперь и отдохнуть, он просто опустил на край деревянной обшивки парника, ожидая, что Замвальд присядет рядом. "Он устал", — сказал Замвальд. Эш большими шагами направился обратно к дому и крикнул в окно кухни, чтобы жена принесла кофе. Госпожа Эш выполнила его просьбу, они позвали из типографии также господина Линднера, дабы он выпил с ними кофе, все обступили Гедике, который сидел на выступе парника, и смотрели, как он отхлебывает кофе. И один только Гедике видел перед собой что-то другое. После того, как Гедике насладился кофе, Замвальд снова взял его под руку, и они направились обратно в лазарет. Шли они осторожно, и Замвальд следил за тем, чтобы Гедике не наступал на острый щебень. Иногда они немножко отдыхали. И когда Замвальд улыбался своему попутчику, тот не отводил свой взгляд в сторону.

57

Да, Хугюнау был очень расстроен. Воззвания за Железного Бисмарка выглядели чересчур жалкими. То, что в типографии отсутствовало клише для портрета Бисмарка, было еще простительным, однако не было даже правильного изображения Же-

лезного Креста в обрамлении из лавровых листьев, так что не оставалось ничего другого, как украшать каждый из четырех углов воззвания одним из тех маленьких Железных Крестов, которыми обычно украшали извещения о смерти тех, кто погибал на войне. Он сам бы не пошел с писаниной к майору, если бы в кармане не лежало хорошее известие: одна скульптурная мастерская в Гисене, на рекламное объявление которой он наткнулся и куда сразу же отправил телеграмму, предложила свои услуги по поставке в течение двух недель скульптуры Бисмарка. Майор, само собой разумеется, был глубоко разочарован безликими воззваниями, он даже не слушал его, а на извинения отреагировал недовольно безразличным "да ладно". Когда же он в конце концов сообразовал дать свое согласие на нести визит сегодня, то радость по этому поводу была опять омрачена, причиной тому стал интерес, который он проявил к делам Эша. Это было несправедливо, ведь именно Эш был виновником того, что в типографии отсутствовали приличные клише.

Засунув руки в карманы брюк, Хугюнау словно на ходулях ходил по двору, ожидая майора. Что касается Эша, то все сложилось как нельзя лучше. Было довольно предусмотрительным задержать его вчера, когда он намеревался съездить на бумажную фабрику,— ну а сегодня, надо же такому случиться, сегодня странным образом оказалось слишком мало бумаги на складе, и господин редактор был как раз и отправлен за ней. К сожалению, этот малый посчитал нужным воспользоваться велосипедом, и если вдруг придется слишком долго ждать майора, то весь план полетит к чертям, и оба еще здесь столкнутся друг с другом.

День был теплым, но пасмурным. Хугюнау пару раз взглянул на часы, затем направился в сад, посмотрел на несозревшие фрукты, которые висели на ветвях, прикинул, какой будет урожай. Впрочем, плоды не успевают созреть, все разворовывается. В один из дней утром найдет Эш свой сад очищенным. Недолго осталось; с солнечной стороны сливы уже начали крас-

нет, Хугюнау потянулся вверх и попробовал плоды пальцами. Эшу надо было бы обнести сад колючей проволокой; но таких затрат урожай, конечно же, не стоит. Колючая проволока подешевеет после войны.

Ожидание подобно колючей проволоке, натянутой в душе. Хугюнау снова посмотрел на сплетение веток, взглянул на серые облака; там, где спряталось солнце, выделялось белое пятно. Он несколько раз свистнул, так он звал Маргерите; но она не появилась, и Хугюнау рассердился: опять она с этими мальчишками внизу на речке. Охотнее всего он забрал бы ее оттуда. Но он должен был ждать майора. Неожиданно — он как раз намеревался свистнуть еще раз — рядом с ним появилась Маргерите. Строгим тоном он произнес: "Ну где ты все время прячешься? У нас будут гости". Затем он взял ее за руку, они пересекли двор, прошли через дом и начали высматривать майора с другой стороны на Фишерштрассе. "Слишком рано отправил я Эша", — эта мысль не давала Хугюнау покоя.

Наконец, выйдя из-за угла, показался майор; его сопровождал преклонных лет офицер продовольственной службы, который одновременно исполнял в комендатуре обязанности адьютанта. Хугюнау, который хотя и рассчитывал на то, что будет иметь дело с одним только майором, почувствовал себя польщенным, что посещение будет иметь столь официальный характер. Глупо было отправить Эша, всему персоналу следовало бы находиться здесь, а Маргерите в белом платице должна была бы преподнести майору букет цветов. Нужно будет как-нибудь изловчиться и возложить ответственность за эту промашку на Эша, но есть то, что есть, и Хугюнау пришлось ограничить торжественность момента несколькими поклонами, поскольку оба офицера уже остановились перед домом.

К счастью, офицер продовольственной службы откланялся, так что ситуация перестала быть официальной, и когда майор переступил порог дома, то лицо Хугюнау приняло выражение доверительной преданности. "Маргерите, поприветствуй гостя", — скомандовал он. Маргерите уставилась чужаку прямо в

лицо. Майор погладил ее по черным локонам: "Ну, в таком случае говорят "добрый день", маленькая татарочка". Извиняющимся тоном Хугюнау пролепетал: "Это малышка Эша..." Майор приподнял подбородок Маргерите: "Ах, вон оно что, ты дочь господина Эша?" "Она просто живет здесь... почти приемная дочь",— сообщил Хугюнау. Майор снова погладил ее по голове. "Маленькая смуглая татарочка",— повторил он, когда они шли по коридору. "По рождению француженка, господин майор... Эш хочет, если будет возможно, удочерить ее... Но это излишне, у нее ведь есть тетка... Не угодно ли господину майору сразу же посмотреть типографию? Прошу, здесь направо..." Хугюнау поспешно семенил впереди. "Хорошо, хорошо, господин Хугюнау,— ответил майор,— только я хотел бы поздороваться с господином редактором Эшем". "Эш появится с минуты на минуту, господин майор, мне казалось, что господин майор, пока ему никто не мешает, пожелает все осмотреть". "Господин Эш мне ни в коем случае не помешает",— ответил майор, и Хугюнау был поражен определенной резкостью его тона. Он предчувствовал какую-то интригу со стороны Эша... Ну, он еще разоблачит его происки, а кроме того, существует малоприятное тайное донесение за номером 2. И поскольку такой документ уже был подготовлен, то Хугюнау успокоился: ведь ни одна душа не станет терпеть, чтобы разворачивание внутренних событий в ней сдерживалось и тормозилось кем-то извне. Так что Хугюнау степенным тоном сообщил: "Господин Эш, к сожалению, уехал на бумажную фабрику... Мне пришлось позаботиться о поставках бумаги... Может, господин майор пока посмотрит типографию?"

В честь майора запустили печатную машину и в честь же майора Хугюнау отдал бессмысленное распоряжение произвести набор части воззвания объединения "Мозельданк". Он все еще держал Маргерите за руку, а когда Линднер отпечатал первую часть воззвания, Хугюнау взял верхний лист и передал его майору. Он опять же полагал, что должен извиниться: "Это, конечно, очень простое исполнение, пришелся бы очень кстати

хотя бы Железный Крест в обрамлении венка из лавровых листьев... для акции, которой лично покровительствует господин майор!"

Майор, схватившись рукой за пуговичную петлю, где висел Железный Крест, казалось, успокоился — тот находился на месте. "Ах, Железный Крест — зачем второй? Это излишне". Хугюнау отвесил поклон: "Да, господин майор, конечно же, прав, в столь тяжелое время необходимо довольствоваться скромными формами, я могу согласиться с господином майором, но скромная картинка совершенно не ведет к дополнительным расходам... Однако господину Эшу это, естественно, все равно". Майор сделал вид, что не услышал сказанного, но через какое-то мгновение произнес: "Мне кажется, господин Хугюнау, вы несправедливы к господину Эшу". По лицу Хугюнау пробежала почтительная, но слегка пренебрежительная улыбка. Но майор смотрел не на него, а на Маргерите: "Я думал — это рабыня, такая маленькая смуглая татарочка". Хугюнау решил, что должен еще раз указать на французское происхождение ребенка. "Она в этом доме просто так". Майор наклонился к Маргерите: "У меня дома тоже девочка, немножко, должно быть, постарше, ей четырнадцать лет... И она не такая смуглая, как маленькая татарочка... ее зовут Элизабет...— и, помедлив, добавил: — Значит, маленькая француженка". "Она запросто и по-немецки может,— сказал Хугюнау,— всему научилась". Майор поинтересовался: "Ты, конечно же, очень любишь своих приемных родителей?" "Да",— ответила Маргерите, и Хугюнау был очень удивлен, что она может так врать; но поскольку майор, казалось, по рассеянности не все понял, он отчетливо повторил: "Она живет у своих родственников. Лишена родительского дома..." Это прозвучало действительно немного рассеянно, майор ведь был немолодым человеком, и Хугюнау согласился: "Именно так, господин майор, подходящие слова, лишена родительского дома..." Майор внимательно посмотрел в лицо Маргерите. "Наборная, господин майор, вы еще не посмотрели наборную",— продолжал приглашать Хугюнау. Майор

провел рукой по челу ребенка: "Не нужно смотреть так сердито и так морщить лобик..." Девочка серьезно задумалась над сказанным, затем поинтересовалась: "А почему?" Майор улыбнулся, легонько провел пальцами по ресницам, из-под которых смотрели сердитые глаза, и сказал: "Маленьким девочкам не следует морщить лобик... это грех... скрытый и видимый одновременно... так делать всегда грех". Маргерите попятилась, и Хугюнау вспомнилось, как она вырывалась руками и ногами, от Эша; правильно делает, подумал он. Теперь майор протер свои глаза: "Ну, да ладно уж...", и Хугюнау, который почувствовал, что майора тоже одолевает хотя и вполне подконтрольное, но желание уйти, очень обрадовался, увидев, как во двор, широко расставив колени, на своем низковатом велосипеде въехал Эш и остановился у деревянной лестницы.

Они все вместе вышли во двор, чтобы встретить Эша, майор оказался между Хугюнау и ребенком.

Эш прислонил велосипед к стене под лестницей и медленным шагом направился к ним. Он ничем не выказал своего удивления, встретив тут майора, он был настолько спокоен и поприветствовал гостя с таким само собой разумеющимся выражением лица, что Хугюнау подумал, уж не было ли известно этому тощему проповеднику о визите. Он не сдержался и высказал свое недовольство: "Ну, что скажете о столь внезапно оказанной нам чести?! А то вас вроде это совершенно не трогает?"

"Я очень рад", — ответил Эш.

"Я очень рад, что вы так вовремя вернулись домой, господин Эш", — сказал майор.

На что Эш вполне серьезно отреагировал: "Могло быть и часов в двенадцать, господин майор".

"Еще не так поздно... не угодно ли господину майору осмотреть и другие помещения; лестница, правда, немного неудобная", — вмешался Хугюнау.

Эш продолжил: "Дорога была дальняя".

"Он ездил на велосипеде", — объяснила девочка.

Майор задумчивым тоном заметил: "Дорога дальняя... и он еще не у цели".

Хугюнау продолжал гнуть свое: "Волнения наши остались позади. У нас уже две страницы объявлений, вот если бы мы смогли заполучить еще и заказы из армии..."

"Речь ведь идет не об объявлениях", — сказал Эш.

"У нас нет даже клише Железного Креста, но это вас тоже не касается!" — отрезал Хугюнау.

Девочка показала на грудь майора: "Железный Крест здесь".

"Знак отличия всегда невидим, бросаться в глаза свойственно одному лишь греху", — сказал майор.

"Самый великий грех — это ложь", — опять вставил ребенок.

"Невидимое скрывается за нами, и происходим мы из лжи, а если мы не находим верную дорогу, то обречены блуждать во мраке невидимого", — сказал Эш.

Ребенок не унимался: "Никто не слушает, когда лгут".

Майор не согласился: "Бог слушает".

"Никто не слушает дезертира, если даже он во всем, что говорит, прав", — сказал Хугюнау.

"Никто не может видеть других в темноте", — заметил Эш.

"А даже если и видит, то люди все равно прячутся друг от друга", — сказал майор.

"И дорогой Бог не слышит это", — вставила девочка.

"Когда-нибудь Он снова услышит детские голоса", — сказал Эш.

"А это и лучше, когда никто никого не слышит, пробиваться нужно самому... и уж мы это сможем", — подхватил Хугюнау.

"Мы отказались от Него, и Он оставил нас в одиночестве... в таком одиночестве, что мы не можем больше найти даже сами себя", — сказал майор.

"Заточены в одиночество", — добавил Эш.

"И меня никто не сможет найти?" — забеспокоилась девочка.

"Мы должны вечно искать Того, от Кого мы отказались", — произнес майор.

"Тебе нужно спрятаться", — сказал Хугюнау.

"Да", — согласилась девочка.

Серовато-молочные облака начали расходиться; в некоторых местах проглянула небесная голубизна. Босоногая девочка убежала, ничего больше не слыша. А затем разошлись и мужчины. Каждый в своем собственном направлении.

58

История девушки из Армии спасения (9)

Вчера они снова были у меня, Нухем и Мари, и мы вместе пели. По моему предложению мы начали с такой песни:

*"Мы с радостью в сердце выходим на бой
И силу истинной веры несем мы с собой,
А ужас сатаны нам нипочем,
Ведь ярость всю его мы выкалим огнем.
Полотнища знамен, что реют впереди,
Нас призывают — будь готов и смело в бой иди;
Так предначертано, и в этом наш оплот,
То сила веры нашей, что ведет вперед!
(Хор)*

*Тебе хотим мы верность сохранить,
В служении Тебе до самой смерти быть,
Тебе хотим мы наши жизни посвятить,
Знамена сине-желто-красные склонить".*

Мы пели эту песню на мелодию Андреаса Хофера, Мари солировала, Нухем подпевал и выстукивал такт легкими гладкими руками. Во время пения они иногда поглядывали друг на друга, но, возможно, мне это просто показалось, поскольку я после разговора с доктором Литваком стал подозрительным. Во вся-

ком случае я завопил во все горло, и причиной тому были различные обстоятельства. Ведь, с одной стороны, мне хотелось успокоить таким образом семейство, которое, вне всякого сомнения, уже собралось перед моей комнатой: дети протиснулись в первые ряды и, наверное, прижались ушами к деревянной двери, белобородый дед с наклоненной верхней частью тела приложил ладонь к уху, чтобы получше расслышать, тогда как женщины держались подальше, на заднем плане, то одна, то другая из них начинали беззвучно всхлипывать, все они медленно теснились к двери, не решаясь все же эту дверь открыть; да, с одной стороны, мне хотелось их успокоить, с другой стороны, для меня было каким-то садистским удовольствием поставить их в известность, привлечь к двери и оттолкнуть. Но вопя изо всех сил, я хотел также сказать Нухему и Мари: не стесняйтесь, дети мои, вы же видите, что я занят собой и своим голосом, расстегни свой шюртук, Нухем, приподними его фалды, преклони пред девушкой голову, а ты, Мари, прекрати жеманиться, возьми край своей юбки двумя пальцами, и потанцуйте вдвоем, потанцуйте под мелодию Иерусалима, потанцуйте на моей кровати так, как будто вы находитесь у себя дома. И я подпевал таким образом уже даже не текст Мари, а свой собственный, более правильный: "У попа была собака, он ее любил". Дальше слова я, к сожалению, не знал, но модулировал эту строчку и находил ее подходящей и красивой.

Тут Мари закончила песню тем аккордом, которым завершаются все песни, исполняемые под аккомпанемент лютни, и сказала: "Молодцы, у нас это неплохо получилось, а теперь в качестве награды давайте немножечко помолимся".

И вот она уже соскользнула со стула, поднесла к лицу сложенные ладони и начала читать 122 псалом: "Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим; Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колена, колена Господни, по закону Израилеву, славить имя Господне".

Я не мог остановить ее, даже если бы разбил у нее на голо-

ве лютно. Так что я тоже опустился на колени, сложил руки и начал молиться: "Давайте приготовим чай для дочерей и сыновей Израилевых, давайте добавим в чай немножечко рома, военного рома, героического рома, эрзац-рома, дабы заглушить наше одиночество, ибо чрезмерно велико наше одиночество, будь оно в Сионе или в святом городе Берлине". Но пока я говорил это и стучал кулаками себя в грудь, Нухем поднялся: остановившись передо мной, он повернулся ко мне спиной и обратил свой молящийся взор к открытому окну, на котором, подобно желто-красно-синему флагу, болталась разорванная засаленная ситцевая занавеска; верхняя часть его тела начала равномерно раскачиваться. О, это было непорядочно, это было непорядочно со стороны Нухема, который был все-таки моим другом.

Я подскочил к двери, распахнул ее, крикнув в переднюю: "Заходи, Израиль, выпей с нами чайку, посмотри на непристойные движения моего друга и на открытое лицо моей подруги".

Но передняя, передняя была пуста. Их словно корова языком слизала, их словно ветром разнесло по конурам, женщины пронесли по головам детей, а посредине — кряхтящий старик, который не мог выпрямиться.

"Прекрасно,— проговорил я, закрыл дверь и снова повернулся к своим комнатным привидениям,— прекрасно, дети мои, а теперь обменяйтесь поцелуями, как это положено в Сионе".

Но они оба стояли с опущенными руками, не решаясь прикоснуться к друг другу, не решаясь танцевать, дурацкая улыбка играла на их лицах. В конце концов мы сели пить чай.

Симпозиум, или Беседа о спасении

Неспособный довериться самому себе, неспособный, черт побери, разорвать свое одиночество, актер, играющий самого

себя, остающийся заместителем своего собственного существа,— то, что человек всегда может узнать от человека, остается простым символом, символом непостижимого "Я", оно не выходит за пределы ценности символа: и все, что необходимо высказать, становится символом символа, становится символом во втором, третьем, энном повторении и требует своего представления в истинной двузначности слова. Поэтому никому не будет в тягость и послужит в высшей степени краткости изложения, если мы представим, что супруги Эш вместе с майором и господином Хугюнау находятся на театральной сцене, вовлеченные в представление, которого не избежать ни одному человеку: выступить в роли актеров.

Вокруг стола в беседке, расположенной в саду у Эша, сидят *госпожа Эш*, справа от нее — *майор*, слева — *Хугюнау*, напротив нее (спиной к зрителям) сидит *господин Эш*. Они уже поужинали. На столе — хлеб и вино, которое господину Эшу прислал один владелец виноградников, давший в газете объявление.

Спускаются сумерки. Но на заднем плане еще просматриваются контуры горной цепи. Мошки и комары вьются вокруг двух свечей, горящих в стеклянных колоколах светильников с защитой от ветра. Доносятся астматические звуки ритмично работающей печатной машины.

ЭШ. Позвольте налить еще, господин майор?

ХУГЮНАУ. Великолепное вино, в нем — ни добавить, ни убавить; тут мы можем гордиться нашими эльзасскими винами.

Господин майор знакомы с нашими эльзасскими винами?

МАЙОР (*отсутствующим тоном*). Думаю, нет.

ХУГЮНАУ. Ну, это безобидное вино... мы, эльзасцы, вообще безобидный народ... качественный продукт, никакого коварства (*смеется*), а после этого — максимум простое естественное опьянение, выпив достаточно, засыпаешь, и это все.

ЭШ. Опьянение не бывает естественным, опьянение — это отравление.

ХУГЮНАУ. Ой, поглядите-ка, тут я без труда могу припомнить случаи, когда вы с преогромным удовольствием позволяли

себе пропустить бутылочку для утоления жажды... например, господин Эш, назову одну лишь забегаловку "У Пфальца", так что *(внимательно смотрит на Эша)* вы не кажетесь мне таким уж неотравленным.

МАЙОР. Меня откровенно удивляют ваши нападки на нашего друга Эша, господин Хугюнау.

ЭШ. Оставьте его, господин майор, он шутит.

ХУГЮНАУ. Отнюдь, я вполне серьезно... Я вообще все говорю так, как думаю... Наш друг Эш — это волк в овечьей шкуре. Да, я так считаю, и, с позволения сказать, напивается он втайне от всех.

ЭШ *(пренебрежительно)*. Никакое вино меня с ног еще не валяло...

ХУГЮНАУ. Да, да, надо быть всего лишь трезвым, господин Эш, тогда себя не выдашь.

ЭШ. Вполне может быть такое, что я пью, да, и что потом мир становится таким простым, словно состоит из одной чистой правды... Таким простым, словно сон, простым и все же бесстыдно полным ложных имен, а правильное имя не найти...

ХУГЮНАУ. Вам следует пить исключительно церковное вино, тогда уж вы обнаружите свои имена... или державу грядущего, как ее принято видеть.

МАЙОР. Богохульствовать не следует даже в шутку, в вине и хлебе есть нечто общее.

Хугюнау понимает свою бестактность и краснеет.

ГОСПОЖА ЭШ. Ах, господин майор, всегда так происходит, когда господин Хугюнау и мой муж оказываются вместе... Конечно, милые бранятся, только тешатся, но иногда действительно невозможно слушать, как он обливает грязью все то, что свято для моего бедного мужа.

ХУГЮНАУ. Лицемерие! *(Снова оправился от своей неловкости и основательно прикуривает погасшую было сигару.)*

ЭШ (*погруженный в свои мысли*). Истина во сне хромает...
(*Ударяет кулаком по столу.*) Весь мир хромает... хро-
мающий урод...

ХУГЮНАУ (*заинтересованно*). Инвалид?

ЭШ. Если в мире существует всего лишь одна-единственная
ошибка, если в одном-единственном месте ложь оказывает-
ся правдой, то тогда... да, тогда весь мир является ложью...
все становится нереальным... дьявольски заколдованным...

ХУГЮНАУ. Фокус-покус, есть и нету...

МАЙОР (*не обращая внимания на Хугюнау*). Нет, друг мой
Эш, как раз наоборот: нужно, чтобы среди тысячи грешни-
ков был просто один праведник...

ХУГЮНАУ. Великий волшебник Эш...

ЭШ (*грубо*). Что вы понимаете в волшебстве... (*Кричит на
него.*) Вы скорее фокусник, жонглер, метатель ножей...

ХУГЮНАУ. Господин Эш, вы же среди людей. Держите себя в
руках.

ЭШ (*слегка успокоившись*). Волшебство, фокусничество — все
это от дьявола, это зло, оно всего лишь усиливает беспоря-
док...

МАЙОР. Где нет познания, там зло...

ЭШ. Но вначале должен прийти Тот, кто искоренит ошибки и
наведет порядок, кто примет жертвенную смерть, чтобы
принести миру избавление для новой невинности...

МАЙОР. Который взвалит на себя испытание... (*Твердым и
уверенным тоном.*) Но Он ведь уже пришел, Он тот, кто
уничтожил ложное познание и изгнал волшебство...

ЭШ. Но еще царит мрак, и во мраке мир разваливается... рас-
пятой на кресте и пронзаемый в последнем одиночестве
копьем...

ХУГЮНАУ. Хм, неприятно.

МАЙОР. Его окружала жуткая темень, сумерки угрюмой безыс-
ходности, и никто не приблизился к Нему, чтобы помочь в
Его одиночестве... Но Он взял зло на себя, Он избавил мир
от этого зла...

ЭШ. А еще существуют убийства и убийства как месть, и порядок наступит лишь когда мы проснемся...

МАЙОР. Взвалить на себя испытания, пробудиться от греха...

ЭШ. Нет еще окончательного решения, мы просто заточены, и нам приходится ждать...

МАЙОР. Мы в окружении греха, а дух — и не дух вовсе...

ЭШ. Мы ждем суда, но нам дана отсрочка, и мы можем начать новую жизнь... зло еще не победило...

МАЙОР. Освободиться от ложного духа, освободиться великой милостью... тогда зло исчезает, словно его и не было никогда...

ЭШ. Это был злой волшебник, продажный волшебник...

МАЙОР. Зло всегда вне мира, вне его границ; лишь тот, кто выходит за эти границы, кто оказывается за рамками истины, тот проваливается в бездну зла.

ЭШ. Мы стоим на краю бездны... на краю темной шахты...

ХУГЮНАУ. Для нас это слишком уж заумно, не так ли, госпожа Эш?

Госпожа Эш заглаживает волосы назад, затем прикладывает палец к губам, показывая Хугюнау, чтобы он помолчал.

ЭШ. Многим еще придется умереть, многим придется пожертвовать собой, дабы обеспечить место сыну, которому позволено будет заново возвести дом... лишь тогда начнет рассеиваться туман и настанет новая жизнь, светлая и безгрешная...

МАЙОР. Нам только кажется, что зло среди нас, что оно приняло множество обличий, но само оно никогда здесь не было... вероятность этого равна нулю — реальной является только милость.

ХУГЮНАУ (*который никак не может смириться с ролью молчаливого слушателя*). Ну, если воровство, или растление малолетних, или дезертирство, или неплатежеспособность являются всего лишь кажущимися, тогда это действительно утешительная картина.

МАЙОР. Зло не существует. Милость избавила мир от зла.

ЭШ. Чем сильнее бедствие, чем глубже мрак, чем острее свистящий нож, тем ближе царство избавления.

МАЙОР. Только добро является настоящим и действительным. Существует только один грех — нежелание. Нежелание добра, нежелание познания, нежелание быть человеком доброй воли...

ХУГЮНАУ (*страстным тоном*). Да, господин майор, это правильно... я, например, я, конечно, не ангел... (*Задумчиво.*) Впрочем, тогда вообще нельзя наказывать... дезертир, к примеру, который является человеком доброй воли, не может быть расстрелян — дабы уж привести пример.

ЭШ. Никто по своему положению не вправе указывать другим путь, никто не должен думать, что его вечная душа не внушает уважения.

ХУГЮНАУ. Именно так.

МАЙОР. Желаящий зла одновременно может желать и добра, но тот, кто не желает добра, тот по собственной вине лишается милости... это грех инерции, инерционность чувств.

ЭШ. Дело не только в хороших и плохих деяниях...

ХУГЮНАУ. Прошу прощения, господин майор, все-таки немного не сходится... Как-то в Ройтлингене, обанкротившись, я потерял шестьсот марочек, приличная сумма. И почему? Да потому, что человек сошел с ума на религиозной почве, этого нельзя было и предположить, конечно, его оправдали и засадили в психушку. Но денежки мои тютю.

ЭШ. Ну и что из этого?

ХУГЮНАУ. А то, что тот парень был хорошим человеком, который тем не менее сделал плохое дело... (*Язывительно ухмыляясь.*) И если вы меня убьете, господин Эш, то вас оправдают из-за религиозного безумия, а убей я вас, то мне не сносить головы... Ну, что вы теперь скажете, господин Эш, со своей мнимой святостью? А? (*Взглядом, требующим одобрения, уставился на майора.*)

МАЙОР. Безумный подобен человеку, видящему сон; он исполнен ложной истины, он прокликает своих собственных детей, никто не может безнаказанно быть рупором Господним... на нем знак.

ЭШ. Он исполнен ложной истины, да и мы все исполнены ложной истины, нам по праву приходится быть безумными! Безумными в своем одиночестве.

ХУГЮНАУ. Да, но меня расстреляют, а его нет! Извините, господин майор, как раз за этим и кроется его мнимая святость... *(Разозлившись.)* Ah, merde, la sainte religion et les curés à faire des courbettes auprès de la guillotine, ah, merde, alors...¹ Я образованный человек, но это уж ведь чересчур!

МАЙОР. Но, но, господин Хугюнау, мозельское вино представляет определенную опасность для вашего темперамента. *(Хугюнау делает извиняющиеся жесты руками.)* Добровольно взвалить на себя испытание и наказание, как нам пришлось взвалить на себя эту войну, поскольку мы грешили... все это не мнимая святость.

ЭШ *(отсутствующим тоном)*. Да, взвалить на себя кару... в последнем одиночестве...

Останавливается печатная машина; затихают ее удары; слышно, как поют сверчки. Листья на фруктовых деревьях шелестят от дуновения налетевшего ночного ветерка. Вокруг луны виднеются облака в белом обрамлении. Внезапно наступила тишина, затихла и беседа.

ГОСПОЖА ЭШ. Как хорошо, когда тихо.

ЭШ. Иногда возникает впечатление, словно бы мир является единственной страшной машиной, которая не знает покоя... война и всякое такое... все идет в соответствии с законами, которые не поддаются пониманию. Отвратительные самоуверенные законы, законы техники... каждый должен действовать так, как ему предписано, лицо каждого обращено

¹ Ох, дерьмо, святая вера и эти в рясах, которые раболепствуют перед гильотиной, ох, дерьмо... *(фр.)*.

вперед... каждый подобен машине, которую можно заметить только со стороны и которая ведет себя враждебно... о, машина — это зло, а зло — это машина. Ее порядок — это ничто, которое должно настать... прежде чем миру будет позволено снова восстать...

МАЙОР. Символ зла...

ЭШ. Да, символ...

ХУГЮНАУ (*довольным тоном, прислушиваясь к шуму типографии*). Сейчас Линднер заправляет чистую бумагу.

ЭШ (*во власти внезапно охватившего страха*). Боже мой, возможно ли, чтобы один человек пришел к другому! Неужели нет ничего общего, неужели нет понимания! Неужели каждый должен восприниматься другими лишь как злая машина!

МАЙОР (*кладет успокаивающе руку на плечо Эша*). Увы, Эш...

ЭШ. Так кто же не злой для меня, Господи?!

МАЙОР. Тот, кто познал тебя, сын мой. Только познающий преодолевает отчуждение.

ЭШ (*закрыв лицо руками*). Господи, будь тем, кто познает меня.

МАЙОР. Только знающему дается познание, только сеющему любовь суждено насладиться ее плодами.

ЭШ (*продолжая закрывать лицо руками*). Поскольку я познаю Тебя, Господи, Ты не будешь больше держать зла на меня, я ведь Твой сын возлюбленный, избавленный от упреков... Тот, кто подвергает себя смерти, тот познает любовь... Лишь тот, кто бросается в ужасающий омут отчуждения и смерти... лишь тот достигает единства.

МАЙОР. И на него нисходит милость и лишает его страха, страха бессмысленно бродить по земле, страха перед необходимостью непонятно, бессмысленно и беспомощно уйти в никуда...

ЭШ. Так познание становится любовью, а любовь — познанием, выше всяческих подозрений всякие души, которым предна-

чертано быть сосудами познаваемой милости; создающие сообщество душ, все они выше каких бы то ни было подозрений и одиноки, и все же познающие едины, высшая заповедь познания — не навредить живущему, я познал Тебя, Господи, бессмертен я в Тебе.

МАЙОР Спадает маска за маской, обнажая сердце Твое и лик Твой.

Освободив дыханье вечности...

ЭШ. Я уподобляюсь сосуду пустому,
Уединившись от всего, лишенный страсти всякой,
Взвалил я кары тяжелой бремя на себя, дабы в безвестность кануть.

Ужасен, о, как ужасен страх...

МАЙОР. Страх, что можем мы назвать ростком посланья,
Господней милостью, заветом Бога у святости вселенской врат, войди туда...

ЭШ. Познай меня, Господь, познай меня в тоске безмерной,
Лик смерти распростерся надо мной, иль вижу я всего лишь сон ужасный,
Страх смерти душу мне наполнил, оставлен я и одинок,
Нет никого вокруг в моей кончине одинокой...

Хугюнау слушает, ничего не понимая, а *госпожа Эш* прислушивается со страхом за своего мужа.

МАЙОР. И все ж не одинок, когда в безвестность ты уходишь,
Избавившись от зла, не говоря уже о страхе,
Свободен ты в садах Божественных,
Когда тебя познают, лишь познать ты можешь
Вселенский чудный лик распахнутого мощной дланью мира.

ЭШ. Познал Тебя я, в лучах любви Твоей купаясь, Того, кто познавал меня, любя,
Садом, наполненным безбрежным светом, стала пустыня жаркая,
Не знающие конца и края луга для тучных стад, и солнце, что не знает ни заходов, ни восходов...

МАЙОР. Сады, исполненные милости, сады, что мир заполнив,
Таят в себе бесстрашно дыхание весны благоуханья и дома
отчего...

ЭШ. Я грешным был и злым, злым, страха осознав мученья,
Познав губительный и ложный путь, загнав себя на бездны
край,
Плоть иссушив, бредя пустынею безводной,
Клинка карающего мести избежав, я ощутил дыханье страха
Агасфера,
Тот Агасфера страх сковал мне ноги, а в глазах — жажда
Агасфера
За Тем, кого всегда терял я, за Тем, кого не видел,
За Тем, кого я предал, кто тем не менее избрал меня
Для бури, для бури ледяной безумной пляски звезд
вселенских,—
Упало в почву семя милости, с мольбой прошу, о, прорости
лишь
Спасения во имя, что во мне...

МАЙОР. Так будь же братом мне, как прежде, тем, кто утерян
мною,
Будь близок мне, как брат...

Оба поют поочередно, их пение слегка напоминает песнопения
Армии спасения (*майор* — баритоном, *господин Эш* — басом).

Господь наш, Саваоф,
Не обойди нас милостью своею,
Сведи нас воедино волею своей,
Веди нас за собой дорогой верной,
Господь наш, Саваоф,
Избавь нас от путей извилисто-кривых,
Приведи нас в землю обетованную,
Господь наш, Саваоф.

Хугюнау, который до сих пор лишь рукой отбивал такт по столу,
начинает подпевать (тенором).

Сохрани нас от топора и колеса,
Сохрани нас от руки палача,
Господь наш, Саваоф.

ВСЕ ТРОЕ. Господь наш, Саваоф.

ГОСПОЖА ЭШ (*начинает подпевать; полное отсутствие голоса*).

Приди и сядь за стол наш,
Что милостью твоей накрыт,
Господь наш, Саваоф.

ВСЕ ВМЕСТЕ (*Хугюнау и Эш отбивают ритм по столу*).

Господь наш, Саваоф,
Спаси наши души,
Спаси их от смерти,
Избавь их от мучений,
Дай им из веры родника напиться,
Храни от горестей их и ущерба,
Отведи от них мирскую мишуру,
Вдохни в них искру,
Искру живительного жаркого огня,
Господь наш, Саваоф,
Помилуй и спаси от смерти нас.

Майор положил руку *Эшу* на плечо. Руки *Хугюнау*, которые только что отстукивали ритм по столу, медленно сползают вниз. Свечи догорели почти до конца. *Госпожа Эш* разливает мужчинам оставшееся вино, внимательно следя за тем, чтобы всем досталось поровну; последняя капля попала в бокал ее мужа. Луну заслонила легкая дымка, и свет ее слегка потускнел, дуновение ветерка из мрака стало гораздо более прохладным, почти как из дверей холодного подвала. Возобновила наконец свою работу печатная машина; *госпожа Эш* коснулась руки мужа: не пора ли нам укладываться спать?

(Перемена декораций)

Перед домом Эша (*Майор и Хугюнау*)

Показав большим пальцем руки на окно спальни супругов

Эш, Хугюнау пробормотал: "Ну вот, они укладываются в постель, а Эш мог бы ведь посидеть с нами еще немножко... но она хорошо знает, чего хочет... Да, а господин майор позволят, чтобы я проводил его немного? Небольшая прогулка — это хорошо".

Они брели по молчаливым средневековым улицам. Двери домов были похожи на черные дыры. К одной из дверей прижалась парочка, из другой выскользнул пес и поковылял на трех ногах вверх по улице; за углом он исчез. В некоторых окнах виднелся слабый огонек, а что происходило за остальными окнами? Может, там лежал покойник: распростертое на кровати тело, одиноко торчащий заострившийся нос и простыня в форме маленького шатра над выступающим большим пальцем ноги. На окна поглядывали и майор, и Хугюнау, а последнему не терпелось спросить, не думает ли майор тоже о трупе; майор, между тем, шел молча с печатью озабоченности на лице; его мысли, наверное, крутятся вокруг Эша, сказал себе Хугюнау, и он не одобрил того, что Эш лежит сейчас под боком у своей жены и огорчает этим добродушного старика. Но что, черт побери, тут вообще огорчительное! Вдруг ни с того ни с сего сдружился с этим Эшем вместо того, чтобы держать ухо остро с этой мнимой святой лошадкой! Между этими двумя господами возникла откровенная дружба, между этими двумя господами, которые, очевидно, забыли, что без него они никогда бы и не познакомились; так кто в таком случае имеет приоритетное право на майора? И если майор сейчас огорчен, то по праву. Более того, если уж речь идет о правоте и справедливости, то господина майора вместе с его дорогим господином Эшем надо было бы наказать еще и за предательство... Хугюнау словно осенило, со всей ясностью прорезалась авантюрная и будоражающая мысль: завести с майором новые, требующие смелости отношения, ввести в заблуждение, по возможности вместе с майором, Эша, блаженствующего в постели с бабой, и тем самым поставить в сомнительное положение самого майора! Да, отличная и многообещающая мысль. "Господин майор, наверное, помнят мой

первый доклад, в котором я сообщал о своем посещении бор...— Хугюнау спохватился, похлопав пальцами себя по губам,— прошу прощения, публичного дома. Господин Эш почивает сейчас как порядочный в супружеском ложе, но тогда он составил компанию. А между тем, я продолжаю заниматься этим делом и думаю, что напал на след. Сейчас мне надо было бы снова заглянуть туда... и если господина майора интересует это дело и, как бы это сказать, само любопытное заведение, то я бы сейчас покорнейше предложил господину майору навещать туда".

Майор еще раз скользнул взглядом по длинному ряду окон, дверей и ворот, которые были подобны входам в черные дыры подвалов, а затем, что было неожиданностью для Хугюнау, безо всякого ломанья сказал: "Пойдемте".

Они повернули назад, поскольку дом этот располагался в другой стороне и за городом. Майор по-прежнему молча шагал рядом с Хугюнау, возникало впечатление, что он озабочен чем-то еще сильнее, чем раньше, и Хугюнау, как уж не хотелось ему поговорить в непринужденном и доверительном тоне, даже и не решался завести разговор. Но его ждал еще более неприятный сюрприз: когда они уже дошли до борделя, над дверью которого горел большой красный фонарь, майор внезапно выпалил: "Нет" и протянул ему руку. Пока Хугюнау пялился на него ошарашенными глазами, майор выдавил из себя улыбку: "Сегодня уж делайте свои шуры-муры без меня". Старик развернулся и направился обратно в город. Хугюнау смотрел ему вслед глазами, полными ярости и огорчения; затем, впрочем, его мысли опять вернулись к Эшу, он пожал плечами и открыл дверь.

Где-то через час он оставил бордель. Настроение улучшилось; страх, тяготивший его, прошел, что-то пришло в норму, он сам не знал, как это можно назвать, но тем не менее отчетливо ощущал, что он опять в норме и вернулся к способности трезво и ясно оценивать происходящее. Пусть другие делают то, что хотят, пусть они вышвырнут его вон, ему наплевать на все это. Он бодрым шагом продолжал свой путь, ему вспомни-

лась песенка Армии спасения, которую ему приходилось где-то слышать, и он, постукивая в ритм шагов тростью, размеренно напевал "Господь наш, Саваоф".

60

Торжественный праздник объединения "Мозельданк" в пивной "Штадтхалле" по случаю битвы у Танненберга¹.

Ярецки слонялся по саду "Штадтхалле". В зале танцевали. Однорукий, конечно, тоже вполне мог бы потанцевать, но Ярецки стеснялся. Он обрадовался, когда у одной из дверей, ведущих в зал, встретил сестру Матильду: "О, сестричка, вы тоже не танцуете?"

"Почему же, танцую, не хотите ли попробовать, лейтенант Ярецки?"

"Пока у меня нет этой штуки, протеза, вряд ли со мной можно начинать что-либо приличное... только пить и курить... сигарету, сестра Матильда?"

"Ах, и о чем вы только думаете, я ведь здесь на службе".

"Ага, танцевать, значит, входит в круг ваших служебных обязанностей, тогда будьте столь великодушны и позаботьтесь заодно о бедном одноруком инвалиде... присядьте-ка на минутку со мной".

Слегка грузновато Ярецки опустился за ближайший столик.

"Вам нравится здесь, сестричка?"

"О, здесь очень мило".

"А мне, честно говоря, не нравится".

"Да люди просто веселятся, и почему бы им не позволить это".

"Знаете, сестра, я, наверное, немножко уже перебрал... но

¹ Танненберг (сейчас — Стембарк) — населенный пункт в Северной Польше (бывшая Восточная Пруссия). В немецкой литературе битвой у Танненберга называют Грюнвальдскую битву (1410 г.).

это ничего не значит... я вам говорю, что эта война никогда не кончится... или вы так не думаете?"

"Ну, в конце концов она наверняка должна закончиться..."

"И что мы будем тогда делать, если не будет никакой войны... если некому будет поставлять калек, чтобы вы о них заботились?"

Сестра Матильда задумалась: "После войны... да, но вам-то известно, с чего нужно будет начинать. Вы ведь говорили уже о месте..."

"Со мной дело обстоит немного по-другому... я воевал... убивал людей... простите, это вполне может казаться безумием, но дело-то ведь яснее ясного... я конченный человек... но здесь множество других...— он обвел рукой сад,— приходит их черед, и этого не избежать... русские вон уже вынуждены формировать женские батальоны..."

"Вы на кое-кого можете прямо страху нагнать, господин лейтенант Ярецки".

"Я? Нет... я уже готов... иду домой... ищи меня, жenuшка... каждую ночь одна и та же... я ведь... мне кажется, я все-таки нажрался, сестра... но видите ли, это нехорошо, что человек одинок, это очень нехорошо, что человек одинок... так говорили еще в Библии. Ну а о Библии вы ведь высокого мнения, сестра".

"Ну так что, господин лейтенант Ярецки, не хотите ли отправиться домой? Кое-кто из наших уже тоже готов в путь... так вы могли бы вместе с ними..."

Она ощутила пропитанное алкоголем дыхание на своем лице: "Я, я говорил вам, сестра, что война не может закончиться, поскольку человек там совершенно одинок... поскольку подходит очередь то одного, то другого быть в этом одиночестве... и каждому, кто пребывает в одиночестве, приходится убивать других... Вы думаете, что я слишком много выпил, сестра, но вы же знаете, что меня не так просто свалить... и нет надобности укладывать меня в кровать... но то, что я вам говорю,— прав-

да.— Он поднялся. — Смешная музыка. Никак не пойму, что они там танцуют, не посмотреть ли нам немножко?"

Доброволец доктор Эрнст Пельцер из минометного отделения столкнулся со спешащим Хугюнау: "Вот те на, господин старший церемониймейстер... Вы же прямо как смерч... и все за дамочками".

Хугюнау пропустил сказанное мимо ушей; с видом радостной значимости он показал на двух господ в черных сюртуках, которые как раз вошли в праздничный сад: "Прибыл господин бургомистр!"

"Ага, эта дичь будет получше. Ну, тогда удачной дальнейшей охоты и ни пуха ни пера, благородный охотник..."

"К черту, к черту, господин доктор",— рассеянно кинул через плечо Хугюнау и приготовился к официальной приветственной речи.

Старший полковой врач Куленбек принадлежал к тем, кого посадили за столом для уважаемых лиц. Но долго он там не задержался.

"Бегу за удовольствиями,— сообщил он,— мы — наемники в захваченном городе".

Он направился к группе молоденьких девушек с высоко поднятой головой и с оттопырившейся, торчащей чуть ли не параллельно земле бородкой. Проходя мимо стрелка Кнеезе, который стоял, прислонившись к дереву, с застывшим на лице выражением печали и скуки, он хлопнул его по плечу: "Эй, тоскуете по своей слепой кишке? Вы — отличные наемники здесь, чтобы делать женщинам детей. Не остается ничего другого, как краснеть за вас, лопух вы эдакий. Вперед, шляпа!" "Слушаюсь, господин старший полковой врач",— отчеканил Кнеезе, вытянувшись всем телом.

Куленбек взял под руку БERTУ Крингель, прижав к себе ее локоть: "Теперь я с каждой из вас пройду по кругу. Та, которая будет танцевать лучше всех, получит от меня поцелуй".

Девушки завизжали, Берта Крингель пыталась вырваться от него. Но когда он обхватил своей мягкой мужской лапищей ее ручку с маленькими пальчиками, ручку девушки простого происхождения, то он ощутил, как ослабели ее пальчики и как вжались они в его плоть.

"Вы, значит, не хотите танцевать. Все, наверное, боитесь меня. Хорошо, тогда я отведу вас к лотерейному столику — маленьким детям хочется поиграть".

Лисбет Вегер выкрикнула: "И все-то вы смеетесь над нами, господин старший полковой врач. Старшие полковые врачи не танцуют".

"Ну, Лисбет, ты меня еще узнаешь".

И старший полковой врач Куленбек схватил за руку Лисбет.

Когда они стояли у лотерейного стола, подошла госпожа Паульсен, супруга аптекаря Паульсена, она стала рядом со старшим полковым врачом Куленбеком и прошептала побелевшими губами: "И не стыдно тебе... с этими малолетками".

Крупный мужчина слегка испуганно взглянул из-за пенсне, затем улыбнулся: "О, уважаемая госпожа, вы получаете большой приз".

"Благодарю", — ответила госпожа Паульсен и удалилась.

Лисбет Вегер и Берта зашушукались: "Ты видела, как она строила глазки?"

Хотя присутствие Хайнриха в определенной степени сломало ее затворническую жизнь, Ханна Вендлинг поехала на праздник без особой охоты. Но адвокат Вендлинг, являясь выдающимся гражданином города и офицером, чувствовал себя обязанным побывать там. Выехали они вместе с Редерсами.

Они сидели в зале; с ними был доктор Кессель. Сбоку располагался стол для уважаемых лиц, он был накрыт белой скатертью и украшен цветами и гирляндами из зелени; за ним восседали бургомистр и майор, свое место имел там и господин редактор Хугюнау. Заметив вновь прибывших, он направился к ним. В петлице торчал значок организационного комитета,

но еще сильнее бросалось в глаза сияющее выражение его лица. Не обратить внимания на столь достойную фигуру, как господин Хугюнау, не мог никто. Хугюнау, конечно же, давным-давно было известно, кто перед ним; госпожа Вендлинг встречалась ему на улице довольно часто, а узнать остальное не составляло труда.

Он держал курс на доктора Кесселя: "Могу ли я, многоуважаемый господин доктор, попросить вас оказать мне особую честь и представить меня господам?"

"Да, конечно".

"Особая честь для меня, особая честь,— продолжал господин Хугюнау,— какая исключительная честь; достопочтенная госпожа живет ведь столь уединенно, и если бы не предельно счастливый случай, что господин супруг приехал в отпуск, то нам бы наверняка не было бы оказано удовольствие приветствовать вас здесь, в нашем кругу".

"Война сделала меня нелюдимою",— подумала Ханна Вендлинг.

"Это же несправедливо, уважаемая госпожа. Как раз в такие трудные времена человеку требуется что-то для улучшения настроения... я надеюсь, господа останутся потанцевать здесь".

"Увы, моя супруга немного устала, так что нам, наверное, придется скоро уйти".

Хугюнау казался откровенно обиженным: "Но, господин адвокат, вы и уважаемая госпожа дарите нам один-единственный раз такое удовольствие, такая прелестная женщина украшает наш праздник, это ведь с благотворительной целью, и господину старшему лейтенанту следует, наверное, в порядке исключения закрыть глаза и пропустить милость впереди закона".

И хотя госпоже Ханне Вендлинг была совершенно понятна пустота такого рода болтовни, она приподняла вуаль и сказала: "Ну что же, исключительно из уважения к вам, господин главный редактор, мы побудем здесь еще немножко".

Посредине сада для солдат соорудили большой длинный

стол, и "Мозельданк" подарил им бочонок пива, стоявший на высоком табурете рядом. Пиво давно уже было выпито, но некоторые из солдат все еще толкались вокруг пустого стола. К ним снова присоединился Кнеезе, рисовавший пальцем орнаменты на подсохших пятнах разлитого на деревянную крышку стола пива: "Старший полковой сказал, что мы должны делать им детей".

"Кому?"

"Девочкам здесь".

"Скажи ему, что ему надо было нам показать, как это делается".

Взрыв хохота, скорее похожего на ржание.

"Он уже при деле".

"Отпустил бы уж лучше нас к нашим бабам".

Дуновение ночного ветерка раскачивало цветные фонарики.

Ярецки в одиночестве бродил по саду. Встретив госпожу Паульсен, он отвесил поклон: "В таком одиночестве, красавица".

"Да и вы тоже не с дамой под ручку, господин лейтенант", — ответила госпожа Паульсен.

"Что касается меня, то это пустое, для меня уже все позади".

"А не испытать ли нам наше счастье в лотерее, господин лейтенант?" — госпожа Паульсен взяла Ярецки под правую здоровую руку.

Хугюнау подошел к старшему полковому врачу Куленбеку, который совершал прогулку под деревьями с Лисбет и Бертой.

Хугюнау поприветствовал их: "С праздником вас, господин старший полковой врач, с праздником, мои юные дамы".

И ушел.

Старший полковой врач Куленбек по-прежнему держал в больших и теплых ручищах ручки девушек с маленькими пальчиками: "Вам нравится этот элегантный молодой человек?"

"Не..." — захихикали обе девушки.

"Да? А почему нет?"

"Тут есть другой".

"И кто же, например?"

"Там, напротив, с госпожой Паульсен гуляет лейтенант Яречки", — стыдливо пролепетала Берта.

"Давай оставим их в покое, — сказал старший полковой врач, — с тобой пойду я".

Оркестр заиграл туш. Хугюнау стоял рядом с капельмейстером на оркестровой площадке, половина которой находилась в зале, а другая половина, как павильон, выходила в сад.

Сложив молитвенно ладони, Хугюнау крикнул в сад гостям, сидевшим за столиками: "Прошу тишины".

В саду и зале воцарилась тишина.

"Прошу тишины", — в наступившем молчании голос Хугюнау прозвучал, словно карканье. К нему на подиум поднялся капитан фон Шнаак, имевший зажившее уже огнестрельное ранение легких и лежавший в четвертой палате, и раскрыл лист бумаги: "Победа под Амьеном¹. 3700 англичан попали в плен, сбито три самолета противника, из них — два капитаном Бельке, это были 22-я и 23-я его победы в воздушных боях".

Капитан фон Шнаак поднял руку: "Ура, ура, ура!" Оркестр заиграл "Германия превыше всего"². Все встали; большинство пыталось подпевать. Когда затихли последние аккорды песни, из затененного угла сада донеслось: "Ура, ура, ура, да здравствует война!"

¹ В действительности — поражение, поскольку в ходе Амьенской операции, проведенной с 8 по 13 августа 1918 г., 4-я английская армия и 1-я французская армия прорвали фронт 2-й германской армии восточнее Амьена, положив начало военному поражению Германии. Генерал Людендорф назвал 8 августа "черным днем германской армии".

² Песня "Германия превыше всего" стала впоследствии гимном Германии (с 1922 г.). Строка "Германия превыше всего" сохранилась в третьей строчке национального гимна ФРГ.

Все обернулись.

Там сидел лейтенант Ярецки. Перед ним стояла бутылка шампанского, и он пытался обнять госпожу Паульсен своей здоровой рукой.

Стены зала были украшены портретами полководцев и правителей союзных держав, дубовыми листьями и бумажными гирляндами; все вокруг было задрапировано полотнищами знамен. Патриотически-представительская часть праздника была завершена, и Хугюнау мог посвятить себя удовольствию. Он всегда был хорошим танцором, всегда тешил себя мыслью, что, невзирая на пухлую нижнюю часть своего тела, мог выделять изящные па; но здесь это было нечто большее, чем гибкость и подвижность маленького полненького человечка, здесь, перед глазами полководцев, это был танец по случаю победы.

Танцор потерял ощущение реальности мира. Слившись с музыкой, он отказался от свободы своих действий и растворился в более высокой и светлой свободе. Следуя ведущему его жесткому ритму, он ощущал себя в полной безопасности и словно растворился в этой свободе. Так музыка превращает единство и порядок в состояние неразберихи, приводит их в мир хаоса. Отменяя время, она отменяет смерть, позволяя ей тем не менее возникать по-новому в каждом такте, даже в тактах того скучного и затянутого попури, которое звучит здесь и, называясь "Со всех музыкальных берегов", чередует в ярком фейерверке отечественные мелодии с чужими танцами, такими как кекуок, мачиче и танго. Дама танцора тихонько напевает мелодию, распевшись, она не замечает, как поет все громче и громче. Ее трогательный и необученный голос произносит простые и грубоватые слова, которыми она владеет безукоризненно, и они струятся по его лицу, сливаясь с ее ласковым дыханием, которое он ощущает, наклоняясь к ней под мелодию танго. Но вот танцор напрягается снова, его застывший и суровый взгляд излучает сквозь стекла очков пробудившуюся ярость, он смотрит вдаль, а когда музыка переходит в темп героического

марша, танцор и танцовщица смело движутся навстречу мощи противника; вдруг они вместе с ритмом переходят к лукаво раскачивающемуся уанстепу, перебирают ногами, странно покачиваясь, почти не передвигаясь, на одном месте, и так до тех пор, пока снова не накатываются размашистые волны танго, шаги опять становятся по-кошачьи мягкими, а корпус и бедра — упругими. Когда они оказываются возле стола для уважаемых лиц, где за вазами с цветами сидят майор с бургомистром, то танцор мягким изящным жестом берет со стола бокал — ведь он и сам относится к группе уважаемых лиц — и, не прерывая танец, словно канатоходец, который улыбается и как бы между прочим трапезничает высоко в воздухе, выпивает за здоровье сидящих за столом.

Он почти не ведет партнершу; правая рука, галантно охваченная платочком, застыла ниже очаровательного выреза на спине, левая же расслабленно свисает вдоль тела. И лишь когда музыка переходит в ритм вальса, тогда происходит соединение свободных рук, они напрягаются, накладываясь друг на друга, и переплетя пальцы, пара пускается в водоворот вальса. Когда он окидывает взглядом зал, то видит, что число танцующих ничтожно мало. Кроме них, танцует еще одна-единственная пара, она приближается, проскальзывает мимо, удаляется, скользит вдоль стен. Остальные довольствуются ролью зрителей; не способные танцевать эти иностранные танцы, они удивляются. Когда музыка затихает, зрители и танцоры аплодируют, и музыка начинает звучать снова. Это где-то даже похоже на соревнование. Хугюнау не видит свою партнершу, которая под воздействием танца откинула назад голову и отдалась его сильной, хотя и едва уловимой способности вести, он не замечает, что музыка возбудила в его даме то очаровательное и напористое искусство соблазнения, ту ваххическую женственность, которая навсегда остается непознанной супругом дамы, ее любовником, да и ею самой, он не видит также экстатической улыбки, с которой другая дама, оскалив зубы, вцепилась в своего партнера, в поле его зрения лишь ее партнер, он видит

только этого танцора-противника, этого сухощавого агента по продаже вина во фраке с черным галстуком и Железным Крестом, который затмевает его самого, в чьем распоряжении лишь голубого цвета костюм. Точно так же здесь мог танцевать сухощавый Эш, и поэтому, дабы отнять у него женщину, Хугюнау начинает пристально смотреть в глаза проплывающей рядом с ним танцовщицы, он смотрит до тех пор, пока она не отвечает на его взгляд, даря себя ему, теперь он, Вильгельм Хугюнау, обладает обеими женщинами, он обладает ими, не желая их, поскольку для него дело не в благосклонности женщин, пусть даже он сейчас этого добивается,— дело не в любовных утехах, гораздо в большей степени этот праздник и этот просторный зал сосредоточиваются вокруг накрытого белой скатертью стола, и его мысли все настойчивей направляются к красивому майору с седыми усами и бородкой, который сидит напротив и смотрит на него, на Вильгельма Хугюнау: он — воин, танцующий перед своим вождем.

Но глаза майора наливаются все большим возмущением. Зал с мужчинами, которые бесстыдно раскачиваются, бесстыдно подпрыгивают, еще более бесстыдно, чем прилипшие к ним женщины, это было похоже на бордель, это была преисподняя. И то, что война сопровождается такими празднествами по случаю победы, делало саму войну кровавым искаженным отображением разврата. Возникло впечатление, что мир ослеп, перестал различать лица, оказался в болоте неразличимого, болоте, из которого нет спасения. Охваченный ужасом, майор фон Пазенов поймал себя на мысли, что он, прусский офицер, с преогромным удовольствием сорвал бы со стены полотнища знамен, и не потому, что они были осквернены этой праздничной мерзостью, а потому, что они каким-то непостижимым образом были связаны с отвратительностью и отпечатком преисподней, с непостижимостью, за которой скрывается все неблагородство нерыцарского оружия, предательских друзей и вероломно разорванных союзов. И в странной окаменевшей неподвижности в нем с ужасающей силой нарастало жела-

ние уничтожить это демоническое племя, искоренить его, увидеть его сокрушенным у собственных ног. Но над этим племенем подобно взгромоздившейся горной гряде, подобно тени горной вершины на стене величественно и неподвижно застыл образ друга, вероятно, образ Эша, серьезный и торжественный, и майору фон Пазенову показалось, что именно другу нужно, чтобы зло было сокрушено и отправлено в небытие. И майор фон Пазенов с тоской вспомнил вдруг о брате.

Сестра Матильда искала старшего полкового врача Куленбека. Она нашла его среди уважаемых лиц города. Там были торговец Крингель, владелец забегаловки и торговец мясными изделиями Квинт, архитектор господин Зальцер, директор почты господин Вестрих. Их жены с дочерьми сидели рядом.

"На одну минуточку, господин старший полковой врач".

"Еще одна дамочка, посягающая на меня".

"Только на одну минуточку, господин старший полковой врач".

Куленбек поднялся: "Что стряслось, дитя мое?"

"Нужно забрать отсюда лейтенанта Ярецки..."

"Так, ему наверняка будет в самый раз".

Сестра Матильда утвердительно улыбнулась.

"Хотелось бы взглянуть на него".

Ярецки, расположив здоровую руку на столе, положил на нее свою голову и спал.

Старший полковой врач посмотрел на часы: "Меня сменяет Флуршютц. Он с машиной будет здесь с минуты на минуту. Нужно будет, чтобы он его забрал".

"И можно оставить его здесь так вот спящим, господин старший полковой врач?"

"А все равно ничего другого не остается. На войне как на войне".

Доктор Флуршютц, прищурив слегка воспаленные глаза, осмотрел сад. Затем он направился в зал. Майор и другие ува-

жаемые лица уже оставили праздник. Длинный стол убрали, и весь зал оказался в распоряжении танцующих, плотные тела которых, дымя, потея и скользя, двигались по кругу.

Это продолжалось до тех пор, пока он не обнаружил старшего полкового врача; с серьезным выражением на лице, оттопыренной бородкой, Куленбек кружился в вальсе с аптекаршей, госпожой Паульсен. Флуршютц дождался конца танца, а потом доложил о своем прибытии.

"Ну, наконец Флуршютц. Вот таким вы видите сейчас своего уважаемого начальника, своей нерадивостью вы вынудили его к этим детским развлечениям. Так что теперь вам ничего не поможет; если танцует старший полковой врач, то старший врач должен последовать его примеру".

"Господин старший полковой врач, вынужден нарушить субординацию, но я не танцую".

"И это называется молодежь... Мне кажется, что я здесь моложе вас всех. Но сейчас я ухожу, затем пришлю вам машину. Прихватите с собой Ярецки; пока что он мертвецки пьян. Одна из сестер поедет со мной, другая — с вами".

В саду он разыскал сестру Карлу: "Сестра Карла, я забираю вас вместе с четырьмя пациентами с ранениями ног. Соберите их, но только живо".

Затем он разместил свой "груз". Три человека расположились на заднем сидении, сестра Карла и один пациент сели на переднее, а он сам занял место рядом с шофером. В темноте торчали семь костылей (восьмой валялся где-то в машине). Черный шатер неба был усеян звездами. Пахло бензином и пылью. Но время от времени, особенно на поворотах, ощущалась близость леса.

Ярецки приподнялся. Ему казалось, что он уснул в купе. Теперь поезд стоял на большой станции; Ярецки захотелось в буфет. На платформе было много людей и фонарей. "Воскресная толчея", — пробормотал Ярецки. Ему стало холодно. Все дело в желудке. Кое-что горяченькое было бы ему очень

кстати. Вдруг он обнаружил, что у него нет левой руки. Наверное, в багажной сумке. И он двинулся между столиками и людьми. У лотерейного столика он остановился.

"Стаканчик грога",— распорядился он.

"Хорошо, что вы здесь,— сказала сестра Матильда доктору Флуршютцу,— с Ярецки сегодня будет не так-то просто справиться".

"Да уж справимся, сестра. Хорошо повеселились?"

"О да, было вполне весело".

"Не кажется ли вам, сестра, что все это немного таинственно?"

Сестра Матильда, пытаясь понять смысл сказанного, в ответ промолчала.

"Ну, раньше вы могли бы себе представить что-нибудь подобное?"

"Это немного напоминает наши праздники по случаю освящения храма".

"Слегка истерическое освящение храма".

"Да, может быть, доктор Флуршютц".

"Пустые формы, которые еще живут... внешне выглядят как какое-то там освящение храма, но люди больше не знают, что с ними происходит..."

"Все еще уладится, господин доктор".

Она стояла перед ним, стройная и пышущая здоровьем.

Флуршютц покачал головой: "Еще никогда ничего не улаживалось... а уж тем более Страшный Суд... ведь все так похоже, разве нет?"

"И о чем вы только думаете, доктор!.. Но нам нужно собрать своих пациентов".

Возле музыкального павильона бесцельно бродящего Ярецки остановил доброволец доктор Пельцер: "Господин лейтенант, такое впечатление, будто вы что-то ищете".

"Да, стаканчик грога".

"Это просто замечательная идея, господин лейтенант, зима на носу, я сейчас принесу стаканчик грога... но только вы пока присядьте". Он убежал, а Ярецки уселся на стол и начал болтать ногами.

Намереваясь покинуть торжество, мимо него проследовали доктор Вендлинг с супругой. Ярецки поприветствовал их: "Прошу прощения, позвольте представиться, господин старший лейтенант: лейтенант Ярецки, восьмой гессенский пехотный батальон, группа армий "Кронпринц", потеря левой руки вследствие поражения газом под Арментьером".

Вендлинг кинул на него отчужденный взгляд: "Очень приятно,— сказал он,— старший лейтенант доктор Вендлинг".

"Дипломированный инженер Отто Ярецки",— Ярецки почувствовал себя обязанным дополнить свое представление, при этом он навытяжку стоял перед Ханной, чтобы показать, что его представление касалось также и ее.

Ханна Вендлинг сегодня уже имела возможность удивляться многим вещам. Любезным тоном она сказала: "Но то, что случилось с вашей рукой, просто ужасно".

"Так точно, моя милостивая госпожа, ужасно, но справедливо".

"Ну, ну, уважаемый друг,— вмешался Вендлинг,— тут все-таки не приходится говорить о справедливости".

Ярецки поднял палец: "Речь не о юридической справедливости, уважаемый друг... Мы обрели новую справедливость, что значит для человека такое количество членов, если он одинок. Это вы наверняка будете вынуждены признать, моя милостивая госпожа".

"Доброго вам вечера",— сказал Вендлинг.

"Жаль, ужасно жаль,— отпарировал Ярецки,— но, естественно, каждый обречен на свое одиночество. Доброго вечера, господа". И он снова повернулся к своему столу.

"Любопытный человек",— сказала Ханна Вендлинг.

"Нализавшийся дурак",— отрезал ее супруг.

Подошел доброволец Пельцер с двумя бокалами грога и составил ему компанию.

Хугюнау спешил из танцевального зала. Вытер пот со лба, заправил платочек в воротник.

Его остановила сестра Матильда: "Господин Хугюнау, не могли бы вы нам помочь собрать в одну кучу наших пациентов?"

"Почту за честь, милостивая государыня, мне заказать туш?" — он уже намерился было идти к оркестру.

"Нет, нет, господин Хугюнау, не поднимайте такую большую шумиху, обойдемся и без этого".

"Как будет угодно. Великолепный праздник получился, не так ли, милостивая государыня? Сам господин майор высказался более чем в положительном тоне".

"Конечно, красивый праздник".

"Господин старший полковой врач, кажется, остался тоже более чем доволен, был в прекрасном настроении. Могу я вас попросить отрекомендовать меня господину старшему полковому врачу? Он так поспешно оставил нас, я не смог его даже проводить".

"Пожалуйста, господин Хугюнау, может быть, вы объявите солдатам в танцевальном зале, что доктор Флуршютц и я ждем их у входа?"

"Будет сделано, будет немедленно сделано. Но то, что вы намереваетесь нас так скоро оставить, несправедливо, милостивая государыня. Надеюсь, вы все-таки повеселились с нами. Очень не хотелось бы, чтобы это было не так..."

И Хугюнау с заправленным в воротник платком поспешил обратно в зал.

"А как с офицерами, сестра?" — поинтересовался Флуршютц.

"Ах, о них больше нет необходимости заботиться, они наверняка сами найдут возможность добраться к себе".

"Прекрасно, что ж, кажется, все улаживается. Но от Ярецки нам никуда не деться".

Ярецки и доброволец доктор Пельцер все еще сидели в саду под оркестровой площадкой. Ярецки пытался рассмотреть фонарики сквозь коричневое стекло бокала из-под грога.

Флуршютц подсел к ним: "Как насчет того, чтобы отправиться баиньки, Ярецки?"

"С бабой пойду баиньки, без бабы — нет... все началось с того, что мужики стали спать без баб, а бабы — без мужиков... и это было плохо".

"Тут он прав", — сказал доброволец.

"Может быть, — согласился Флуршютц, — а вы пришли к этому выводу сейчас, Ярецки?"

"Да, именно сейчас... но знал я это уже давно".

"Этим вы, вне всякого сомнения, спасете мир".

"Да уж достаточно будет, если он спасет Германию..." — сказал доброволец Пельцер.

"Германию..." — повторил Флуршютц и посмотрел в опустевший сад.

"Германию... — еще раз сказал Пельцер, — тогда я пошел на фронт добровольцем... сейчас же я рад, что сижу здесь".

"Германию... — протянул Ярецки, по лицу которого покатились слезы. — Слишком поздно... — он вытер глаза, — Флуршютц, вы хороший парень, и я люблю вас".

"Это славно с вашей стороны, и я люблю вас... Не отправиться ли нам сейчас домой?"

"У нас нет больше дома, Флуршютц... мне бы хотелось попробовать найти его, женившись".

"Для этого сегодня уже тоже слишком поздно", — сказал доброволец.

"Да, Ярецки, поздно уже", — подтвердил Флуршютц.

"Для этого дела никогда не бывает поздно, — взвыл Ярецки, — но ты мне оттяпал ее, ты, сволочь".

"Ну, Ярецьки, теперь самое время, чтобы вы в конце концов малость пришли в себя..."

"Если ты оттяпаешь ее мне, то я оттяпаю ее тебе... поэтому войне придется продолжаться вечно... а пробовал ли ты сделать все это ручной гранатой?..— он кивнул с серьезным видом.— Я пробовал... хорошие яйца, ручные гранаты... гнилые яйца".

Флуршютц взял его под руку: "Да, Ярецьки, вероятно, вы даже правы... да, и возможно, это действительно единственное средство взаимопонимания. Только теперь пойдете, мой друг".

У входа солдаты уже собрались вокруг сестры Матильды.

"Держитесь, Ярецьки",— сказал Флуршютц.

"Есть,— откликнулся Ярецьки, он подошел к сестре Матильде, стал по стойке "смирно" и отрапортовал: — Один лейтенант, один старший врач и команда в составе четырнадцати человек построены... позвольте доложить, что он мне ее оттяпал...— Он выдержал небольшую театральную паузу, а затем вытащил из кармана пустой рукав и начал размахивать им перед длинным носом сестры Матильды.— Чистый и пустой".

Сестра Матильда громко объявила: "Кто желает ехать, пусть едет; с остальными я пойду пешком".

Примчался Хугюнау: "Надеюсь, все в порядке, милостивая государыня, и мы в полном составе. Позвольте пожелать счастливо добраться домой..."

Он простился с сестрой Матильдой, с доктором Флуршютцом, с лейтенантом Ярецьки, с каждым из четырнадцати солдат персонально, при этом представляясь "Хугюнау".

История девушки из Армии спасения (10)

Чего я, собственно, хотел от Мари? Я приглашал ее к себе, она пела, я, стараясь держаться целомудренно, сватал ей Нухема, талмудиста, этого, следует, наверное, сказать, талмудиста-отщепенца, и я опять позволял ей уйти, укрыться в стенах ее серого приюта. Чего я хочу от нее? И почему она соглашается на эту игру? Она хочет спасти мою душу, может, она хочет взвалить на себя бесконечную, по сути своей невыполнимую задачу — поймать талмудистскую душу еврея, передать ее Иисусу? Впрочем, что он себе думал, этот Нухем? Казалось, я полностью прибрал к рукам двоих людей, и тем не менее я не знал ничего о них, не знал, что они думают и что будут есть сегодня за ужином; человек настолько одинок, что никто, даже сам Господь Бог, сотворивший его, ничего о нем не знает.

Положение дел беспокоило меня чрезвычайно сильно, тем более, что я мог представить себе Мари только как существо, которое до самого края заполнено песнями и цитатами из Библии. В своей обеспокоенности я отправился в приют. Мне пришлось прийти дважды, прежде чем я смог ее встретить. Она была в миссии для больных и всегда возвращалась домой только вечером. Итак, я расположился в приемной, рассматривая цитаты из Библии на стене, рассматривал портрет генерала Бута¹ и обдумывал еще раз все возможности. Я вспоминал свою первую встречу с Мари, случайную встречу с Нухемом, я вызывал в своем воображении все, что произошло с тех пор, я старался запомнить все очень точно, не исключая того, что происходило в данный момент; осматривая с большим вниманием приемную, я ходил по комнате, которую уже начали медленно заполнять сумерки, поскольку испортилась погода; на улице упали первые тяжелые капли дождя, и проникновение темноты в комнату ускорилось. Я спросил себя, не сохранить

¹ Вильям Бут (1829—1912) — основатель и первый генерал Армии спасения.

ли в своей памяти и двух стариков, которые, подобно мне, сидели в этой комнате, я запомнил их — к чему рисковать. Они выглядели очень уставшими, невозможно даже понять, о чем они думали, для них я был пустым местом.

Мари пришла уже поздно. Обоих стариков увели, и в моей душе даже шевельнулся какой-то страх, что со мной могут поступить точно так же. В плохо освещенном помещении она узнала меня не сразу. "Благослови вас Господь", — произнесла она. Я ответил: "Это как притча". Теперь, узнав меня, она ответила: "Это не притча. Пусть благословит вас Господь". На что я сказал: "У нас, у евреев, все — притчи". Она ответила мне на это: "Вы не еврей". На что я возразил: "Хлеб и вино не меньшая притча; к тому же я живу вместе с евреями". "Наш приют постоянно с Господом", — сказала она. Так было правильно, так я представлял ее себе, на все — высказывания из Библии. Теперь она снова была в моем распоряжении, и я повысил голос: "Я запрещаю вам когда-либо впредь заходить в мою еврейскую квартиру", но это прозвучало здесь бессмысленно, наверняка нужно, чтобы она снова побывала у меня, дабы можно было рассудительно поговорить с ней. Я улыбнулся и сказал: "Шутка, увy, шутка". И хотя мне удалось спастись таким образом от своих собственных слов, переметнувшись к словам чужака, словам чуждого народа, подавшись под покровительство чужого бога, это не помогло, я не смог обрести свою уверенность снова — может быть, я действительно был очень уж измучен ожиданием, стал дряхлым, как те два старика, которых в конечном итоге вывели из приемной, был унижен ожиданием, творение вместо творца, низвергнутый Бог. Чуть ли не униженным тоном я произнес: "Мне хотелось предотвратить ваши неприятности, доктор Литвак обратил мое внимание на их возможность". Это, впрочем, было перекручиванием реального положения дел, поскольку тот ведь опасался неприятностей только для Нухема. И призывать столь смешное полусвободомыслие себе в свидетели! Худшего оскорбления моему чувству собственного достоинства я не мог бы найти. То, что она ответила

мне, было столь простодушным: "Кто в радости, тому не страшны никакие неприятности". После этого оскорбления у меня кончилось терпение, и я не заметил, что теперь, собственно, улаживаю дела бабушки и доктора Литвака. "Тебе не следует больше иметь дело с молодым евреем, у него толстая жена и куча детей". О, если бы я только мог прочитать, что творится у нее в душе, если бы я мог знать, задел ли и ранил ли я ее этим, раскрыть нараспашку ее сердце, которое утверждает, что оно в радости; но никакого волнения я не заметил, может, она вообще ничего не поняла. Она просто сказала: "Я хочу к вам прийти. И мы будем петь". Я сдался. "Мы можем пойти прямо сейчас", — ответил я, все еще храня остатки надежды на то, что еще смогу определять ее путь. Она отказалась: "Большое спасибо, но мне еще раз нужно навестить своих больных".

Мне не оставалось ничего другого, как отправиться домой. Шел слабый мелкий дождик. Впереди вышагивала очень молодая парочка; они шли, взявшись за руки и размахивая ими в такт ходьбы.

62

РАСПАД ЦЕННОСТЕЙ (8)

Религии возникли из сект и распадаются снова на секты, возвращаются к своим истокам, прежде чем распадутся полностью. В начале христианства стояли отдельные культы Христа и Митры¹, а в конце существуют гротескные американские секты, Армия спасения.

Протестантизм — это первый случай образования крупной секты в ходе распада христианства. Секта — это не новая рели-

¹ Митра — в древневосточных религиях бог дневного света и покровитель мирных, доброжелательных отношений между людьми, один из главных индоиранских богов.

гия, поскольку отсутствует важнейший признак новой религии: новая теология, которая соединяет новую космогонию с новым переживанием Бога, трансформируя все в новую целостность мира. А протестантизм, недедуктивный и нетеологический по своей сути, отказывается выходить за пределы автономного внутреннего переживания Бога.

Обновление Канта в качестве последовавшей потом протестантской теологии хотя и взяло на себя задачу придать новому позитивистски-научному содержанию религиозно-платоническое наполнение, но было далеко от того, чтобы стремиться к общности ценностей по католическому образцу.

Защита от прогрессирующего распада католицизма на секты была организована иезуитами Контрреформации¹ путем драконовской, прямо-таки военной централизации ценностей. Это было время, когда на службу церкви были поставлены даже остатки старых языческих народных обычаев, когда народное искусство познало свое католическое преломление, когда церковь иезуитов развернулась в неслыханной пышности, стремясь и достигая экстатического единства, которое хотя и не было больше пропитано символами единства готики, но наверняка представляло собой его героико-романтическое отражение.

Протестантизму пришлось обходиться без такой защиты от дальнейшего распада на секты. Его позиция по отношению к внерелигиозным областям ценностей была позицией не приобщения, а позицией терпимости. Он пренебрегал внерелигиозной "помощью", поскольку его аскетическое требование ориентируется на радикальное внутреннее переживание Бога. И

¹ Контрреформация — церковно-политическое движение в Европе в середине XVI—XVII вв. во главе с папством, направленное против Реформации. В основу программы Контрреформации легли решения Тридентского собора (1545—1563 гг.). Главные орудия Контрреформации — инквизиция и монашеские ордена.

если для него экстатическая ценность тоже была первопричиной и высшим смыслом религиозного, то эта ценность с абсолютной строгостью могла чисто, непоколебимо и автономно добываться из самой религиозной области ценностей.

Позиция строгости — это позиция, с которой протестантизм регулирует свое отношение к внерелигиозным земным областям ценностей, которыми он и сам стремится обеспечить свое земное и церковное состояние. Чисто и однозначно сориентированный на Бога, он ссылается на единственную имеющуюся в наличии эманацию Бога — на Священное Писание, и привязанность к Писанию поднимается до уровня высшего земного долга, на который переносится вся радикальность, вся строгость протестантского метода.

Самая основная протестантская идея: императив долга. Полная противоположность католицизму: внешние жизненные ценности не обращаются в веру, не подвергаются теологической канонизации, они просто находятся под строгим и почти повседневым контролем при помощи Писания.

Если бы протестантизм пошел по другому, католическому пути, чтобы со своей стороны достичь протестантского общего Органона ценностей, как это представлялось, например, Лейбницу, он, возможно, оказался бы не менее эффективно чем католицизм защищенным от дальнейшего отслоения сект, но ему пришлось бы в силу обстоятельств отказаться от своей собственной сущности. Он находился и находится в положении революционной партии; существует опасность идентифицировать себя со старым государством, против которого ведется борьба, если она прибегнет к его средствам власти. Выдвинутый Лейбницу упрек в криптокатолицизме не был таким уж безосновательным.

Нет строгости, за которой не стоял бы страх. Но страх пе-

ред распадом на секты был бы слишком уж незначительным мотивом, чтобы объяснить протестантскую строгость. И бегство в догматическую верность, бегство к Писанию пропитано страхом перед Богом, тем страхом, что пробивается из *roenitentia*¹ Лютера, тем "абсолютным" страхом перед "ужасом" абсолютного, который пережил Киркегаард² и в котором "с печалью господствует" Бог.

Возникает впечатление, словно бы протестантизм своей привязанностью к Писанию стремится сохранить последнее дыхание языка Бога в мире, который застыл в языке вещей, превратившись в немоту и ужас абсолютного,— и в Божьем страхе протестант узнает, что это есть собственная цель, которая наводит ужас. Поскольку с исключением всех областей ценностей, с радикальной отсылкой к автономному переживанию Бога предпринимается последняя абстракция, логическая чрезмерная строгость которой недвусмысленно стремится приблизиться к отмене любого религиозно-земного содержания веры, к абсолютному обнажению веры, не оставляя ничего, кроме чистой формы, чистой, лишенной содержания и нейтральной формы "религии в себе", "мистики в себе".

Бросается в глаза совпадение с религиозной структурой иудаизма: может быть, здесь процесс нейтрализации переживания Бога, освобождения мистического от всего чувственно-земного, устранения всей "внешней" экстатической помощи продвинулся еще дальше, может быть, здесь уже достигнуто едва переносимое человеком приближение к холоду абсолютного, но здесь в качестве последнего права привязанности к религиозно-земному также существует вся строгость и чрезмерная педантичность Закона.

Это совпадение в процессе осознания, это соответствие

¹ Раскаяние (лат.).

² Сорен Киркегаард (1813—1855) — датский теолог, писатель и философ.

форм веры, воздействие которых может простирается вплоть до часто упоминаемого совпадения характерных черт, присущих ортодоксальным евреям, с чертами, присущими кальвинистским швейцарцам или пуританским англичанам, это соответствие, естественно, напоминает нам об определенной схожести с внешними проявлениями: протестантизм как революционное движение, иудаизм как угнетенное меньшинство, и то и другое в оппозиции, это позволяет даже сказать, что сам католицизм, оказавшийся в меньшинстве, как хотя бы в Ирландии, проявляет аналогичные черты. Но католицизм такой пробы имеет так же мало общего с римским католицизмом, как и исконная протестантская идея с римскими тенденциями внутри High Church¹. Произошло просто переворачивание признаков. Впрочем, как всегда, производится толкование эмпирических фактов, но ценность их разъяснения низка, ибо не было бы фактов, если бы за ними не стояло решающее переживание Бога.

В этом ли эта безмолвная, радикальная и безорнаментная религиозность, в этом ли эта подчиненная строгости и только строгости бесконечность, определяющая стиль новой эпохи? Лежит ли в этой чрезмерной строгости Божественного провозглашение отодвинутой в бесконечную даль точки приемлемости? Нужно ли в этом раздроблении всего содержательно-земного видеть корни раздробления ценностей? Да.

Еврей, в силу абстрактной строгости своей бесконечности, современный, "самый прогрессивно мыслящий" человек, образец всему: он тот, кто отдает себя с абсолютной радикальностью однажды избранной области ценностей и профессиональных занятий, он тот, кто возвышает "профессию", приобретенную профессию, которая стала для него случайностью, до неведомой доселе абсолютности, он тот, кто без привязанности к другой области ценностей и с безусловной преданностью сво-

¹ "Высокая церковь" (англ.) — ортодоксальная англиканская церковь.

ему делу поднимается до высшей духовной силы и унижается до самой животной порочности в материальном — в зле, как и в добре, но всегда впадая в крайности; возникает впечатление, как будто поток абсолютно абстрактного, текущий уже две тысячи лет, подобно едва заметному ручейку гетто рядом с большой рекой жизни, должен стать теперь основным потоком; кажется, будто бы радикальность протестантской идеи сделала заразной всю плодотворность абстракции, которая в течение двух тысяч лет обеспечивала защиту невидимого и была ограничена минимумом необходимого, будто бы взрывообразно освободилась абсолютная способность расширяться, которая потенциально присуща чисто абстрактному и только ему, в результате чего было разорвано время и невидимый хранитель идеи стал парадигматической инкарнацией распадающегося времени.

Кажется, что для христианина имеется только две возможности: или пока еще существующее чувство защищенности в католической всеобщей ценности, в истинно материнском лоне церкви, или смелость взвалить на себя с абсолютным протестантизмом ужас перед абстрактным Богом — где такое решение не принято, там довлеет страх перед грядущим. Дело обстоит действительно так, что во всех странах нерешенности неизменно бродит и постоянно проявляет себя этот страх, пусть даже он находит свое выражение просто в виде страха перед евреями, перед евреями, чьи дух и образ жизни если и не узнаются, то все же ощущаются как ненавидимая картина грядущего.

В идее протестантского единого Органона ценностей живет, вне всякого сомнения, тоска по воссоединению всего христианства, по тому воссоединению, к которому стремился также Лейбниц: то, что он, охватывая все области ценностей своего времени, был вынужден делать это, воспринимается чуть ли не как необходимость, точно так же, как и то, что он, опередив свое

время на столетия, предсказал *lingua universalis*¹ логики и абстрактность *religio universalis*², переносить холодность которой был, наверное, способен только он, глубочайший мистик протестантизма. Но протестантская линия требовала прежде всего перемалывания всего; протестантской теологией стала философия не Лейбница, а Канта, и повторное открытие Лейбница осуществили примечательным образом католические теологи.

Все эти многочисленные образовавшиеся секты, которые откалывались друг за другом от протестантизма и наталкивались на кажущуюся терпимость с его стороны, которая свойственна любому революционному движению, двигались в определенном направлении, являясь скверной копией, уменьшением, упрощением старой идеи протестантского Органона ценностей, были настроены "контрреформаторски": не говоря уже о гротескных американских сектах, Армия спасения демонстрирует, например, не только присущую иезуитам Контрреформации военную организацию, но также совершенно четкую тенденцию к централизации ценностей, к сбору всех областей ценностей, показывает, как все народное искусство, вплоть до уличных песенок, снова направляется в религиозное русло и заносится в программу "экстатической помощи". Трогательные и недостаточные усилия.

Трогательные и недостаточные усилия, обманутые надежды спасти протестантскую идею от ужаса абсолютного. Трогательный призыв о помощи, призыв о "помощи" божественного сообщества, пусть оно даже будет ощущаться всего лишь скверной копией бывшего большого сообщества, поскольку перед дверью во всей строгости стоят немота, ужасность и нейтральность и призыв о помощи становится все более настоятельным со стороны тех, кто неспособен взвалить на себя грядущее.

¹ Универсальный язык (лат.).

² Универсальная религия (лат.).

Во второй половине воскресенья, которое последовало за праздником в "Штадтхалле", майор фон Пазенов, к своему собственному удивлению, решил воспользоваться приглашением Эша и посетить занятия по изучению Библии. Произошло это следующим образом: он, собственно, вообще не думал об Эше, а причиной этому послужила, наверное, прогулочная трость, он случайно увидел ее в кольце вешалки; прогулочная трость с белым наконечником из слоновой кости, которая неизвестно как попала в багаж и была, должно быть, до последнего времени спрятана в шкафу. Он знал эту трость уже целую вечность и тем не менее она была чужая. На какое-то мгновение майору фон Пазенову показалось, что нужно было бы одеть гражданскую одежду и навестить одно из тех сомнительных увеселительных заведений, куда офицерам заходить в форме не разрешается. В качестве, так сказать, пробы он не надел на пояс шагу, а взял в руку трость и вышел из гостиницы. Он задержался ненадолго перед зданием, затем направился в сторону реки. Он прогуливался медленным шагом, опираясь на трость, наверное, как раненый или больной офицер на курорте; в голове промелькнула мысль, что у трости отсутствует резиновый наконечник. Он незаметно для себя оказался за городом, и в душе шевельнулось ощущение свободы человека, который в любой момент может повернуть обратно. Он действительно вскоре повернул обратно — это было подобно счастливому и успокаивающему, но в то же время беспокоящему чувству обретения дороги домой, в то же время это было похоже на обещание, которое он должен выполнить как можно скорее, и он поспешил самым кратчайшим путем к дому Эша.

За прошедшие дни численность участников кружка увеличилась, а поскольку в теплое время года все равно не было необходимости в отапливаемом помещении, собрания проходили в одном из пустующих складов, использовавшихся когда-то в хозяйственных целях. Плотник, участник кружка, принес простые

скамейки; посредине комнаты стоял маленький стол со стулом. Поскольку в помещении не было окон, дверь оставлялась открытой, и майор, войдя во двор, сразу же понял, куда ему повернуть.

Как только в дверном проеме показалась фигура майора, входившего медленно, дабы дать возможность глазам привыкнуть к сумеркам, царившим в помещении, все сразу же встали; было похоже, что они ждали начальника, инспектирующего казармы; это впечатление усиливалось присутствием военнослужащих. Возвращение, пусть даже и условное, к привычному отдаванию чести ослабило ощущение необычности ситуации; все напоминало движение легкой, но тем не менее жесткой руки, возникало беглое ощущение только что возникшей опасности, и он приложил руку к головному убору.

Эш вскочил вместе с остальными; он проводил гостя к стулу за столиком, а сам остался стоять рядом — в определенной степени ангел, приблизившийся к нему, дабы хранить его. Майор, похоже, так и ощущал ситуацию, да, казалось, что этим уже достигнута цель его визита, как будто его окружает атмосфера защищенности, простое жизненное пространство, подобное обретенному пути домой. Даже окружившее его молчание напоминало самоцель — пусть бы так длилось вечно; никто не произносил ни слова, пространство, наполненное и странным образом опустошенное молчанием, казалось, вышло за свои собственные границы, а золотистый солнечный свет перед открытой дверью струился, подобно вечному и неизмеримому речному потоку. Никто не знал, как долго длилась молчаливая неподвижность, подобная застывшей нерешительности секунды, когда смерть оказывается рядом с человеком, и хотя майор знал, что тот, кто стоял рядом с ним, был Эш, он узрел все братство смерти, ощутил ее угрозу, словно сладостную поддержку. Он попробовал повернуться к нему, но произошло это с таким напряжением, будто он пытался до последнего мгновения выдерживать форму. Повернувшись, он сказал: "Прошу вас, продолжайте".

Но и теперь ничего не изменилось: Эш смотрел на седую голову майора, слышал его тихий голос, и казалось, словно бы майору все о нем известно, точно так же, как ему все известно о майоре: два друга, которым все известно друг о друге. Он и майор находились там, словно на приподнятой и освещенной сцене они были на почетном месте. Собрание безмолвствовало, как будто был дан сигнал молчать, а Эш, который не решался положить руку на плечо майора, опирался на спинку стула, хотя, собственно, это тоже было не совсем обычно. Он ощущал себя сильным, надежным и благополучным, таким сильным, как в лучшие дни своей молодости, таким же надежным и благополучным, словно он был освобожден от всех человеческих дел, словно помещение не состояло больше из отдельных кирпичей, а дверь из распиленных досок; словно все было Божьим делом и словно слетающее с его уст слово было словом Господа. Он раскрыл Библию и начал читать из 16 главы "Деяния святых Апостолов": "Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь".

Заложив палец между страницами захлопнутой книги и осторожно откашлявшись, Эш ждал. Он ждал, что начнут содрогаться основы здания, он ждал, что сейчас начнет открываться великое познание, он ждал, что майор отдаст приказ поднять черное знамя, и думал: я должен подготовить место для того, по кому будет производиться отсчет времени. Он думал так и ждал. Но для майора услышанные слова были подобны каплям, которые при падении превращались в лед; он молчал, и с ним молчали все остальные.

Эш сказал: "Любая попытка убежать бессмысленна, мы должны добровольно взвалить на себя бремя... за нами стоит невидимое с мечом".

Насколько мог себе представить майор в данный момент, Эш излагал смысл этого высказывания из Библии частично правильно, частично в высшей степени неясно и фантастично, но пожилой майор не стал заострять внимание на этой мысли, гораздо в большей степени она погружала его в картину, которая, смахивая на воспоминание, воспоминанием все же не была; ведь он очень живо видел все перед собой: пожилые ополченцы и молодые рекруты были похожи на апостолов и учеников, на общину, собравшуюся в подвале для хранения овощей или в темной пещере; все говорили на глухо звучащем чужом языке, который тем не менее был понятен, подобно языку детства,— ученики, полные решительной страстности, с надеждой устремили, как и он, свой взор к небесам.

"Давайте споем",— сказал Эш и первым запел:

"Господь наш, Саваоф,
Ниспошли нам Твою милость,
Объедини нас Твоими узами,
Веди нас Твоей рукой,
Господь наш, Саваоф".

Каблуком сапога Эш отбивал такт; многие делали то же самое, они раскачивались в такт и пели. Майор, наверное, тоже подпевал — он сам не знал этого, поскольку это было скорее внутреннее пение, пение в его прикрытых глазах. И он услышал голос: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь!

Эш подождал, пока пение утихнет, затем сказал: "Ничего не даст убежать из тюремной тьмы, ибо, убежав, мы окажемся снова во тьме. Мы должны возвести новый дом, когда придет время".

Одинокий голос снова завел:

"Раздуй свою искру в огонь,
Пусть будет жаркий огонь,
Господь наш, Саваоф".

"Заткнись", — прошипел другой голос.

Еще один голос отозвался и продолжил пение:

"Огнем крести нас, Иисус,
Приди с огнем!
Огонь этот — частица нас.
Приди с огнем!
Бог наш, Господь, к Тебе взываем мы,
Приди с огнем!
Только это дарует нам благо.
Приди с огнем!"

"Заткнись", — еще раз прошипел тот же голос, тяжелый голос, звучащий к тому же словно из бочки; этот голос принадлежал человеку с длинной бородой в форме ополченца, который стоял, опираясь на два костыля. И вопреки тому, что ему было трудно говорить, он продолжил: "Кто не умирал, должен заткнуться... Получил крещение тот, кто умирал, другие — нет".

Но первый певец быстро поднялся с лавки, ответом был его поющий голос:

"Спаси, о, спаси меня от смерти,
Господь наш, Саваоф".

"Приди с огнем", — сказал теперь, хоть и очень тихо майор; этого было достаточно, чтобы Эш, услышав, наклонился к нему. Это был в определенной степени какой-то нетелесный наклон, по крайней мере, он так воспринимался майором, в этом приближении была какая-то легкая уверенность, успокаивающая и в то же время беспокоящая, и майор уставился на ручку из слоновой кости на своей трости, которая лежала на столике, он смотрел на белые манжеты, выглядывавшие из рукавов форменного кителя; его охватил некий неземной покой, какой-то едва уловимый, светлый, почти белый покой, витавший в этом сумрачном помещении и простиравшийся над всем этим гулом голосов, — звенящая прозрачная пелена в странно абстрактном

упрощении. На улице, подобно яркой огненной защите, бурлил поток солнечного света; казалось, они были в каком-то порту, в какой-то пещере, в каком-то подвале или в каких-то катакомбах.

Эш, наверное, ждал, что дальше будет говорить майор, поскольку тот дважды приподнимал руку, то ли настраиваясь в такт пения, то ли приветствуя его. У Эша перехватывало дыхание, но майор снова опускал руку. Тогда Эш заговорил таким тоном, словно сейчас живое должно было восстать из мертвого: "Факел свободы... озаряющий огонь... факел истинной правды".

Для майора, между тем, это было своего рода слиянием, и он не знал, что сказать, не понимал, что происходит: то ли он видит озаряющий веноч факелов над собой, то ли слышит голос человека, все еще повторяющего строку "Приди с огнем"; был ли это голос Эша или всхлипывание маленького часовщика Замвальда, тоненький голосок которого пробивался с задних рядов: "Спаси нас из тьмы, дай нам радости рая"?

Но ополченец, тяжело дыша и размахивая при этом одним из своих костылей, захрипел, произнося ревушим тоном: "Восставший из мертвых... тот, кто не был в земле, должен заткнуться".

Эш улыбнулся, оскалив лошадиные зубы: "Может, ты сам закроешь свою немытую пасть, а, Гедике?"

Это было очень грубо; Эш засмеялся столь громко, что у него свело болезненной судорогой горло, как это бывает с человеком, который смеется во сне. Майор, впрочем, не обратил внимания ни на грубость произнесенных слов, ни на чрезмерно громкий смех, поскольку его рассудок проникал сквозь шероховатости поверхности, да он их вовсе не замечал, ему скорее казалось, что Эш вполне может без особых проблем привести все в порядок, что очертания Эша слились вместе со всем помещением в странно сумрачный ландшафт, и сквозь грохочущий смех ему померещилась душа, выглядывавшая и улыбавшаяся ему из соседского окна, душа брата, но не целая душа и

не по соседству, а похожая на бесконечно далекую родину. И он улыбнулся Эшу, который также знал, что общая улыбка поднимает их вместе на более высокую ступень, у него было ощущение, словно он прибыл из дальней дали, сопровождаемый бурлящим ветром, сметающим все сущее, словно он примчался на огненной красной колеснице, чтобы оказаться здесь, у цели, у той возвышенной цели, где не имеет значения, как кого зовут, безразлично, переливается ли один в другого, цели, где не существует ни сегодня, ни завтра,— он ощутил, как его чела коснулось дыхание свободы, сон во сне, а он, распахнув пуговицы жилетки, возвышался там, выпрямившись так, словно намеревался поставить свою ногу на лестницу, ведущую ко входу в замок.

Но, конечно, запугать Людвигу Гедике он, несмотря ни на что, не смог. Тот, хромя, пробился почти к самому столу и, готовый к сражению, заорал: "Тот, кто хочет говорить, должен сначала заглубиться в землю... вот сюда...— и он поковырял концом своего костыля в глиняной земле.— Вот сюда... заберишь-ка сначала сам сюда".

Эш снова захохотал. Он ощущал себя сильным, крепким и благополучным, прочно стоящим на ногах парнем, убить которого — уже стоящее дело. Он распротер руки, словно человек, только что очнувшийся ото сна или распятой: "Ну, может, ты меня еще и побить захочешь своими костылями... ты ж на костылях, урод чертов".

Некоторые из сидящих закричали, чтобы Гедике оставили в покое, что он святой человек.

Эш отмахнулся: "Нет святых... святой только сын, который должен возвести дом".

"Все дома возвожу я,— буркнул каменщик Гедике.— Все дома построил я... каждый из них был выше предыдущего..." И он презрительно сплюнул.

"Небоскребы в Америке",— оскалился Эш.

"Небоскребы он тоже может строить",— всхлипнул часовщик Замвальд.

"Да уж, пусть себя поскребет... со стен он может кое-что соскребать".

"Из земли аж до небес..."

Гедике высоко поднял руки с двумя костылями, вид его был угрожающим и страшным: "...Восстав из мертвых!"

"Мертвый! — завопил Эш.— Мертвые полагают, что они могущественны... да, они могущественны, но пробудить жизнь в темном доме они не в силах... мертвые — это убийцы! Они — убийцы!"

Он запнулся, испугавшись слова "убийцы", которое тотчас замелькало в воздухе, словно темного цвета мотылек, но не в меньшей степени он испугался и замолчал из-за того, как повел себя майор: тот поднялся странным резким движением, повторил жестким тоном "убийцы" и посмотрел, словно ожидая чего-то ужасного, на распахнутую дверь и кусочек двора.

Все молча уставились на майора. Он не шевелился, не отрываясь, смотрел на дверь. Эш тоже посмотрел в ту сторону. Ничего необычного там не было: воздух дрожал в реке солнечного света, стена дома по другую сторону реки солнечного света — причальная стенка, должно быть, думал майор — просматривалась плохо, четырехугольный светлый просвет в коричневом проеме двери и ее створки. Но похожесть потеряла свою благословенную непосредственность, и когда Эш, воспользовавшись наступившей тишиной, еще раз прочитал из Библии: "Тотчас отворились все двери", то дверь для майора опять оказалась обыкновенной дверью сарая, и не осталось ничего, кроме двора, там, снаружи, издали напоминавшего родину, и большое имение — внутри сарая. И когда Эш закончил цитату: "Не делай себе никакого зла! Ибо все мы здесь!", то это уже был не покой, это был страх, страх, что в мире похожести и замены реальным может быть только зло. "Ибо все мы здесь", — повторил Эш еще раз, но майор не мог поверить в это, поскольку перед его глазами были уже не апостолы и ученики, а ополченцы и рекруты, относящиеся к рядовому составу, и он знал, что

Эш, такой же одинокий, как и он сам, пялится, полный страха, на двери. Так и стояли они друг возле друга.

А потом в глубине темного проема всплыла какая-то фигура, округлая и низкорослая, продвигавшаяся по белому щебню двора, не закрывая собой солнце. Хугюнау. Заложив руки за спину, прохожий приближался, не спеша пересекая двор; он остановился перед дверью, заглянул внутрь. Майор стоял по-прежнему неподвижно, стоял и Эш; им казалось, что это длилось вечность, но прошло всего лишь несколько секунд, и когда Хугюнау понял, что здесь происходит, то снял шляпу, зашел на цыпочках внутрь, отвесил поклон майору и скромно опустился на конец одной из скамеек. "Реальный,— пролепетал майор,— убийца...", но, может быть, он и не сказал этого, поскольку у него перехватило горло, он посмотрел на Эша, чуть ли не моля о помощи. Эш между тем усмехнулся, усмехнулся почти что саркастически, несмотря на то, что он сам воспринимал вторжение Хугюнау как удар с тыла или как вероломное убийство, как неизбежную смерть, которая, как бы там ни было, желанна, даже в том случае, если рука, держащая кинжал, является всего лишь рукой подлого агента; Эш улыбался, а поскольку тот, кто стоял у двери, был отпущен на свободу и ему было позволено все, то он коснулся руки майора: "Среди нас всегда есть место предателю". А майор ответил так же тихо: "Он должен убираться отсюда... он должен уматывать...— а когда Эш отрицательно покачал головой, добавил: — ...Выставлены голые во всей наготы... да, мы выставлены на другой стороне голыми и во всей наготе... А впрочем, все равно...", поскольку с волной отвращения, приближение которого он внезапно ощутил, широко и сверхмощно накатывал поток безразличия, приближалась усталость. Он снова тяжело опустился на стул возле столика.

Было бы лучше, если бы Эш тоже ничего не слышал и не видел из всего этого. Охотнее всего он закрыл бы собрание, но не мог позволить себе оставить майора в таком смятении, поэтому он несколько богохульственно стукнул Библией по столу и крикнул: "Продолжаем читать. Книга пророка Исаии, глава 42,

стих 7: чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме — из темницы”.

“Аминь”, — откликнулся Фендрих.

“Это очень хорошая притча”, — заметил также майор.

“Притча об избавлении”, — уточнил Эш.

“Да, притча о спасительном покаянии, — согласился майор и, сделав едва заметное уставное движение рукой, сказал: — Очень хорошая притча... а не закончить ли нам на этом сегодня?”

“Аминь”, — сказал Эш и застегнул пуговицы своей жилетки.

“Аминь”, — повторили присутствующие.

Они вышли из склада, а люди, тихо переговариваясь, продолжали нерешительно топтаться во дворе. Хугюнау протиснулся сквозь столпотворение к майору, но был встречен неприветливым выражением на его лице. Невзирая на это, ему не хотелось упустить возможность поздороваться, тем более, что он уже заготовил на этот случай одну шуточку: “Итак, господин майор пришел, чтобы вместе с нами отпраздновать вступление в должность нашего новоиспеченного господина пастора?” Короткий отчужденный кивок, каким была вознаграждена эта тирада, показал ему, что отношения порядком испорчены, и это проявилось еще отчетливей, когда майор отвернулся и нарочито громким голосом сказал: “Пойдемте, Эш, прогуляемся немного по городу”. Хугюнау остался стоять, испытывая смешанное чувство непонимания, ярости и поиска вины.

Оба пошли через сад. Солнце уже клонилось к горной гряде на западе.

Тогда казалось, что лето вообще никогда не закончится: дни позолоченной дрожащей тишины тянулись друг за другом в одинаково излучающем свете, словно своим сладостным покоем они с удвоенной силой хотели показать бессмысленность самого кровавого периода войны. По мере того как солнце скрывалось за горной цепью, окрашивая небо во все более яркую синеву, мирно бежала проселочная дорога и разворачи-

валась многоликая жизнь, подобная дыханию сна, покой становился все более ощутимым и приемлемым для души человека. Благостно простиралась над всей Германией воскресный покой и мир; и майор, с охватившей его страшной тоской, вспомнил жену и детей, которые возникли перед его взором прогуливающимися над этими вечерними полями: "Только бы это все уже закончилось", и Эш не смог найти ни единого слова, дабы утешить его. Безнадежной казалась им обоим любая жизнь, единственный жалкий выигрыш состоял в прогулке по подернутому вечерней сумеречной дымкой ландшафту, на котором задерживались их взгляды. Это словно отсрочка, подумал Эш. И они молча продолжили свою прогулку.

64

Было бы неверно говорить, что Ханна желала окончания отпуска. Она боялась этого. Каждую ночь она была любима этим мужчиной. И то, чем она занималась днем, а до сих пор это было всего лишь размытое мелькание сознания, которое более отчетливо прорисовывалось ближе к вечеру и к постели, теперь становилось еще более однозначно сориентированным на такую цель, которую едва ли можно было бы называть влюбленностью, настолько жестко, настолько безрадостно было все погружено в понимание того, что значит быть женщиной и что значит быть мужчиной: наслаждение без улыбки, какое-то прямо-таки анатомическое наслаждение, которое для адвокатской супружеской пары было частично божественным, частично непристойным.

Ее жизнь стала, естественно, своеобразным прорисовыванием очертаний. Но это прорисовывание продвигалось вперед, так сказать, слоями; оно никогда не погружалось в бессознательное, а было скорее абсолютно четким сном с болезненным осознанием паралича воли. И чем незрелее, чем истинно по-

хотливее или красочнее были разворачивающиеся вокруг него события, тем бдительнее становился слой познания, который располагался выше. Было просто невозможно поговорить об этом, и не только потому, что было стыдно, а намного вероятнее потому, что скорее всего слов никогда не будет достаточно для того обнажения, которое проистекает из того, что делается, подобно тому, как ночь проистекает из дня; к тому же разговор, так сказать, подразделялся на два слоя: на ночной разговор, который был смущенным лепетом, подчиненным происходящему, и на дневной разговор, который, оторванный от происходящего и поэтому обходящий его по большому кругу, следует методу изоляции, который всегда являлся методом рационального, прежде чем он с воплем и воем отчаяния не сдал свои позиции. И часто тогда то, что она говорила, было нащупыванием и поиском причин болезни, которая ее захватила. "Когда закончится война,— Хайнрих говорил это чуть ли не каждый день,— то все будет по-другому... из-за войны мы стали в чем-то примитивнее..." "Я не могу себе это представить",— обычно отвечала Ханна. Или: "Это вообще не поддается осмыслению, все это невозможно себе представить". При этом, в принципе, она не могла говорить с Хайнрихом как с равноправным; он нес на себе бремя войны и должен был защищаться вместо того, чтобы пребывать выше всего этого. Стоя перед зеркалом и вынимая из светлых волос черепаховые гребни, она сказала: "Тот странный человек в "Штадтхалле" говорил об одиночестве". Хайнрих отмахнулся: "Он был пьян". Ханна продолжала расчесывать волосы, и в голову лезла мысль о том, что ее груди становятся более упругими, когда она поднимает руки. Она ощущала их под шелком ночной рубашки, на которой они вырисовывались подобно двум небольшим острым бугоркам. Это было видно в зеркале, рядом с которым, слева и справа, за изящными розовыми абажурами горело по одной электрической лампочке в форме свечи. Затем до нее донеслись слова Хайнриха: "Нас словно просеяли через сито... рассеяли". "В

такое время нельзя рожать детей", — сказала она и подумала о мальчике, который был так похож на Хайнриха; ей показалось невозможным представить, что ее белое тело устроено так, чтобы принимать часть мужского тела; быть просто женщиной. Она даже зажмурилась. Он продолжил разговор: "Возможно, подрастает поколение преступников... ничто не говорит о том, что сегодня или завтра у нас не будет так же, как в России... ну, будем надеяться, что нет... но просто против этого свидетельствует невероятная стойкость еще существующей идеологии..." Оба они ощутили, что их разговор ведет в пустоту. Это было не чем иным, как если бы подсудимый говорил: "Великолепная погода сегодня, уважаемый суд", и Ханна на какое-то мгновение замолчала, подождала, пока прокатится волна ярости, та волна ярости, с которой ее ночи становились еще более постыдными, еще более глубокими, еще более сладострастными. Затем она сказала: "Нам необходимо подождать... это, без сомнения, связано с войной... нет, не так... все так, как будто война всего лишь что-то второстепенное..." "Как это — второстепенное?" — удивился Хайнрих. Ханна нахмурила брови, и между ними образовалась маленькая бороздка: "Мы являемся второстепенным, и война является второстепенным... первостепенным есть что-то невидимое, что-то, что исходит от нас..." Ей вспомнилось, с каким нетерпением она ждала завершения свадебного путешествия, чтобы — так она тогда думала — можно было поскорей вернуться к возведению своего дома. Теперешняя ситуация была подобной: отпуск — это такое же свадебное путешествие. То, что обнажилось тогда, было, наверное, не чем иным, как предчувствием замкнутости и одиночества; может, смутно догадывалась она теперь, одиночество является первостепенным, ядром болезни! И поскольку это началось тогда, сразу же после их свадьбы — Ханна высчитала: да, это началось в Швейцарии, — и поскольку все так точно совпало, усилилось ее подозрение в том, что тогда Хайнрих, должно быть, совершил с ней какую-то непоправимую ошибку или

еще какую-то несправедливость, которую уже невозможно когда-либо исправить, а можно было только усугубить, гигантскую несправедливость, которая способствовала тому, что была развязана война. Она нанесла на лицо крем и кончиками пальцев старательно вбила его в кожу; теперь она с придирчивой внимательностью рассматривала в зеркале свое лицо. Тогдашнее лицо молодой девушки исчезло, превратившись в лицо женщины, сквозь которое лишь проблескивали черты девичьего лица. Она не знала, почему все это взаимосвязано, но подведя черту под своим молчаливым ходом мысли, произнесла: "Война не является причиной, она всего лишь что-то второстепенное". И теперь ей стало ясно: второе лицо было войной, ночное лицо. Это был распад мира, ночное лицо, распадающееся на холодный и совершенно легкий пепел, и это был распад ее собственного лица, это было похоже на тот распад, который она ощутила, когда он прикоснулся губами к ее плечу и сказал: "Конечно, война, это, прежде всего, следствие нашей ошибочной политики"; даже если он и понял, что политика тоже является чем-то второстепенным, поскольку этому есть причина, лежащая еще более глубоко. Но он был доволен своим объяснением, а Ханна, которая слегка подушила себя неизменными французскими духами и вдыхала их аромат, больше его не слушала; она запрокинула назад голову, чтобы он мог поцеловать ее лоб. Он поцеловал. "Еще", — попросила она.

65

Эш был человеком резкого нрава, поэтому любой пустяк мог подтолкнуть его к самопожертвованию. Его желание было устремлено к однозначности: он хотел сформировать мир, который был бы настолько однозначным, что его собственное одиночество было бы прочно прикреплено к нему, словно к металлической свае.

Хугюнау был человеком, который всегда держал нос по ветру; если бы даже дело происходило в безвоздушном пространстве, он четко знал бы, откуда может подуть ветер.

Жил-был один человек, который бежал от своего собственного одиночества до самой Индии и Америки. Он хотел решить проблему одиночества земными средствами, он был эстетом и поэтому ему пришлось покончить с собой.

Маргерите была ребенком, зачатый в одном из половых актов, ребенком, над которым тяготел земной грех и который был оставлен в одиночестве в этом грехе: может случиться такое, что кто-то наклонится к нему и спросит, как его зовут,— но такое беглое участие его уже больше не спасет.

То не подобие, что в первый раз может быть выражено только подобием; где находится непосредственное — в начале или в конце цепочки подобий?

Стихотворение из средневековья: цепочка подобий возникает у Бога и к Богу возвращается — она витает в Боге.

Ханна Вендлинг желала упорядочения вещей, в витающем равновесии которых подобие возвращается к самому себе, как в стихотворении.

Один прощается, другой дезертирует — все они дезертируют из хаоса, но только один из них, который никогда не чувствовал себя стесненным, не будет расстрелян.

Нет ничего более безнадежного, чем ребенок.

Тот, кто испытывает духовное одиночество, еще может найти спасение в романтике, а от душевного одиночества все еще тянется дорожка к тому, чтобы быть на "ты" с вопросами пола,

но от одиночества в себе, от непосредственного одиночества спасения в подобии больше не найти.

Майор фон Пазенов был человеком, который со всей страстностью жаждал близости с родиной, невидимой близости в видимых вещах. И его жажда была настолько сильной, что видимое слой за слоем погружалось в невидимое, а невидимое слой за слоем переходило в видимое.

"Ах,— говорит романтик и натяливает одежду чужой системы ценностей,— ах, теперь я принадлежу вам и больше не одинок". "Ах,— говорит эстет и натяливает такую же одежду,— я остаюсь одиноким, но это красивая одежда". Эстетичный человек представляет собой злой принцип внутри романтического.

Ребенок с любой вещью немедленно вступает в доверительные отношения: для него ведь это подобие — непосредственное и на одном дыхании. Отсюда радикальность детей.

Если Маргерите плачет, то это бывает только от ярости. Она ни разу не пожалела саму себя.

Чем более одинок человек, чем рыхлее система ценностей, в которой он пребывает, тем отчетливее его действия определяются иррациональным. Романтический человек, затиснутый в формы чужой и догматической системы ценностей, является — даже не хочется в это верить — более чем рациональным и взрослым.

Рациональное иррационального: кажущийся абсолютно рациональным человек, такой как Хугюнау, не способен отличить добро от зла. В абсолютно рациональном мире нет абсолютной системы ценностей, нет грешников, максимум — вредители.

Эстет тоже не различает добро и зло, поэтому он очаровыв-

вает. Но он очень хорошо знает, что такое хорошо, а что — плохо, он просто не желает это различать, что делает его порочным.

Время, которое настолько рационально, что должно постоянно ускользать.

66

История девушки из Армии спасения (11)

Я по возможности обособился от евреев, но был вынужден, как и прежде, наблюдать за ними. Так, каждый раз у меня вызывало удивление то ответственное положение, которое занимал у них полусвободомыслящий Симсон Литвак. Было очевидно, что этот Литвак был дураком, которого отправили учиться просто потому, что он не годился для занятия настоящим делом — достаточно было сравнить его гладко выбритое лицо, уже более пятидесяти лет выглядывавшее в мир обвислой бородки, с изборожденными морщинами, погруженными в размышления лицами еврейских стариков! И тем не менее возникло впечатление, что он у них считался своего рода оракулом, которого они вытаскивают по каждому случаю. Может быть, это был остаток веры в неразборчивый лепет, который должен был бы быть рупором Божиим, они ко всему прочему слишком хорошо понимали, что имеют доступ к лучшей науке. Вряд ли можно предположить, что я ошибался. Доктор Литвак, конечно, всячески пытался завуалировать такое положение вещей, но ему это плохо удавалось. История с его просвещенностью — это просто надувательство; его благоговение перед знаниями еврейских старцев было чрезмерно, и если он, вопреки плохому приему, который я ему оказал, все еще по-дружески здоровался со мной, то я отношу это, вне всякого сомнения, на счет того, что я отказался обозначить талмудистское мировоззрение

еврейских старцев "предрассудком". Очевидно, это помимо всего прочего дало ему основание надеяться, что я удержу Ну-хема на правильном пути; так что он смирился с тем, что я снова и снова отвергаю его самого и его доверительное отношение.

Сегодня я столкнулся с ним на лестнице. Я поднимался вверх, он спускался. Если бы было наоборот, то я бы просто проскользнул мимо; мчащемуся вниз не так просто преградить дорогу. Но я крайне медленно взбирался наверх — духотища крупного города и плохое питание. Он игриво держал в руках прогулочную трость в горизонтальном положении. Не хотелось ли ему, чтобы я перепрыгнул через нее, словно какой-то там пудель (я поймал себя на мысли, что последнее время чувствую себя слегка, чересчур слегка оскорбленным; это, наверное, тоже можно объяснить недостаточным питанием)? Двумя пальцами я приподнял трость, чтобы освободить себе проход. Ах, ответом мне была доверительная скалящаяся улыбка. Он кивнул мне. "Что вы скажете теперь? Люди совершенно несчастливы". "Да, жарко очень".

"Когда это такое бывало из-за жары!"

"Бывало, и австрийцам приходилось торчать в Семи Общинах¹".

"Шутите со своими Семью Общинами... Ну что вы действительно по этому поводу скажете? Он говорит, радость должна быть в сердце".

Мое состояние привело к тому, что я ввязался в глупейшие дебаты: "Это звучит прямо как псалмы Давида... Будете возражать?"

"Возражать? Возражать... Я просто говорю, что старый дед прав, старые люди всегда правы".

¹ Семь Общин (нем.— Зибен Гемайнден, итал.— Сетте Комуни) — община в провинции Виченца на севере Италии, которая в средние века была заселена немецкоязычным населением. Выражение "торчать в Семи Общинах" означает: вспоминать дела давно минувших дней.

"Предрассудки, Симсон, предрассудки".

"Мне-то косточки вы мыть не будете!"

"Хорошо, хорошо, так что сказал ваш владыка дедушка?"

"Будьте внимательны! Он сказал: еврей должен радоваться не сердцем, а вот этим..." И он постучал себя пальцами по лбу.

"Так, значит, головой?"

"Да, головушкой".

"А что вы делаете сердцем, когда радуетесь головой?"

"Сердцем мы должны служить. *Uwchol lewowcho uwchol pawschecho uwchol meaudech*, что по-немецки означает "всем сердцем, всей душой и всем состоянием".

"Это тоже говорит дедушка?"

"Это говорит не только дедушка, это так и есть".

Я сделал попытку посмотреть на него с сожалением, но в полной мере мне это не удалось:

"И вы называете себя просвещенным человеком, господин доктор Симсон Литвак?"

"Естественно, я просвещенный человек... как и вы просвещенный человек... естественно... Не поэтому ли вы хотите нарушить Закон?" Он улыбнулся.

"Благослови вас Господь, доктор Литвак", — сказал я и продолжил свой подъем по лестнице.

"Сколько угодно, — он все еще продолжал улыбаться, — но нарушать Закон не может никто, ни вы, ни я, ни Нухем..."

Я поднимался по этой нищенской лестнице вверх. Почему я остался здесь? В приюте я бы лучше с ним поговорил. Цитаты из Библии вместо картинок на стенах. К примеру сказать.

История девушки из Армии спасения (12)

Он говорил: мой мулов погонщик пустился рысью,
В венце с бубенцами, с уздечкой пурпурной,
Неся нас обоих сквозь сон Сиона.

Он говорил: я звал тебя.
Он говорил: в сердце моем большое виденье,
Храм вижу я и тысячи ступеней в нем,
И вижу град, где предки наши жили.
Он говорил: дом возвести хотим мы.
Он говорил: ожиданья расточенье — то был удел наш,
Лишь только ожиданье, и в книгу погруженность.
Он говорил: я ждал его, и вот теперь нам радость...
Он этого не говорил, но то был сердца крик.
Она была нема. Без слов и в размышленья погрузившись,
Брели они с душою опьяневшей.
Брели они, и сердце было их полно
Молчания, тоски и скрытого величья,
Брели они, никто свой взор не поднимал
На улицы, на многолюдные дома, на кабаки.
С ее слетало уст: в глубинной битве сердца моего
Я жажду искры, я жажду ясного огня,
Что будет светом мне, что будет блеском ярким.
Он говорил: я помнил о тебе.
С ее слетало уст: огонь из искры в сердце возгорелся,
К сей кающейся грешнице приблизил Ты свой нежный лик.
Он говорил: так ярко путь блестит, Сиона путь блаженный.
С ее слетало уст: страданья на кресте Твои за нас.
Они молчали: слова звук затих.
Что делать было им, коль час творенья уж в прошлое ушел.

68

"Как, лейтенант Ярецки, вы хотите в это время еще выйти погулять?" — сестра Матильда сидела у входа в лазарет, а лейтенант Ярецки, застыв в освещенном проеме двери, прикуривал сигарету.

"Из-за жары сегодня еще не выходил из здания...— он хлопнул свою зажигалку,— ...хорошее изобретение — бензино-

вые зажигалки. На следующей неделе меня отправляют, слышали уже, сестра?"

"Да, слышала. В Кройцнах, отдыхать. Вы, наверное, сильно обрадовались, что наконец выберетесь отсюда?.."

"Ну да... Вы, впрочем, тоже должны радоваться, что избавитесь от меня".

"Не могу сказать, что вы были удобным пациентом".

Повисло молчание.

"Прогуляемся немного, сестра, сейчас довольно прохладно".

Сестра Матильда медлила: "Мне скоро нужно будет вернуться... если хотите, немного перед корпусом".

"Я совершенно трезв, сестра",— успокаивающе пробормотал Ярецки.

Они вышли на улицу. Больница с двумя рядами освещенных окон располагалась справа. Внизу угадывались очертания города, они были чуть чернее темноты ночи. Просматривалась пара огоньков, а огоньки на высотах свидетельствовали о наличии там одиноких крестьянских домиков. Городские часы пробили девять.

"А вам не хотелось бы тоже уехать отсюда, сестра Матильда?"

"Ах, я полностью довольна своим пребыванием здесь, у меня есть работа".

"Собственно говоря, это очень мило с вашей стороны, сестра, что вы согласились прогуляться с пьянчужкой Фрицем¹, которого списали в резерв".

"А почему бы мне и не прогуляться с вами, лейтенант Ярецки?"

"Да, а почему, собственно говоря, и нет...— и после небольшой паузы: — Значит, вы хотите остаться здесь на всю жизнь?"

¹ "Старый Фриц" — прозвище прусского короля Фридриха II, "Фриц" в более широком смысле — служивый человек, солдат.

"Да нет же, пока не закончится война".

"А затем вы хотите уехать домой? В Силезию?"

"Вам и это известно?"

"Ах, такие вещи узнаются быстро... И вы думаете, что сможете вот так просто уехать обратно домой, как будто бы ничего и не было?"

"Я, собственно, над этим никогда не задумывалась. Ведь все равно всегда происходит все совершенно по-другому".

"Знаете, сестра, я трезв и глубоко убежден: так просто приехать домой больше не сможет никто".

"Нам всем хочется снова домой, господин лейтенант. А за что мы тогда сражались, если не за нашу родину?"

Ярецки остановился: "За что мы сражались? За что мы сражались... лучше не спрашивайте, сестра... Впрочем, вы правы, все и без того происходит совершенно по-другому".

Какое-то мгновение сестра Матильда молчала, затем спросила: "Что вы имеете в виду, господин лейтенант?"

Ярецки усмехнулся: "Ну разве вы когда-нибудь думали, что будете прогуливаться с пьяным одноруким инженерешком?.. Вы ведь графиня".

Сестра Матильда ничего на это не ответила. Графиней она в общем-то не была, но она являлась девушкой аристократического происхождения, а графиней была ее бабушка.

"А впрочем, какая мне разница... будь я графом, все было бы точно так же; я, должно быть, тоже пил бы... знаете, каждый из нас слишком одинок, чтобы нас это хоть немного еще и волновало... Теперь я вас рассердил?"

"Ах, отчего же..." В темноте она видела очертания его профиля, и ей стало страшновато, что он может схватить ее за руку. Она перешла на другую сторону улицы.

"Ну а теперь пора возвращаться, господин лейтенант".

"Вы ведь, должно быть, тоже одиноки, сестра, иначе не выдержали бы все это... так что давайте будем радоваться тому, что война не заканчивается..."

Они оказались опять у решетчатых ворот лазарета. Большинство окон уже были темными. В палатах виднелись лишь слабые огоньки дежурного освещения.

"Так, а теперь пойду чего-нибудь выпью, вопреки всему... Вы же мне компанию, увы, не составите, сестра".

"Мне уже пора возвращаться, лейтенант Ярецки".

"Спокойной ночи, сестра, и большое спасибо".

"Спокойной ночи, господин лейтенант".

Где-то в глубине души сестра Матильда испытывала чувство разочарования и грусти. Она крикнула ему вдогонку: "Возвращайтесь не очень поздно, господин лейтенант".

69

С тех пор, как майор тогда совершил прогулку по покрывшимся вечерними сумерками полям, частенько случалось, что по завершении служебного дня он выбирал себе маршрут по Фишерштрассе; пройдя пару кварталов, он замедлял шаг, нерешительно останавливался и поворачивал обратно. Можно было безо всяких обиняков сказать, что он крутился возле "Куртрирского вестника". Он, может быть, даже и зашел бы, если бы не опасался встречи с Хугюнау, он даже на улице боялся его встретить, сама мысль об этом вызывала в его душе беспокойство. Но когда вместо Хугюнау перед ним внезапно возник Эш, то он не знал, не была ли это та встреча, которой он опасался еще больше. Ведь тут стоял он, комендант города в военной форме, шпага на боку, с газетчиком в гражданском, он в форме стоял посреди улицы и протягивал этому человеку руку, и вместо того, чтобы ограничиться этим, он, забыв все приличия, был почти счастлив, что этот человек уже вознамерился прогуляться с ним. Эш с уважением приподнял шляпу, и майор заглянул в изборожденное морщинами серьезное лицо, посмотрел на коротко подстриженные жесткие седые волосы — и это стало каким-то успокоением, было как неожиданное вос-

помянутое о собраниях по изучению Библии там, у него на родине, и в то же время это было вновь зашевелившееся в груди братское чувство того послеобеденного дня, а вместе с ним возникло и желание сказать этому человеку, который был ему почти что другом, что-то хорошее, хотя бы только для того, чтобы друг сохранил о нем хорошие воспоминания; помедлив еще немного, он сказал: "Ну что, пойдете".

Эти прогулки начали повторяться и в дальнейшем. Конечно, не так часто, как того хотелось бы майору или даже Эшу. И не только потому, что события текли своим чередом — приходили, располагались войска и снова уходили, по улицам сновали автocolонны, так что были ночи, покоем которых майору приходилось жертвовать ради службы, — а майор фон Пазенов никак не мог преодолеть себя и еще раз посетить "Куртрирский вестник". Все это продолжалось какое-то время, пока об этом не догадался Эш. И он начал приспособливаться к сложившейся ситуации: он незаметно ждал его у комендатуры, а если это было кстати, то брал с собой Маргерите. "Маленький сорванец все равно увяжется следом", — говорил он; впрочем, майор не мог окончательно решить, как оценивать доверительное отношение ребенка — положительно или как навязчивость, однако он встречал ее с приветливым видом и гладил Маргерите по чернявой головке. Потом они втроем бродили по полям или по тропинке вдоль зарослей на берегу реки, и иногда возникало впечатление, что в душе просыпается чувство прощания, мягко и кротко стучит сердце, пульсирует поток дыхания, это было как осознание конца, в котором заключается начало. Между тем к этому сладостному чувству примешивалось легкое недовольство, потому, может, что в этом прощании не участвовал Эш, потому, может, что было непозволительно, чтобы Эш участвовал в этом, а может, и потому, что Эш, кажется, не понимал ни того ни другого, а упрямо хранил разочаровывающее молчание. Все казалось каким-то непонятным и скрытым, поскольку еще жила подспудная надежда, что все будет хорошо и просто, если только Эш решится заговорить. Ах, было на удив-

ление неуловимо то, что он, собственно, ожидал услышать от Эша, и тем не менее Эшу надо было бы знать это. Так они молча и шли, не говоря ни слова, углубляясь в свет наступающего вечера, в растущее разочарование, и сияние над полями казалось фальшивым и усталым блеском. А когда Эш снимал шляпу, предоставляя ветру возможность шевелить его жесткие причесанные волосы, то это приобретало характер столь непристойной доверительности, что майор уже и не удивлялся тому, что маленькая девочка попала под влияние такого человека. Как-то он сказал: "Маленькая рабыня", но и это было воспринято с ленивым безразличием. Маргерите же убежала вперед — ее не очень занимали эти два человека.

Они поднялись к горной долине и шли вдоль опушки леса. Под ногами хрустела низкая высохшая трава. Над долиной царил тишина. Откуда-то снизу доносилось поскрипывание автомобилей, убранный урожай обнажил на полях коричневую землю, а из глубины леса тянуло прохладой. На склонах зеленели виноградники, к дурманящему запаху леса примешивалась серебристо-металлическая острота осенних запахов, а кусты на опушке леса с черными и пурпурными ягодами на ветвях уже приготовились поддаться осеннему умиранию. Над западными склонами опускалось солнце, отражаясь огненными бликами в окнах домов в долине, каждый из которых располагался на длинном (направленном на восток) ковре из тени, видна была пятнистая черно-красная крыша тюремного комплекса, взору открывались грязные дворы, в которых также покоились мрачные, четко очерченные тени.

Маленькая проселочная дорога тянулась по склону вниз, выходя недалеко от тюрьмы на большую дорогу. Маргерите, бежавшая впереди, уже свернула на нее, и майор воспринял это как перст Божий. "Будем возвращаться", — устало проговорил он. Пройдя по ведущей вниз дороге с половину пути к городу, майор и Эш остановились и прислушались: до них донеслось странное порывистое жужжание, непонятно было, откуда оно исходит. Со стороны города ехал автомобиль, двигатель

гудел, как обычно, и ежеминутно раздавался сигнальный гудок; сзади тянулся шлейф пыли. Таинственное жужжание не имело ничего общего с машиной. "Нехорошее какое-то жужжание", — отрешенным тоном заметил майор. Автомобиль следовал по изгибам дороги и, громко гудя, достиг наконец тюрьмы. Эш своим острым зрением смог определить, что это была машина комендатуры, и его охватило беспокойство, когда он не увидел ее с другой стороны тюрьмы. Ничего не сказав, он ускорил шаг. Гул становился все более громким и отчетливым; когда они достигли места, откуда виднелись ворота тюрьмы, то заметили, что машину окружила толпа возбужденных людей. "Тут что-то случилось", — сказал майор; из-за зарешеченных и забитых досками окон тюрьмы до них донесся ужасающий хор, скандировавший слова: "Го-лод, го-лод, го-лод... го-лод, го-лод, го-лод... го-лод, го-лод, го-лод...", прерываемые периодически сплошным звериным воем. Водитель поспешил им навстречу: "Разрешите доложить, господин майор, бунт... мы никак не могли найти господина майора..." Затем он помчался назад, дабы достучаться до тюремной охраны.

Люди расступились, чтобы пропустить майора, но он остановился. Воздух продолжали сотрясать произносимые хором слова, а тут и Маргерите начала подпрыгивать в такт выкрикиваемым словам. "Го-лод, го-лод, го-лод", — ликовала она. Майор посмотрел сначала на здание с непроницаемыми окнами, затем — на подпрыгивающего ребенка, чей смех показался ему странно парализующим, странно злорадным, и его охватило возмущение. Неизбежная судьба, неотвратимое испытание! Шофер все еще дергал за металлическую ручку звонка и колотил штыком по воротам, пока наконец не открылось смотровое окошко и не начали поворачиваться в петлях со скрипом и без большой охоты ворота. Майор прислонился к дереву, его губы пробормотали: "Это конец". Эш метнулся, как будто хотел ему помочь, но майор сделал останавливающий жест. "Это конец", — повторил он, затем выпрямился, поправил китель на

груди, провел рукой по Железному Кресту и, держа руку на рукоятке шпата, быстро шагнул к воротам тюрьмы.

Майор исчез в воротах. Эш взгромоздился на небольшой холмик, возвышавшийся рядом с дорогой. Воздух по-прежнему сотрясали ритмичные выкрики. Раздался один-единственный выстрел, за которым последовал новый взрыв сплошного воя. Затем опять выкрики, на этот раз — последние, словно капли воды из закрытого водопроводного крана. Потом воцарилась тишина. Эш смотрел на закрывавшиеся за майором ворота. "Это конец", — повторил теперь он и приготовился ждать. Но конец не приходил: ни землетрясения тебе, ни ангела, и ворота никто не открывает. Ребенок присел возле него, Эш охотно взял бы его на руки. Словно кулисы высились в светлом вечернем небе тюремные стены, словно зубы со щелями между ними, и Эш ощутил, что он далеко отсюда, далеко от события, при котором он сейчас присутствует, далеко от всего; он не решался изменить что-либо в своем положении, он больше не знал, как он вообще сюда попал. Рядом с воротами висела табличка, что было на ней написано, теперь уже невозможно было разобрать; естественно, там было указано время свиданий, но это были просто слова. Тут до него донесся голос Маргерите: "Там дядя Хугюнау". И он увидел Хугюнау, проходившего мимо быстрым шагом, увидел и не удивился. Все вокруг было безмолвным: безмолвными были шаги Хугюнау, безмолвным было мельтешение людей перед воротами тюрьмы, все было безмолвным, как движения актеров и канатоходцев, когда замолкают звуки музыки, безмолвным, словно светлое вечернее небо в своем угасании. Недостижимо раскинулись дали перед глазами человека, видящего сны, нет, не перед человеком, который видит сны, а перед осиротевшим человеком, который никогда не обретет дорогу домой, и он был как человек, желания которого изменились, а он сам об этом и не догадывается, как тот, кто просто приглушил свою боль, но забыть ее не может. На небе зажглись первые звезды, и Эшу показалось, будто он

сидит на этом месте уже дни и годы, окруженный призрачным, все заглушающим покоем. Затем движения людей стали все менее уловимыми, туманными, полностью затихли, люди превратились в безмолвную черную ждущую массу у ворот. Единственное, что мог ощущать Эш, это была трава, которой он касался ладонями.

Ребенок исчез; может, он убежал вместе с Хугюнау; Эш не обратил на это внимания, он неотрывно смотрел на ворота. Наконец появился майор. Он шел быстрым прямолинейным шагом, казалось даже, будто он немного хромает и пытается это скрыть. Он шел прямо к машине. Эш вскочил на ноги. Теперь майор стоял в машине, он стоял там прямо с высоко поднятой головой и смотрел мимо него, он не замечал толпу, которая молча сгрудилась вокруг автомобиля, он смотрел на белую ленту дороги, раскинувшуюся перед ним, и на город, где в окнах уже заблестели первые огоньки. Недалеко загорелся красный огонек; Эш уже понял, где. Не исключено, что майор тоже заметил это, поскольку он посмотрел теперь на Эша сверху вниз и сказал: "Да, и какое же это имеет значение". Эш ничего не ответил; он, расталкивая людей, выбрался из толпы и быстрым шагом направился через поле. Если бы он оглянулся назад и если бы не было так темно, то он бы мог увидеть, что майор продолжал неподвижно стоять, глядя вослед ему, ушедшему в ночь.

Через какое-то время он услышал, как завелся двигатель, и увидел, как два огонька автомобиля движутся по дороге, следуя ее изгибам.

70

Хугюнау примчался из тюрьмы домой; Маргерите прибежала следом за ним. В типографии он отдал распоряжение остановить печатный станок: "Еще один срочный материал, Линднер".

Затем он направился в свою комнату, чтобы написать статью. Справившись с этой работой, он сказал: "Приветик" и сплюнул в сторону комнат Эша. "Приветик", — сказал он еще раз, проходя мимо кухни, затем он передал свою писанину Линднеру. "В городской хронике петитом", — распорядился он. На следующий день в "Куртрирском вестнике" в рубрике "Городская хроника" можно было прочесть:

Инцидент в городской тюрьме

Вчера вечером в тюрьме нашего города имели место неприятные события. Некоторые заключенные решили, что имеют основания жаловаться на то, что их питание не соответствует желаемому качеству; этим воспользовались элементы, не испытывающие патриотических чувств к своей стране, и принялись буйно оскорблять администрацию. Благодаря вмешательству немедленно приехавшего коменданта города господина майора фон Пазенова, благодаря его спокойствию, благоразумию и мужеству, инцидент был сразу же урегулирован. Слухи о том, что речь шла якобы о попытке побега четырех содержащихся в тюрьме в ожидании справедливого приговора дезертиров, являются, как нам удалось узнать из хорошо информированного источника, совершенно безосновательными, поскольку такие лица в тюрьме просто не содержатся. Пострадавших нет.

Это снова оказалось одним из тех просветлений, и от радости Хугюнау не мог уснуть почти всю ночь. Он снова и снова перечислял себе возможные последствия:

во-первых, майора разозлит упоминание о дезертирах, но и история с плохим питанием тоже не может понравиться коменданту города; а если кто-то и заслуживает того, чтобы его позлили, то это майор;

во-вторых, майор возложит ответственность на Эша, особенно из-за ссылки на хорошую информированность; ни один

человек не поверит господину редактору, что ему ничего не было известно, так что прогулкам двух господ теперь наверняка будет положен конец;

в-третьих, когда представляешь, в какой ярости сейчас пребывает тощий господин пастор с лошадиной мордой, то это словно бальзам на душу, и ты просто счастлив;

в-четвертых, все обставлено в таких прелестных законных формах — он был издателем и мог писать все, что хотел, а за хвалебные слова майору надо было бы быть ему признательным;

в-пятых и в-шестых, так можно продолжать и дальше, одним словом, это была безукоризненно удавшаяся операция, одним словом, это был искусный прием, более того, майор теперь будет испытывать к нему уважение: статьи некоего Хугюнау полностью соответствуют реальности, даже если ими и пренебрегать;

да, и в-пятых, и в-шестых, и в-седьмых, можно продолжать и дальше в таком же духе, во всем этом кроется еще много чего, иногда, конечно, слегка неприятного, о чем лучше не думать.

Утром в типографии Хугюнау прочитал статью еще раз и опять остался очень доволен. Он посмотрел через окно на здание редакции, и на его лице появилась ироничная гримаса. Но он не стал туда подниматься. Не то чтобы он как-то опасался пастора — когда ты просто осуществляешь свое законное право, то не следует опасаться. А когда тебя преследуют, тоже следует осуществлять свое право. И если из-за этого все идет прахом, тоже необходимо осуществлять свое право! Нужно просто стремиться к тому, чтобы жить в мире и непоколебимом порядке, нужно просто занимать место, которого заслуживаешь. И Хугюнау отправился к парикмахеру, где он еще раз внимательно перечитал "Куртрирский вестник".

Проблемой, впрочем, становился обед. Не доставляло особого удовольствия сидеть за одним столом с Эшем, который

должен был все-таки в какой-то степени, если даже и несправедливо, чувствовать себя обойденным. Были знакомы осуждающие взгляды пастора — тут уж и еда в горло не ползет. Такой пастор по сути своей коммунист, стремящийся все обобществить, и поэтому ведет себя так, словно бы другие хотят нарушить мировой порядок.

Хугюнау отправился прогуляться и поразмышлять над этим. Между тем в голову ему не приходило ничего стоящего. Было, как в школе: можно было быть настолько изобретательным, насколько хотелось, а затем не оставалось ничего лучшего, как оказаться больным. Так что он повернул к дому, дабы прийти туда раньше Эша, и поднялся к матушке Эш (с недавних пор он взял обыкновение так ее называть). С каждой ступенькой страдальческое выражение на его лице становилось все более похожим на правду. Может, он и действительно чувствовал себя не совсем здоровым и лучше всего было бы вообще не есть. Но за пансион в конце концов уплачено, и нет совершенно никакой необходимости что-либо дарить этому Эшу.

"Госпожа Эш, я заболел".

Его жалкий вид тронул госпожу Эш.

"Госпожа Эш, я не буду кушать".

"Но, господин Хугюнау... суп, я готовлю для вас такой супчик... он еще никому не приносил вреда".

Хугюнау задумался. Затем печальным голосом проговорил: "Бульон?"

Госпожа Эш была поражена: "Да, но... у меня в доме ведь нет мяса".

Лицо Хугюнау стало еще более печальным: "Да, да, нет мяса... мне кажется, у меня температура... потрогайте-ка, матушка Эш, я весь горю..."

Госпожа Эш подошла поближе и нерешительно притронулась пальцем к руке Хугюнау.

"Может, мне в самый раз пришелся бы омлет", — продолжал Хугюнау.

"Может, вам лучше заварить чаю?"

Хугюнау унюхал в этом желание сэкономить: "Ах, пойдет один омлет... у вас же есть в доме яйца... может, из трех яиц".

После этого шаркающими шагами он вышел из кухни.

Частично потому, что так подобало бы больному, частично потому, что ему надо было бы отоспаться за эту ночь, он прилег на диван. Но уснуть ему не удавалось — он все еще был возбужден из-за удавшегося журналистского приема. Может, надо было бы прилечь на кровать. Углубившись в свои мысли, он посмотрел на зеркало, висевшее над умывальным столиком, посмотрел в окно, прислушался к шумам в доме. Это были обычные шумы на кухне: до него донеслись звуки отбивания мяса — значит, он ее все-таки надул, эту толстую Эшиху, и получит все причитающееся мясо. Естественно, она будет ссылаться на то, что невозможно приготовить бульон из свинины, но такой аппетитный, слегка обжаренный кусочек свинины ведь не повредит больному. Затем он услышал резкие и короткие, режущие по доске звуки и идентифицировал их как нарезание овощей — да, он всегда со страхом наблюдал за своей матерью, когда она измельчала быстрыми режущими движениями петрушку или сельдерей, ему всегда было страшно, что мать при этом зацепит кончики пальцев: кухонные ножи ведь острые. Он обрадовался, когда режущие звуки прекратились, а матушка начала вытирать неповрежденные пальцы о кухонное полотенце для рук. Если бы только уснуть; лучше было бы все же лечь в постель; Эшихе надо было бы тогда посидеть рядом, занимаясь вязанием или прикладывая компрессы. Он потрогал свою руку — она действительно горела. Следует подумать о чем-то приятном. Например, о женщинах. Голых женщинах. Заскрипела лестница, кто-то поднимался по ней наверх; странно, отец ведь не имел обыкновения приходить так вовремя. Ну да, это же всего лишь почтальон. С ним говорит матушка Эш. Раньше в дом регулярно приходил булочник, сейчас его не видно. Черт знает что такое; когда голоден — невозможно спать.

Хугюнау снова посмотрел в окно, за окном виднелась цепь Кольмарских гор; управляющим замка "Хохкенигсбург" был майор; кайзер лично назначил его на эту должность. *Haïsses les Prussiens et les ennemis de la sainte religion*¹. Чей-то смех раздался в ушах Хугюнау; он услышал, как кто-то говорит на эльзасском диалекте. С одного места на другое переставляется кухонная кастрюля; ее тянут по плите. Тут он услышал в ушах чей-то шепот: голод, голод, голод. Это же идиотизм какой-то. Почему он не может есть вместе с остальными! С ним всегда обращаются плохо и несправедливо. На его бы место сейчас да посадить майора. Лестница опять заскрипела; Хугюнау весь сжался — это шаги отца. Ах Боже ты мой, это же всего лишь Эш, господин пастор.

Урод он, Эш этот, и поделом ему, если он злится. Как ты мне, так и я тебе. Кухонные ножи хорошо наточены, и концы у них острые. Сейчас он с удовольствием стал протестантом, затем подастся к иудеям, подвергнется обрезанию; нужно рассказать все это его жене. Кончики пальцев, острия ножей. Лучше всего было бы сразу же встать и спуститься вниз, спросить его, не собирается ли он стать иудеем. Слишком глупо его опасаться; я просто слишком ленив. Но еду мою она должна мне принести, и немедленно... пока не получил свою жратву пастор. Хугюнау напряженно прислушивался к тому, что происходило внизу, сели ли они уже за стол. Ничего странного, что сам постоянно худеешь, когда всего тебя объедает этот Эш. Но он такой. У священника должно быть брюхо. Надувательство эти его пасторские одежды. У палача тоже черная одежда. Палач должен много есть, ему нужны силы. И неизвестно, тащат ли они кого-то на экзекуцию или просто несут обед. С этого момента нужно будет ходить в гостиничную забегаловку и жрать за столом майора мясо. Уже сегодня вечером. Если оmlет будет задержан еще хоть немного, то будет скан-

¹ Ненавидьте пруссаков и врагов святой веры (фр.).

дал. Чтобы приготовить омлет, требуется ведь всего лишь каких-то пять минут!

В комнату тихо вошла госпожа Эш, поставила тарелку с омлетом на стул и пододвинула его к дивану.

"Заварить вам чаю, господин Хугюнау, травяного чаю?"

Хугюнау поднял глаза. Его злость уже почти улетучилась: когда тебе сочувствуют, то это хорошо.

"У меня температура, госпожа Эш".

Ей следовало бы хоть разок погладить его по лбу, чтобы проверить, есть ли температура; его злило, что она не делает этого.

"Я лягу в постель, матушка Эш".

Но госпожа Эш неподвижно стояла перед ним и настаивала на том, чтобы он выпил чаю: это отличный чай, не только древнее, но и известное лекарство, собиратель трав, унаследовавший секреты дедов и прадедов, стал очень богатым человеком, у него в Кельне дом, к нему совершают паломничество люди со всей округи. Она редко говорила на одном дыхании так много.

Хугюнау тем не менее не поддавался: "Стаканчик вишневой наливочки, госпожа Эш, был бы мне в самый раз".

Она брезгливо сморщила лицо: шнапс? Нет! Даже от своего мужа, здоровье которого, собственно, оставляет желать лучшего, она добилась того, чтобы он пил чай.

"Ах так? Эш пьет чай?"

"Конечно",— ответила госпожа Эш.

"Тогда, ради Бога, сделайте и мне чаю",— вздохнув, Хугюнау сел на диване и принялся за свой омлет.

71

Прощание с Хайнрихом прошло на удивление безболезненно. Поскольку физические и духовные потребности необходимо было держать на расстоянии друг от друга, то это стало исключительно физическим событием. Когда Ханна прибыла на во-

кзал, ей показалось, что она похожа на осиротевший дом, в котором опустили гардины. Она со всей определенностью знала, что Хайнрих вернется с войны невредимым, осознание этого не позволяло сделать из Хайнриха мученика, дало возможность не только успешно избежать на вокзале сентиментальности, которой она так опасалась, но и отодвинуло также — выходя далеко за рамки неприятностей прощания — желание, чтобы Хайнрих никогда больше не вернулся назад, в зону непонятности и безопасности. И когда она сказала мальчику: "Папочка скоро снова будет с нами", то они, наверное, оба знали, что она имела в виду.

Физическое событие, как она могла вполне обоснованно обозначить этот шестинедельный отпуск, представлялось теперь ей как какое-то сужение течения ее жизни, как сужение ее "Я"; это было похоже на ограничение ее "Я" пределами телесного, на протискивание бурлящей реки сквозь узкое ущелье. Имей она, когда она серьезно задумывалась над этим, постоянное чувство, будто ее "Я" не ограничено ее кожей и будто оно могло проникнуть сквозь ее легко проницаемую кожу в шелковое белье, которое она носила, и будь почти так, словно бы ее одежда таила в себе дыхание ее "Я" (поэтому наверняка можно объяснить и ее уверенность в вопросах моды), да, будь почти так, словно бы это "Я" живет вне тела, скорее обволакивая его, чем живя в нем, словно бы оно больше мыслит не в ее теле, а как-то вне его, на более высокой, так сказать, наблюдательной вышке, откуда она может рассматривать свою собственную телесность, какой бы важной она ни была, как ничтожную незначительность, то за время длившегося шесть недель физического события, за время бурлящего протискивания сквозь ущелье от всего раскинувшегося простора не осталось бы ничего, кроме всего лишь блестящего тумана, сияния радуги над грохочущими водами, в определенной степени — последнего прибежища души. Но теперь, поскольку успокоившееся пространство снова начало расширяться и это было подобно падению оков, то такой вздох и выравнивание одновременно становились же-

ланием забыть бурлящее ущелье. Впрочем, процесс забывания происходил строго поэтапно. Все личностное уходило из памяти относительно быстро; манеры Хайнриха, его голос, его слова, его походка — все это забылось моментально; но общие черты остались. Или, прибегая к неприличному сравнению: вначале исчезло его лицо, затем руки и ноги, но неподвижное и застывшее тело, этот торс, простирившийся от грудной клетки до основания бедер, эта в высшей степени непристойная картина мужчины, она сохранилась в глубинах ее памяти — божественная картина, покоящаяся в земле или омываемая прибрежными волнами Тирренского моря. И чем дальше заходило такое поэтапное забывание — и это было самым ужасным в нем, — тем больше суживалась эта божественная картина, тем сконцентрированнее и изолированнее была ее непристойность, непристойность, к которой все медленнее и медленнее, все более короткими шагами, приближалось забывание, не имея сил сопротивляться непристойности. Это всего лишь сравнение, и как всякое сравнение оно преувеличивает реальное положение вещей, которое, оставаясь в тени, является смешением неясных представлений, потоком полузабытых воспоминаний, полузавершенных мыслей, не совсем желанных устремлений, рекой без берегов с серебристым туманом над ней, серебристым дуновением, достигающим облаков и звезд на черном небе. Так что торс в водовороте реки был не торсом, он был отшлифованным булыжником, он был изолированным куском мебели, предметом домашнего обихода или мусором, брошенным в поток событий, глыбой, сброшенной в прибрежные волны: волна накатывала за волной, день сменялся ночью, и на смену ночи приходил день, и то, что дни шли за днями, было непонятно, иногда даже непонятнее, чем сны, следовавшие друг за другом, и иногда там, под ними, таилось нечто, что напоминало тайные догадки школьниц и каким-то образом пробуждало тайные желания убежать от этих инфантильных догадок, убежать в мир личностного и снова вырвать у забвения лицо Хайнриха. Но это было всего лишь желание, и его испол-

нение представлялось бы, по крайней мере, настолько же возможным, насколько возможным было дополнение греческого торса, найденного в земле; короче говоря, желание это было невыполнимым.

На первый взгляд может показаться не имеющим особого значения то, что главенствует в памяти Ханна Вендлинг — личностное или общее. Но в то время, когда общие черты настолько явно поднимаются до уровня доминирования, где социальный союз гуманного, который просто простирается от индивидуума к индивидууму, растворен ради коллективных обозначений никогда еще не видимого единообразия, где представлено полное отвратительных черт обезличенное состояние, соответствующее собственно только лишь детству и старости, то из такого всеобщего правила не может быть изъята и отдельная память, и отчуждение какой-то в высшей степени незначительной женщины, будь она даже очаровательной внешности и хорошей партнершей в постели, это правило не может быть объяснено, к сожалению, имевшей место сексуальной неудовлетворенностью, а оно составляет часть целого, отражает, как и любая отдельная судьба, метафизическое господство, повисшее над миром, если угодно, физическое событие, метафизическое, вопреки всему, в своей трагичности: ибо трагичность эта — отчуждение "Я".

72

История девушки из Армии спасения (13)

Это время, эта распадающаяся жизнь еще реальны? Моя пассивность росла с каждым днем, и не потому, что я был обессилен реальностью, которая оказалась сильнее меня, а потому, что я во всех отношениях проникал в нереальное. Я совершенно четко осознавал, что смысл и мораль моей жизни следует искать только в активности, но я понимал, что у этого

274

времени уже больше нет времени для единственно правильной активности, для созерцательной активности философствования. Я пытался философствовать, но куда подевалось достоинство познания? Не приказало ли оно уже давно долго жить, не превратилась ли сама философия перед лицом распада своего объекта просто в слова? Этот мир без бытия, мир без покоя, этот мир, который может найти и удерживать свое равновесие только в растущей скорости, его неистовство стало мнимой активностью человека, дабы столкнуть его в никуда; о, есть ли большая разочарованность, чем разочарованность времени, которое не способно философствовать! Само философствование стало эстетической игрой, игрой, которой больше не существует, которая попала в холостой ход зла, превратилась в занятие граждан, которые по вечерам мучаются скукой! Нам больше ничего не осталось, кроме числа, нам больше ничего не осталось, кроме Закона!

Часто мне кажется, что то состояние, которое владеет мной и которое удерживает меня в этой еврейской квартире, больше не следует называть разочарованностью, как будто оно в большей степени является мудростью, которая научилась ужиться с окружающей его отчужденностью. Ведь даже Нухем и Мари мне чужие, они, на кого я возлагал свою последнюю надежду, надежду, что они окажутся моим последним творением, — невыполнимая сладкая надежда, что я как будто взял в руки их судьбу, дабы определить ее. Нухем и Мари, они не являются моими творениями и никогда ими не были. Обманчивая надежда получить право формировать мир!

Есть ли у мира собственное существование? Нет. Имеют ли Нухем и Мари собственное существование? Конечно, нет, поскольку ни одно существо не ведет собственную жизнь. Но инстанции, определяющие судьбы, лежат далеко за пределами сферы моих полномочий и мысли. Сам я могу исполнять лишь только свой собственный закон, заниматься своим собственным, мне предписанным делом, я не в состоянии вырваться за его пределы, и пусть даже моя любовь к таким творениям, как

Нухем и Мари, не растает, пусть я даже не могу уступить в борьбе за их души и судьбы, все же остаются инстанции, от которых они зависят, недостижимые для меня, они остаются скрытыми от меня, скрытыми, как и белобородый дед, которого я иногда в полном здравии встречаю в прихожей, но который свой собственный облик принимает лишь в навечно закрытой для меня комнатухе и который общается со мной лишь через своего делегата Литвака, они так скрыты от меня, как и белобородый генерал Бут, портрет которого висит в приемной приюта. И если я себе все правильно представляю, то это никакая не борьба, ни против деда, ни против генерала Армии спасения, скорее я стараюсь угодить им обоим, для них же и мои усилия относительно Нухема и Мари, да, иногда мне даже кажется, что для меня дело исключительно в том, чтобы своими действиями добиться любви тех стариков, которые меня благословляют, и я не умру в одиночестве, поскольку реальность — это прерогатива тех, кто дал Закон.

Это ли разочарование? Это ли отход от всего эстетического? Где был я когда-то? Жизнь моя за мной покрывается мраком, и я не знаю, жил ли я или мне просто все рассказали — так глубоко погрузилось все это в далекие моря. Несут ли меня корабли туда, к берегам Дальнего Востока и Дикого Запада? Был ли я сборщиком хлопка на плантациях Америки, был ли я белым охотником на слонов в индийских джунглях? Все может быть, ничто не есть невозможным, даже замок в парке не является невозможным, высоты и впадины — все возможно, поскольку в этой динамике не осталось ничего, что не существовало бы по воле ее самой, то ли в работе, то ли в покое и ясности: ничего не осталось, выброшено мое "Я", выброшено в ничто, неизбывна тоска, недостижима обетованная земля, невидима большая, никогда недостижимая ясность, и общество, которое мы ищем, является обществом без силы, зато наполненное злой волей. Напрасная надежда, часто безосновательное высокомерие, мир остается враждебным, чуть меньше чем враждебным, чужим, поверхность которого я могу хорошо про-

щупать, но вторгнуться в который мне не удастся никогда, чужой мир, в который я никогда не вторгнусь, чужой в постоянно усиливающейся отчужденности, слепой в постоянно углубляющейся слепоте, уходящий и распадающийся в воспоминании о ночах родины, и в итоге не более чем распавшееся дуновение того, что было. Я прошел многими дорогами в поисках той единственной, в которую вливаются все другие, между тем они все больше разбегались в разные стороны, и даже Бог был определен не мной, а отцами.

Я сказал Нухему: "Вы подозрительный народ, злой народ, каждый раз сам Господь берет вас снова под свой контроль в собственной Книге".

Он ответил: "Закон остается. Бог будет лишь тогда, когда в Законе будет понято все, что там написано".

Я сказал Мари: "Вы смелый, но глупый народ! Вы думаете, что нужно быть просто хорошим и колотить в барабаны и что этим вы привлечете Бога".

Она ответила: "Радость от Бога есть Бог, милость Его неисчерпаема".

Я сказал себе: "Ты — дурак, ты — платоник, ты думаешь, осмысляя мир, что можешь его устроить по-своему и освободить самого себя для Бога. Разве ты не замечаешь, что ты при этом выбиваешься из сил?"

И я ответил себе: "Да, я ослабел".

73

РАСПАД ЦЕННОСТЕЙ (9) Познавательльно-теоретический экскурс

Есть ли еще у этого времени реальность? Имеет ли оно ценностную реальность, в которой сохраняется смысл его жизни? Имеется ли реальность для бессмысленности небытия? Где скрылась реальность? В науке? В законе? В долге? Или в со-

мнении вечно задающей вопросы логики, точка приемлемости которой отодвинулась в бесконечность? Гегель предсказывал истории "путь к освобождению духовной субстанции", путь к самоосвобождению духовного; оно стало путем к саморасчленению всех ценностей.

Дело, конечно, не в том, была ли опровергнута конструкция истории Гегеля мировой войной (об этом уже позаботилась семерка планет), поскольку реальность, ставшая в ходе четырехсотлетнего процесса автономной, ни при каких обстоятельствах не проявляла склонность и способность подчиниться дедуктивной системе. Более важным было бы поинтересоваться логическими возможностями этой антидедуктивной реальности, логическими причинами такой антидедукции, короче говоря, "условиями духовного познания", в которых должно было бы произойти это духовное развитие, но пренебрежение всем философским, усталость от слова наверняка сами являются частью этой реальности и этого развития, и только со всем недоверием к убеждающей силе слова возникает насущный методологический вопрос: что такое историческое событие? Что такое историческое единство? Или если идти еще дальше: что такое событие вообще? Какая требуется сортировка, чтобы свести отдельные факты в единство какого-то события?

Привязка автономной жизни к категории ценности так же неразрешима и странна по своей сути, как и привязка автономного сознания к категории истины, — для таких феноменов, как ценность или истина можно искать другие названия, но они, вопреки всему, будут оставаться феноменами так же неизбежно, как сами *sum*¹ и *cogito*², полученные из совершенно изолированной автономии "Я", которые являются как актом, так и определением этого "Я", так что ценность распадается на ценностноопределяющее, в самом общем смысле мироформирующее действие и на сформированную, пространственно вос-

¹ Существование (лат.).

² Мышление (лат.).

принимаемую, мировидимую реализованную субстанцию ценности; понятие ценности распадается на дополнительные категории: на этическую ценность делания и на эстетическую ценность сделанного, лицевую и обратную сторону одной и той же медали, и лишь в этом единении они проявляют наиболее общее понятие ценности и определяют логическое место всей жизни. В истории действительно всегда было именно так: уже исторические писания античности были подчинены своим понятиям ценности, морализирующая история XVIII века с полным осознанием обращалась к своим, а концепция Гегеля наиболее отчетливо обнаруживала абсолютную ценность как в понятии "мирового духа", так и в понятии "судейства истории". Поэтому ничего удивительного, что методологическая функция понятия ценности стала основной темой послегегелевской истории философии, впрочем, с губительным побочным результатом: разделением общего познания на свободное от ценностей естественнонаучное и ориентированное на ценности духовно-научное,— это, если угодно, первое банкротство философии, поскольку тем самым идентичность мышления и бытия была ограничена логико-математической областью, а для всей остальной области познания, как кажется, идеалистическая основная задача философии была отменена или отодвинута в неопределенность интуиции.

Гегель выдвинул Шеллингу обвинение (справедливое) в том, что он проецирует абсолютное на мир так, "словно выстреливает из пистолета". То же самое наверняка относится и к понятию ценности в гегелевской и послегегелевской философии. Просто проецировать понятие ценности на историю и все; то, что хранится историей, если на то пошло, еще допустимо сразу же обозначать как "ценность" для чисто эстетических ценностей изобразительного искусства, но в такой же степени неправильно в противном случае испытывать необходимость объяснять историю как конгломерат малоценностей и вообще не признавать ценностную реальность истории.

Первый тезис:

история состоит из ценностей, поскольку осмыслить жизнь можно только в ценностных категориях,— но эти ценности не могут вводиться в реальность как абсолют, а могут просто представляться в единении с этически действующим ценностноопределяющим субъектом ценности. Гегель перенес в реальность такой объект ценности в виде абсолютного и объективированного "мирового духа", но его конструкция в ее всеохватывающей абсолютности должна была бы привести к абсурдности. (Тут снова проявляется непреодолимое препятствие бесконечности дедуктивного мышления.) Существуют просто конечные определения. Там, где имеется конкретный, изначально конечный субъект ценности, то есть конкретная личность, там совершенно очевидными являются относительность ценностей, их зависимость от введенного субъекта — биография личности состоит из перечисления всех ценностных моментов, которые ей самой кажутся важными. Личность как таковая может оказаться в высшей степени малоценной, даже враждебной ценностям, если она, к примеру, была атаманом разбойников или дезертиром, но как ценностный центр с принадлежащим ему кругом ценностей она все же имеет биографию и историю. Точно так же обстоят дела с фиктивными ценностными центрами: история государства, клуба, нации, немецкой Ганзы¹, да даже история неодушевленных предметов — та же история архитектуры какого-то здания — формируется толкованием тех фактов, которые были бы сами по себе важны соответствующим ценностным центрам, будь на то воля. Событие без ценностного центра распадается на сопутствующие малозначительные детали — битва при Кунерсдорфе²,— состоит не из списка

¹ Ганза — торговый и политический союз северо-немецких городов в XIV—XVI вв. во главе с Любеком.

² Кунерсдорф — деревня вблизи Франкфурта-на-Одере. Во время Семилетней войны 1756—1763 гг. русские и австрийские войска под командованием

участвовавших в ней гренадеров, а из выработок реальности, подчиненной планам полководцев. Каждое историческое единство зависит от эффективного или фиктивного ценностного центра, "стиля" эпохи; даже эпохи самой по себе как исторического события не существовало бы, если бы в ее основу не закладывался создающий единство принцип толкования, "дух эпохи", которому отводится ценностноопределяющая и стилеформирующая сила. Или, прибегая к избитому выражению, культура — это ценностное образование; культура мыслима только при наличии стилевого понятия, и чтобы иметь возможность вообще мыслить о ней, необходимо наличие в центре того круга ценностей, который представляет культуру, стилеобразующего и ценностнообразующего "духа культуры".

Означает ли это относительность всех ценностей? Состоит ли задача всякой надежды в том, чтобы в действительности единством мышления и бытия проявлялась в реальности абсолютность логоса? Состоит ли задача надежды в том, чтобы путь к самоосвобождению духа и гуманизма мог бы быть пройденным хотя бы частично?

Второй тезис:

историчность, биографичность ценностноопределяющего деяния обуславливается абсолютностью логоса. Поскольку эффективный или фиктивный субъект ценности может быть представлен только в единстве его "Я", в том неустранимом изолированном и платоническом единстве, которое гордится тем, что зависит исключительно от предписаний логического, и стремится подчинить действие такой логической приемлемости; но это означает, в полном соответствии с Кантом, не только требование "доброй воли", создающей творение волею творения, но и указание извлечь все последствия из автономной закономерно-

генерала П.С.Салтыкова 1 августа 1759 г. при Кунерсдорфе разгромили прусскую армию Фридриха II, и Пруссия оказалась на грани катастрофы.

сти "Я", так что творение, не подверженное влиянию какой бы то ни было догматики, создается в чистой оригинальности этого "Я" и этого Закона. Другими словами: то, что возникает не чисто из своей собственной закономерности, то из истории исчезает. Но эта собственная закономерность настолько сильно действует во времени, то есть является времяобуславливающей и стилеобуславливающей, что такая стилевая обусловленность опять-таки может быть только оттенком вышестоящего логоса, того логоса, который действует сегодня и является мышлением, не чем иным, как земным оттенком, перемешиваясь тем не менее с каждым оттенком, позволяя только в своей неизбывной претензии на вневременность, чтобы привязанное к стилю мышление проецировалось на другое "Я". И это формальное основополагающее единство становится видимым каждый раз по-новому и в полной ясности в более узкой области совершенного и всеобще-эстетического творения, а именно — в художественном, отчетливее всего — в неразрушимости форм искусства.

Из этого в обобщенном виде проистекает

третий тезис:

мир — это определение интеллигибельного "Я", поскольку неутраченной была и остается платоническая идея, но не определение, "выстреленное из пистолета", постоянно могут определяться только ценностные субъекты, которые отражают со своей стороны структуру интеллигибельного "Я" и предпринимают со своей стороны свои собственные определения ценностей, свои собственные формирования ценностей: мир является не непосредственным определением "Я", а его промежуточным определением, он является "определением определений", "определением определений определений" и т.п. в бесконечной повторяемости. В этом "определении определений" мир содержит свои методологическую организацию и иерархию, конечно, релятивистскую организацию, впрочем, по форме — абсолютную, поскольку этическое требование, предъявляемое к

эффективным или фиктивным ценностным субъектам, остается неизменным, а с ним и имманентное действие логоса внутри выполненного творения — логика вещей сохраняется. И даже если постоянно преломляется логический прогресс истории, поскольку достигается граница бесконечности ее метафизической конструкции, и даже если платоническая картина мира постоянно уступает позитивистскому представлению, непоколебимой остается эффективность платонической идеи, которая в любом позитивизме каждый раз заново соприкасается с материнской почвой, дабы, опираясь на пафос познания, каждый раз заново поднимать голову.

Любое понятийно определенное единство в мире является "определением определения", как и любое понятие, любая вещь, и вероятно, эта методологическая функция способствующего единству познания, которая может определить вещь просто как автономный и ценностноопределяющий субъект ценности, простирается вплоть до математики, отменяя таким образом различие между математически-естественнонаучным и эмпирическим формированием понятий. С методологической точки зрения "определение определения" представляется не чем иным, как выходом идеального наблюдателя на поле наблюдения, как это уже давно, совершенно независимо от познавательно-теоретических воззрений, производилось эмпирическими науками, например физической теорией относительности, это привело также изучение основ математики вопросами "Что такое число?", "Что такое единство?" к точке, в которой оно вынуждено обратить свой взор к аварийному выходу интуиции; благодаря принципу "определения определения" интуиция получает свое логическое признание, поскольку помещение "Я" в гипостазированный ценностный субъект может вполне обоснованно рассматриваться как методологическая структура интуитивного акта!

То, что принцип "определения определения" так долго может оставаться незамеченным, может, наверное, объясняться его примитивностью. Да, примитивностью! И для высокомерия

человека это может быть невыносимой нагрузкой, если он вынужден признавать примитивные отношения, ибо если через процесс "определения определения" происходит внедрение интеллигибельного "Я" во все вещи мира, то, закрыв на какое-то мгновение глаза на эту платоническую основу, в "определении определения" находит свое завершение всеобщее одухотворение природы; более того, всеобщее одухотворение мира во всей его полноте, всеобщее одухотворение, которое каждой вещи и каждому еще столь абстрактному понятию интродуцирует ценностный субъект и которое можно сравнить лишь со всеобщим одухотворением мира, как оно проявляется в мышлении примитивного: это так, как будто бы для развития логического существует своего рода онтогенез, который сам в достигшей наивысшего развития логической структуре в живом виде содержит все бывшие и, как казалось, уже отмершие формы мышления, то есть формы мышления прямого одухотворения, первичную форму однозвенной цепи приемлемости, и который каждому мыслительному шагу определяет форму, если не содержание, примитивной метафизики. Это, конечно, оскорбление для рационалиста, но утешение для пантеистического чувства.

Тем не менее здесь можно также увидеть утешение и для рациональной области. Если, собственно, интерпретировать "определение определения" в его привязанности к логосу как логическую структуру интуитивного акта, то в нем можно увидеть также "условие возможного познания" для в остальном необъяснимого факта понимания между человеком и человеком, между одиночеством и одиночеством: то есть существует не только познавательная-теоретическая структура переводимости всех языков, даже если они очень сильно различаются, а более того, намного более того, оно дает единству понятия общий знаменатель всех человеческих языков, оно дает гарантию единства человека и его человечности, которая и в саморастерзании своего бытия продолжает оставаться подобием Божьим, ибо в отражении самого себя, в любом понятии и в

любом единстве, даваемом Им, человеку освещает путь логос, освещает путь слово Божье как мерило всех вещей. И пусть даже будет отменена неподвижность этого мира, пусть даже будет отменена его эстетическая ценность и растворена в функции, растворена в сомнении относительно всей законности, более того, растворена в обязанности задавать вопросы и сомневаться, неприкосновенным остается единство понятия, неприкосновенно этическое требование, неприкосновенными остаются чрезмерная строгость этической ценности как чистой функции, реальность обязанности строжайшего правила, единство мира, единство человека, которое проявляется во всех вещах, которое не было потеряно и не может быть потеряно ни в пространстве, ни во времени.

74

Доктор Флуршютц помогал Ярецки надевать протез. Рядом стояла сестра Матильда.

Ярецки дергал за ремни: "Ну, Флуршютц, душа у вас не болит, что теперь вот дело идет к прощанию... я уж не говорю о сестре Матильде!"

"Знаете, Ярецки, я, собственно, был бы совершенно не против, чтобы вы оставались здесь под моим контролем... время, которое вы сейчас переживаете, не лучший период вашей жизни".

"Не знаю... подождите...— Ярецки пытался зажать между пальцами протеза сигарету.— Подождите... как насчет того, чтобы усовершенствовать эту штуку в качестве держателя сигарет?.. или как мундштук для сигарет?.. это же было бы настоящее изобретение..."

"Не шевелитесь хоть минуточку, Ярецки,— Флуршютц затянул ремни.— Так как вы себя чувствуете?"

"Как новорожденная машина... машина в отличный период

своего существования... Если бы сигареты были покачественнее, то было бы еще лучше".

"А не лучше ли было бы вам бросить курить?.. да и остальное тоже".

"Любить? Да, пожалуйста".

"Нет. Доктор Флуршютц имеет в виду, что вам следует бросить пить", — не очень удачно объяснила сестра Матильда.

"Ах вон оно что, а я и не понял... когда ты трезв, то соображаешь всегда так туго... что вы, Флуршютц, все еще не можете понять: лишь когда люди под мухой, то только тогда они понимают друг друга".

"Это смелая попытка оправдаться!"

"Ну, Флуршютц, вы просто вспомните, под какой обалденной мухой мы были в августе 14-го... Мне кажется, будто тогда это было в первый и последний раз, когда люди действительно составляли одно целое".

"Приблизительно то же говорит Шелер¹..."

"Кто?"

"Шелер. Гений войны... дрянная книжонка".

"Ах, это... книжонка... это пустое... но я хочу вам кое-что сказать, Флуршютц, и со всей серьезностью сказать: дайте мне какое-нибудь другое, какое-нибудь новое опьянение, пусть это будет морфий, или патриотизм, или коммунизм, или еще что-то, что совершенно пьянит людей... Дайте мне что-либо, чтобы мы все снова составляли одно целое, и я брошу пить... прямо сегодня и сейчас".

Флуршютц задумался, затем сказал: "Есть в этом что-то правильное... но если это должно быть не более чем опьянение и чувство единства, то для этого есть одно очень простое средство, Яречки: влюбитесь".

¹ Макс Шелер (1874—1928) — немецкий философ-идеалист, один из основоположников философской антропологии, аксиологии, социологии познания. Формальной этике Канта противопоставлял так называемую материальную этику ценностей, в основе которой — учение о чувстве как направленном акте постижения ценности.

"По приказу врача: есть... А вы, сестра, уже тоже влюбились по приказу?"

Сестра Матильда покраснела; на ее веснушчатой шее выступили два красных пятна.

Ярецки даже не взглянул на нее: "Неважное время для того, чтобы влюбиться... Мне кажется, мы все переживаем сейчас неважный период... любви тоже пришел конец... — он пощупал суставы протеза и продолжил: — Честно говоря, неплохо было бы прилагать инструкцию по эксплуатации... должен же где-то здесь быть сустав для объятий".

Флуршютц почему-то обиделся. Может, потому, что это было сказано в присутствии сестры Матильды. Сестра Матильда покраснела еще сильнее: "И что за фантазии у вас, господин Ярецки".

"Отчего же? Более чем хорошая мысль... протезы для любви... это вообще была бы просто прелестная штука, специальная модель для штабных офицеров от полковников и выше... я бы организовал целую фабрику".

"Вы всегда прикидываетесь таким *enfant terrible*¹?" — поинтересовался Флуршютц.

"Нет, просто у меня идея для военной промышленности... А сейчас давайте снимем". Ярецки начал расстегивать ремни. Сестра Матильда помогала ему. Он выпрямил суставы металлических пальцев: "Так, а сейчас он получит свою перчаточку... безымянный палец, указательный палец, а вот и большой, который стряхивает сливы".

Флуршютц осмотрел шрамы на обнаженной культишке руки: "Думаю, что сидит очень хорошо, просто следите за тем, чтобы вначале не натирал до крови".

"Натирают шустрые уборщицы... этот стряхивает сливы".

"Ну, Ярецки, с вами и вправду невозможно разговаривать".

¹ Букв. — ужасный ребенок (*фр.*), т.е. человек, смущающий всех неуместной откровенностью.

То, что Хугюнау спрятался тогда во время обеда от Эша, действительно оказалось совершенно ненужным, поскольку в тот же вечер произошла ужасная стычка. Впрочем, Эш был довольно быстро обезоружен, так как Хугюнау не только с кичливым видом сослался на зафиксированное в договоре издательское право, которое позволяло ему безо всяких ограничений вмешиваться в публикуемые статьи, но и высказал Эшу свои собственные аргументы. "Дорогой друг,— издевательски начал он,— вы достаточно часто плакались, что вам ставят палки в колеса, когда вы хотите изобличать общественные недостатки... Теперь же, когда другой человек набирается смелости действительно сделать это, вы поджигаете хвост... ну конечно, не хочется лишиться протекции некоего господина коменданта города... всего лишь, как всегда, держите нос по ветру, не так ли?" Да, Эшу пришлось выслушать эту речь, и хотя это был подлый и предательский удар, нанесенный в спину, он не нашелся, что на это ответить, кроме как застыть истуканом и молчать.

Хугюнау же, сделав искусный маневр, отправился после этого к госпоже Эш, чтобы со всей горечью пожаловаться на человека, который грубо обращался с одним добросовестным сотрудником, и почему? Просто потому, что тот добросовестно и самоотверженно выполнял свой долг. Это не осталось без последствий, и когда на следующий день Эш пришел на обед, то обнаружил дующегося Хугюнау, а также его супругу, которая с примирительными словами взяла под защиту невиновность господина Хугюнау, так что не прошло и пяти минут, как они снова дружно хлебали ложками суп к большому удовольствию госпожи Эш, которая уже начала побаиваться, что потеряет квартиранта, никогда не скупившегося на комплименты.

Не исключено, что и самому Эшу было совершенно очевидно, что надо было бы избежать окончательного разрыва, влекущего за собой вышвыривание Хугюнау из этого дома; неиз-

вестно, какие еще выпады против майора замышляет этот парень... В любом случае хорошо будет держать его в поле зрения. Таким образом Хугюнау остался в этом доме, хотя обеды обычно и проходили в не очень уютной атмосфере, в частности потому, что Эш взял привычку, наклонившись к тарелке, кидать в сторону соседей по столу изучающие недоверчивые взгляды.

Хугюнау, надо отдать ему должное, старался изо всех сил разрядить обстановку, но особого успеха он не имел. Вот и сегодня, хотя с того события прошло уже более восьми дней, Эш снова показал себя со своей невыносимой стороны. И на нерешительный вопрос жены он только буркнул себе под нос: "Уехать в Америку..."

Далее они ели молча.

Наконец, насытившись, Хугюнау откинулся на спинку стула и прервал неприятное молчание многообещающими словами. "Матушка Эш,— произнес он и поднял палец,— матушка Эш, я нашел одного крестьянина, который будет поставлять нам муку, иногда, может быть, и ветчину".

"Даже так? — недоверчиво сказал Эш.— И где же вы его тут подцепили?"

Естественно, никакого крестьянина и в помине не было, но то, чего нет, вполне может быть, и Хугюнау рассердился, что его добрая воля никем не была оценена. Но он вовсе не хотел снова ругаться с Эшем, а наоборот, хотел сказать ему что-нибудь любезное. "Нужно ведь хоть немножечко помочь матушке Эш... четыре рта... я удивляюсь, что она вообще справляется со всем этим... сюда ведь следует отнести еще и малышку".

Эш усмехнулся: "Да, малышку".

Хугюнау, упреждая его, сказал: "А где же она сейчас прячется?"

Госпожа Эш вздохнула: "Вы правы, сегодня это непросто — прокормить четыре рта... Было бы лучше, если бы мой муж не вешал на свою шею заботу об этой малышке".

"Тут бесполезно меня уговаривать",— вскинулся Эш. Он сердито посмотрел на жену, которая сидела со странно за-

стывшей на лице улыбкой, как будто осознавала свою вину. Эш немного успокоился: "Если нет новой жизни, то все мертво".

"Да, да", — согласилась госпожа Эш.

Хугюнау сказал: "Но она целый день шляется по улице... с мальчишками; смотрите, а то она еще удерет от вас".

"Ну, ей вполне нравится у нас", — сказала госпожа Эш. А Эш с осторожностью, словно он имеет дело с беременной, взял жену за полное предплечье левой руки: "Хотелось бы думать, что ей у нас хорошо, не так ли?"

Эта супружеская пара разозлила Хугюнау. Он сказал: "Мне тоже хорошо у вас, матушка Эш, не хотите ли усыновить и меня?" Он охотно бы добавил, что тогда у Эша был бы сын, о котором он постоянно болтает и который должен построить дом, но по какой-то ему самому непонятной причине испытал глубокое недовольство и все сказанное уже не воспринимал как шутку. И когда Эш внезапно вскочил, наклонившись к нему с угрожающим видом, то Хугюнау это не удивило. Вне всякого сомнения, было бы лучше выбраться на улицу и поискать Маргерите: она наверняка где-то там внизу, на улице. Лучше всего было бы пойти прогуляться с Маргерите.

Казалось, что госпожа Эш тоже напугана наглым заявлением, предъявленным ей Хугюнау. Она почувствовала, как в ее руку впились костлявые пальцы Эша; открыв рот, она уставилась на Хугюнау, который между тем поднялся из-за стола; лишь когда он оказался у двери, она пролепетала: "А почему нет, господин Хугюнау..."

Хугюнау еще потоптался у двери, но его озлобленное недовольство Эшем не ослабевало. Внизу он встретил Маргерите и подарил ей целую марку. "На дорогу, — сказал он ей, — но для этого ты должна хорошо одеться... теплые штанишки... дай-ка я посмотрю... мне кажется, что ты совсем раздета... а осенью будет холодно".

Было уже за девять, когда у доктора Кесселя раздался звонок. На углу дивана сидел Куленбек с сигарой: "Ну что, Кессель, еще один пациент?" "А что же еще,— ответил Кессель, автоматически поднявшись,— что же еще... ни одной ночи, чтобы можно было отоспаться". Уставшими шагами он направился в соседнюю комнату, чтобы принести сумку.

Между тем наверх поднялась служанка: "Господин доктор, господин доктор, там внизу господин майор". "Кто?" — крикнул Кессель из соседней комнаты. "Господин майор". "Это за мной", — сказал Куленбек. "Бегу", — крикнул Кессель и, все еще держа в руках черную сумку, поспешил встречать гостя.

В дверях стоял майор; на его лице играла немного смущенная улыбка.

"Мне стало известно, что господа вместе... и поскольку вы, господин доктор Кессель, были столь любезны и приглашали меня... я подумал, что господа, может быть, музицируют".

"Ну, слава Богу, а я уж подумал, что опять что-то случилось,— вздохнул Куленбек,— ну, тем лучше".

"Нет, ничего не случилось", — сказал майор.

"Никакого, значит, мятежа? — выдал с обычной бесцеремонностью Куленбек и добавил: — Кто, собственно, написал эту идиотскую статью в "Вестнике"? Эш или этот придурок с французской фамилией?"

Майор не ответил; вопрос Куленбека оказал на него неприятное воздействие. Он пожалел, что пришел. Но Куленбек не успокаивался: "Ну, особо уж хорошо тем господам в тюрьме быть не может... но они же не на фронте, и одно только это дает им все основания вести себя спокойно. Как будто не знают, какая милость дарована им — жить, просто жить, пусть даже столь убого... У людей плохая память".

"Газетчики", — сказал майор, хотя это было уже не совсем по теме.

"А я испугался, что опять вызывают,— вставил свое слово

Кессель.— Будем надеяться, что сегодня уже больше никто не потревожит”.

Куленбек продолжал: “Неслыханный шик со стороны государства в такое время продолжать содержать тюрьмы... К тому же излишне все это... Весь мир и так тюрьма... впрочем, заведение уже давно надо было эвакуировать. Что будем делать с заключенными, если придется переселяться?”

“До этого дело пока еще не дошло,— сказал майор,— а с Божьей помощью и не дойдет”. Он сказал то, во что сам не верил. Буквально сегодня после обеда он получил секретное предписание с указаниями на случай возможной эвакуации города. Предписания и отменяющие их приказы накладывались друг на друга, и неизвестно было, что произойдет уже через час. Это было какое-то болото.

Куленбек посмотрел на свои большие добрые ручки хирурга: “Если сюда придут французы, будьте спокойны, мы передадим их собственными руками”.

Вмешался Кессель: “Иногда мне кажется счастьем, что моя бедная жена не дожила до этого времени”. Он посмотрел на фотографию, которая висела над пианино, украшенную венком из сухих цветов и траурной повязкой.

Майор тоже поднял взгляд на фотографию. “Ваша покойная супруга умела музицировать?” — спросил он наконец. Рядом с пианино стояла виолончель в сером полотняном футляре, на котором были вышиты красная лира и две перекрещивающиеся флейты. Зачем он пришел сюда? Зачем он пришел к этим врачам? Плохо себя чувствовал? Он ведь терпеть не мог врачей, они же все вольнодумцы и ненадежные люди. Не знающие, что такое честь. Вот на углу дивана сидит старший врач с запрокинутой назад головой и, выставив свою бородку, пускает к потолку кольца дыма. Все это было несолидно. Зачем он пришел сюда? Но лучше уж быть здесь, чем в одиноком гостиничном номере или в обеденном зале, где в любую минуту может всплыть этот Хугюнау. Кессель принес еще одну бутылочку

"Бернкастельского", и майор торопливо выпил один бокал, затем произнес: "Я думал, что господа сыграют".

Кессель с отсутствующим взглядом улыбнулся: "Да, моя супруга была очень музыкальным человеком".

Куленбек сказал: "А как насчет того, Кессель, чтобы вы достали все-таки свою виолончель? Мы все получили бы удовольствие".

Майор почувствовал, что Куленбек хочет оказать ему таким образом любезность, даже если это и было в чем-то очень уж фамильярно. Поэтому он просто сказал: "Да, это было бы прекрасно".

Кессель подошел к виолончели и, взглянув на фотографию, расстегнул футляр инструмента. Но затем остановился: "Да, но с кем прикажете мне играть, кому аккомпанировать?"

"Да вы и сами справитесь, Кессель,— сказал Куленбек,— только смелее". Кессель помедлил немного: "Хорошо, что прикажете сыграть?" "Что-нибудь для настроения",— сказал Куленбек, и Кессель, подтянув к себе стул, сел рядом с пианино, как будто там кто-то сидел, кому нужно было аккомпанировать; он прикоснулся к одной клавише, прошелся по струнам, настраивая инструмент. Затем закрыл глаза.

Он играл сонату для виолончели Брамса. Его лицо с мягкими чертами странным образом замкнулось в себе, седые усы над сжатой губой были уже больше не усами, а серой тенью, изменились складки на щеках, это было уже не лицо, оно стало почти невидимым, может — серым осенним ландшафтом в ожидании снега. И когда по носу вниз скатилась слезинка, то это была уже вовсе не слезинка. Только рука оставалась еще рукой, казалось, что движение смычка собрало под ее власть всю жизнь, поднимаемую и опускаемую волнами смутного мягкого потока звуков, который становился все шире и обволакивал его, играющего, делая его очень одиноким и отрешенным. Он играл. Наверное, это был просто дилетант, но для него, для майора и для Куленбека это тоже не имело никакого значения:

отменена была отвратительная немота времени, время само было отменено и приняло форму пространства, обволакивающего их всех, пока раздавались звуки виолончели Кесселя, создавая пространство, наполняя пространство, наполняя их самих.

Когда отзвучали последние аккорды музыки, и доктор Кессель снова стал доктором Кесселем, майор взял себя в руки, дабы за невозмутимой уставной манерой держать себя скрыть то, как он растроган. Он ждал, что теперь доктор Кессель скажет что-нибудь утешительное — должно же быть сейчас что-то сказано! Но доктор Кессель просто наклонил голову, и стали видны его жидкие волосы — не жесткая седая шевелюра, как у Эша,— слабо закрывавшие лысину. Чуть ли не стесняясь, он убрал инструмент, застегнул полотняный футляр, что произвело какое-то даже неприличное впечатление, а Куленбек на своей софе не нашелся что сказать, кроме: "Н-да". Наверное, все трое чувствовали себя неловко.

Наконец Куленбек произнес: "Н-да, врачи народ музыкальный".

Майор пытался вспомнить: в молодости у него был друг, друг ли это был? Он играл на скрипке, это был не врач, хотя он... может быть, он был врачом или хотел им быть. Но память изменила ему, память застыла, застыло движение, и майор просто сидел, положив руку на черное сукно форменных брюк. И вопреки его воле, губы шептали: "Выставлено нагим и обнаженным..."

"Господин майор!" — окликнул его Куленбек.

Майор повернулся к нему: "Ах, ничего... плохие времена... мы вам очень признательны, господин доктор Кессель".

Тут дар речи вернулся и к Кесселю: "Да, музыка является утешением в это время... Нам не так уж много осталось".

Куленбек стукнул кулаком по столу: "Давайте-ка не будем здесь ныть... И если даже мир наполнен злом, тот, кто жив еще, не должен предаваться унынию... Пусть только наступит мир, и мы уж снова очухаемся!"

Майор покачал головой: "Против низкого предательства мы бессильны". Перед его глазами стояло лицо Эша, это желтовато-смуглое лицо с вызывающей усмешкой; да, вызывающей, это было подходящим словом, это лицо, которое тем не менее как будто просило прощения, и на нем было выражение, которое бывает в глазах упавшей лошади.

"Нас, немцев, всегда предавали,— сказал Куленбек,— и тем не менее мы живем". Он поднял бокал: "Да здравствует Германия!" Майор тоже поднял бокал, он подумал: "Германия", подумал о хорошем порядке и об ощущении безопасности, которым до сих пор для него была Германия. Он не видел больше Германии. Почему-то он считал Хугюнау виновным в несчастьях отчизны, в перемещениях войск, в противоречивых распоряжениях армейского командования, в нерыцарском оружии газовой войны, во всеобщем растущем беспорядке. У него в душе даже шевельнулось желание, чтобы лицо Эша слилось с лицом Хугюнау в один цельный образ, доказывая, что они оба были наместниками зла, оба авантюристы, поднявшиеся из крайне запутанной сутолоки дел и лиц, которые не поддаются пониманию, оба ненадежны и достойны презрения, эти двое, несущие на себе вину, несущие на себе дьявольскую вину в непоправимом исходе войны.

Кессель сказал: "Я закончил со всем этим... Я выполнил свой долг, и я закончил".

Страшно запутанной была жизнь, сплетение зла нависало над миром, и снова поднимался немой сильнейший вопль. Тот, кто отклоняется от тропы евангелического долга, тот грешен, и грешна была надежда на то, что милость будет исполнена уже в земном, провозглашенная дружеским голосом, разбивающим молчание и застылость танковой брони и превращающим одиночество в сладостный поток. И майор сказал: "Мы отклонились от пути долга и должны понести наказание".

"Да ну, господин майор,— Куленбек засмеялся.— Я не чувствую себя обязанным, разве только чувствую, что должен то-

пать домой, дабы наш уставший Кессель наконец-то мог лечь в кровать". Он поднялся, форменный китель сидел несколько мешковато на его массивной фигуре. Одетый в форму гражданский тип,— невольно подумал майор,— какой это солдат? Майор фон Пазенов тоже поднялся. Зачем он сюда приходил, он, тот, кто тянет ляжку военной службы? Земной долг — это отражение Божьей заповеди, а служение чему-то большему, чем ты сам, обязывает человека подчиниться более высокой идее, требует от него отказаться даже от последнего маленького кусочка личной свободы, если в этом возникает необходимость. Добровольное послушание, да, именно это является определенной Богом позицией, все остальное можно считать несуществующим. Майор одернул китель, коснулся ленты Железного Креста, и благодаря уставной строгой манере держать себя, в которой он попрощался, ему удалось вернуться к тому ощущению ясности и безопасности, которое дают человеку долг и военная форма.

Доктор Кессель проводил их по лестнице. У двери майор с некоторой церемонностью сказал: "Благодарю вас, господин доктор Кессель, за то удовольствие, которое вы нам доставили". Кессель немного повременил с ответом, затем тихо произнес: "Я вас должен благодарить, господин майор... это было в первый раз после смерти моей бедной супруги, когда я снова играл". Майор между тем не слушал его, а просто протянул ему с немного высокомерным видом руку. Вместе с Куленбеком они шли по узким переулкам, через Рыночную площадь, по их лицам текли тонкие струи осеннего дождя, оба были одеты в серые офицерские пальто, на обоих были офицерские фуражки, и тем не менее, они не были товарищами по военной службе. К такому выводу пришел майор.

История девушки из Армии спасения (14)

Знания, приобретенные вследствие голодания и самоистязания, конечно же, лишены законченной логической четкости. Думаю, со всей определенностью могу сказать, что тогда произошло изменение состояния моего сознания. Один лишь я имел возможность с крайним недоверием наблюдать за этим изменением, а поскольку оно происходило нога в ногу с продолжающимся недоеданием, да, я был почти готов явиться пред очи доктора Литвака и сказать, что заболел, тем более, что говорить можно было намного скорее о светлом телесном ощущении, чем о каком-то обострении моего миропознания. Задавай я, например, старый вопрос, имеет ли еще моя жизнь смысловую реальность, это было бы телесное ощущение, даввшее мне ответ и дарившее определенность в том, что живу я в своего рода реальности второй степени, что возникла своего рода нереальная реальность, реальная нереальность, и что она пронизывает меня насквозь странной радостью. Это было своего рода состояние колебания между еще-не-знанием и уже-знанием, это был символ, который еще раз приобретал свое символическое значение, лунатизм, ведущий к свету, страх, исчезающий и снова рождающийся сам по себе, это было словно покачивание над морем смерти, стремительное скольжение вверх и вниз над волнами, не прикасаясь к ним, настолько легким я стал, это было едва ли не телесное сознание, которым я воспринимал платоническую реальность мира, и я был абсолютно уверен в том, что мне достаточно сделать всего лишь один крошечный шаг, чтобы превратить такое телесное сознание в рациональное.

В этой раскачивающейся реальности на меня струились вещи, они струились в меня, а я должен был не обращать на них внимания. То, что раньше выглядело пассивностью, сейчас обрело свой смысл. Если раньше я оставался дома, чтобы за-

ниматься своими мыслями, произносить философские монологи и записывать их время от времени в краткой форме, то теперь я оставался в своей конуре как больной, который слушается врача и прислушивается к болезни. Все было так, как хотел доктор Литвак. Теперь он регулярно навещал меня, а иногда я его и сам звал к себе; и если он, внезапно меняя ход своих мыслей, пытался мне разъяснить, что я не болен: "У вас не большая анемия, а в остальном вы просто ненормальный", то это тоже было правильным, поскольку я ощущал себя как человек, который истек кровью. Я больше не хотел размышлять, не потому, что не был способен к этому, а потому, что пренебрегал этим. Конечно, я не стал таким уж умным, конечно же, я не считал, что достиг той последней ступени знания, которая позволяла бы мне поставить себя над знанием, ах, слишком низко стоял я под знанием, это был скорее страх потерять то витающее в воздухе, которое скрывалось за пренебрежением словом. Или это было внезапно пробудившееся убеждение в том, что единство мышления и бытия может быть осуществлено только в самых скромных рамках? Как мышление, так и бытие ограничены до минимума!

Иногда меня навещала Мари, приносила кое-какие продукты питания, как и остальным своим больным, и я мирился с этим. Недавно она столкнулась у меня с Литваком и Нухемом. Следуя своему обыкновению, она приветствовала их дружеским "Благослови вас Господь", а Литвак не преминул и в этот раз ответить ей на это: "До ста лет". Мари закашлялась, и его лицо приняло озабоченное выражение: "Ну что же вы так",— сказал он, при этом осталось непонятным, то ли он имеет в виду вероятно имеющуюся болезнь легких, то ли опасность заражения, которой, как он считал, подвергается Нухем. Он предложил также бесплатно обследовать Мари, а когда она отказалась, сказал: "По крайней мере, гуляйте много на свежем воздухе... и берите с собой его, у него склонность к анемии". Нухем стоял рядом и листал мои книги. Впрочем, Литвак прописывал мне каждый раз новые средства, а когда выдавал рецепты, то по-

смеивался: "Принимать это вы все равно не будете, но, как доктор, я должен что-нибудь прописать". Мы пришли к чему-то вроде хорошего взаимопонимания.

Где находилась точка нашего взаимопонимания? Почему я должен был оставаться с ними, почему временность этой еврейской квартиры стала для меня длящейся бесконечно, я даже не мог себе представить, что оставляю ее, почему я слушаюсь этих евреев? Все является временным, беженцы являются временными, да и все их существование является таким, само время имеет временный характер, такой же временный, как и война, которая продлила срок своего существования далеко за пределы своего собственного конца. Временность стала окончательностью, она непрерывно сама себя отменяет и продолжает существовать дальше. Она тянется за нами, и мы уживаемся с ней, в еврейской квартире, в приюте. Но она приподнимает нас надо всем, что было, она удерживает нас в счастливом, почти эйфорическом состоянии витания, в котором все является будущим.

В конце концов я послушался доктора Литвака и стал ходить на прогулки, если меня сопровождали Нухем или Мари.

Стояли очень красивые осенние дни, и мы присели с Мари под деревьями. А поскольку все происходило в такой светлой откровенности и поскольку слова значили мало, я задал ей вопрос: "Ты падшая девушка?"

"Была такой", — ответила она.

"А сейчас ты ведешь праведный образ жизни?"

"Да".

"Ты знаешь, что никогда не сможешь спасти Нухема?"

"Я знаю".

"Значит, ты любишь его?"

На ее лице заиграла улыбка.

Зеркало себе самому, символ символа! До какого предела способно довести нас продолжающееся подобие, если не до смерти!

"Послушай, Мари, я хочу покончить с собой, застрелиться или броситься в канал... но ты должна меня сопровождать, один я не сделаю ни шагу". Это звучало смешно, но я говорил вполне серьезно. Она, наверное, это поняла, потому что вполне серьезно, даже как-то по-деловому сказала: "Нет, я не буду этого делать, и вы тоже не смеете лишать себя жизни".

"Но ведь твоя любовь к Нухему безнадежна".

Она не смогла сделать из этого выводы, а просто вопросительно посмотрела на меня, пытаюсь понять. Глаза ее были бесцветны.

Это была нехорошая игра, которую я начал с ней, ведь взаимопонимание между нами возникло уже давно, поскольку она сказала: "Мы в радости. Нухем не лишит себя жизни, он не имеет права, он должен исполнить долг, мы же в радости... мы можем сделать это".

Ее, наверное, успокоило то, что Нухем предохранен от лютого самоубийства, поскольку она снова улыбнулась, да, она скрестила ноги, словно какая-то дама, и на лице этой дамы как будто было написано, что она все знает: "Но мы тоже должны исполнить долг".

Я не мог воспринимать ее фразы из Армии спасения с обидой, может быть потому, что внутри временности каждая фраза уже потеряла свой смысл, может потому, что она изначально уже получила новый смысл и соответствует ему. Может быть потому, что слова тоже могут витать между прошлым и будущим, что они тоже витают между Законом и радостью, убежав от пренебрежения, которое за ними следует, убежав к новому смыслу в подвижности.

Между тем я не хотел ничего слышать о долге, поскольку он опять вернул бы меня к познанию; я не хотел ничего слышать о долге, я хотел сохранить состояние своего собственного витания, и я спросил: "Ты счастлива, несмотря на свою несчастную любовь?"

"Да", — сказала она.

Безвозвратно потеряна родина, перед нами неизбежно раз-

врачивается даль, только боль становится все более расплывчатой, все светлее, даже, может быть, невидимее, не остается ничего, кроме болезненного дуновения того, что было. И Мари сказала: "Зло в мире большое, но радость все-таки больше".

Я сказал: "Ах, Мари, тебе знакомо отчуждение, и тем не менее ты счастлива... и ты знаешь, что только смерть одна, что только это последнее мгновение избавит от отчуждения, и не смотря на это, ты хочешь жить".

"Кто во Христе, тот никогда не бывает одиноким... Приходите к нам", — ответила она.

"Нет, — был мой ответ, — я часть своей еврейской квартиры, я пойду к Нухему".

Но это не произвело на нее никакого впечатления.

78

Человек, которому ампутировали руки, становится торсом. Такой ход мыслей обычно использовала Ханна Вендлинг, когда пыталась найти дорогу обратно от общего к индивидуальному и конкретному. И в конце этого пути оказывался тогда не Хайнрих, а немного пошатывающийся Ярецки с пустым рукавом, заправленным в карман форменного кителя. Это продолжалось долго, пока она не оказалась способной четко представлять себе это видение, и еще дольше, пока она не заметила, что этому видению могла бы как-то соответствовать действительная реальность. А затем это длилось еще какое-то время, пока она не решилась позвонить доктору Кесселю.

Этот очень замедленный процесс находил свое обоснование, конечно же, не в особо моральном образе мыслей Ханны; нет, у нее просто пропало любое ощущение времени и скорости, это было замедление потока жизни, впрочем, не его запруживание, а скорее всего улетучивание и исчезновение в никуда, просачивание в совершенно пористую почву, исчезновение и забывание того, что только что было в мыслях. И когда

доктор Кессель, в соответствии с договоренностью, заехал за ней на своей повозке, чтобы отвезти в город, то было так, как будто бы она вызвала врача из-за какой-то странной и трудно-формулируемой озабоченности сыном, и только приложив усилие, она привела свою память в порядок. Затем, правда, внезапно испугавшись, что снова забудет, она сразу же спросила — они как раз пересекали сад, — кто такой этот однорукий лейтенант в лазарете? Доктор Кессель не сразу понял, о ком идет речь, но когда он помогал ей подняться в повозку и, слегка крихтя, занял место рядом с ней, то вспомнил: "Конечно, вы имеете в виду Ярецки, ну, конечно... бедный молодой человек, его, наверное, направят теперь в невропатологическую лечебницу". Этим переживание за Ярецки для Ханны и ограничилось. В городе она сделала покупки, отправила посылку Хайнриху, нанесла визит Редерсам. Она и Вальтеру велела прийти к Редерсам; затем они решили добираться домой пешком. Необъяснимая озабоченность сыном исчезла как-то сразу. Это был мягкий и спокойный осенний вечер.

Не было бы ничего удивительного, если бы в эту ночь Ханне Вендлинг приснился греческий торс в бурлящей пене речной воды, мраморный блок или — этого тоже было бы достаточно — какой-то булыжник, омываемый накатывающимися волнами. Поскольку она не могла вспомнить такой сон, то было бы неискренне и неразумно что-либо говорить об этом. Однозначно только то, что спала она плохо, часто просыпалась и смотрела на раскрытое окно, ожидая, что поднимутся жалюзи и покажется голова грабителя в маске. Утром она подумала о том, чтобы освободить садовнику и его жене хозяйственную комнату рядом с кухней, дабы на всякий случай в доме был мужчина, которого можно было бы позвать на помощь, но она отказалась от этого плана, поскольку маленький слабый садовник не являлся защитой, в душе остался только толстый осадок недовольства Хайнрихом, который расположил домик садовника так далеко от виллы; он даже забыл установить решетки на окна. Но она

должна была сама себе признаться, что все это недовольство едва ли имело что-либо общее со страхом: это было скорее всего не страхом, а своего рода крайней раздраженностью из-за одинокого изолированного расположения виллы, при всем том, что Ханна испытывала нежелание проживать в доме, окруженном людской толчеей, и говорила об этом вслух; это было пустое пространство, окружавшее виллу, этот умерший и словно бы снова составленный из кусков ландшафт был настолько омертвевшим, что он стал подобен поясу пустоты, который все сильнее охватывал эту уединенность, пояс, снова вырваться из которого можно было только с помощью силы, разорвав его или прорвавшись сквозь него, или же с помощью грабителя. Недавно она прочитала в газете о революции в России и о Советах, статья называлась "Прорыв снизу"; эти слова вспомнились ей ночью и постоянно звучали в ушах, словно уличная песенка. В любом случае будет неплохо поинтересоваться у слесаря Круля, сколько будет стоить поставить решетки на окна.

Ночи стали более длинными, и холодный месяц плыл по небу, словно булыжник. Невзирая на ощутимую ночную прохладу, Ханна никак не могла собраться с духом, чтобы встать и закрыть окна. Еще ужаснее безмолвного грабителя ей казалось дребезжание вставленных оконных стекол, и это своеобразное напряжение, которое, собственно, не было страхом, но находилось на грани того, чтобы в любой момент превратиться в панику, придавало ей внешне романтическое настроение. Так она чуть ли не ночи напролет стояла, прислонившись к открытому окну, и смотрела на мертвое пространство осени, странно удерживаемая, почти прилипшая к пустоте ландшафта, и страх, который как раз из-за этого сбросил с себя все, что вызывало боязнь, стал просто пеной,— сердцу было легко, словно раскрывающемуся цветку, и застылость одиночества распахнулась в открытой свободе дыхания. И это было похоже на вызывающую ощущение счастья неверность Хайнриху, это было состояние, которое она воспринимала как резкую противоположность

другому, имевшему когда-то место состоянию... да, только какому состоянию? А потом она заметила, что это была противоположность тому, что она когда-то называла физическим событием. И хорошее состояло в том, что в эти мгновения она совершенно забывала об этом физическом событии.

79

Опасения Эша оправдались: Хугюнау снова доставил неприятности майору. Впрочем, Хугюнау сыграл в этом лишь пассивную роль.

В начале октября на письменный стол майора попал один из тех списков, с помощью которых армейское руководство обычно разыскивало военнотружущих, подозреваемых в дезертирстве или еще каким-либо образом исчезнувших из воинских частей; среди имен стояло также имя некоего Вильгельма Хугюнау из Кольмара, стрелка 14-го стрелкового полка.

Майор уже было отложил в сторону список, как вдруг в груди шевельнулось какое-то беспокойство. Он снова взял в руки список, и, держа его из-за своей дальновзоркости на расстоянии вытянутой руки и повернув ближе к свету, он еще раз прочитал; "Вильгельм Хугюнау", имя, которое он где-то, должно быть, уже слышал. Он вопросительно посмотрел на ординарца, который при поступлении почты находился в его кабинете, он еще видел, как человек, который, очевидно, ждал его распоряжения, вытянулся по стойке "смирно", ему еще хватило сил отдать распоряжение "Вы можете идти", и только оставшись один, он рухнул вперед на поверхность стола, уткнувшись лицом в ладони рук.

В себя он пришел с мыслью, что ординарец все еще стоит у двери и что этим ординарцем является Эш. Он не решался даже посмотреть, а когда наконец понял, что там действительно никого нет, сказал сам себе: "А, все равно...", словно так можно было уладить дело. Это, впрочем, не помогло, лицо Эша по-

прежнему было у двери и смотрело на него; Эш смотрел так, как будто обнаружил на его теле какое-то клеймо. Взгляд, устремленный на него, был полон осуждения, и майору стало стыдно, что он смотрел на Хугюнау, когда тот танцевал. Но мысль эта улетучилась, и до него внезапно донеслись слова, сказанные Эшем: "Среди нас всегда есть предатель".

"Среди нас всегда есть предатель", — повторил майор. Предатель — это бесчестный человек, предатель — это человек, который предал свою родину, предатель — это человек, который обманул родину и товарищей... дезертир — это предатель. И по мере того, как его мысли таким образом все ближе подходили к скрытому предмету, завеса внезапно разорвалась, и он одним разом понял: он сам предатель, он сам, он, комендант города, был тем, кто позвал к себе дезертира и смотрел, как тот танцует, он был тем, кто позвал к себе дезертира, чтобы этот дезертир пригласил его в редакцию, чтобы дезертир подготовил ему дорогу к гражданской жизни, к друзьям, которые никакими друзьями не являются... Майор ухватился за Железный Крест и сорвал ленточку: предателю нельзя носить почетные награды, предатель должен снять почетные награды, нельзя, чтобы он лежал в гробу с почетными наградами... Бесчестье может быть смыто только пулей... Приходится взять кару на себя... И майор, застыв с неподвижным взглядом, тихо прошептал: "Бесславный конец".

Рука все еще лежала на пуговицах кителя; он убедился, что все они застегнуты, и это необычным образом успокоило его, стало надеждой на возвращение к долгу, возвращение к собственнo безопасной жизни, хотя образ Эша еще и не исчезал. Образ был дрожащим и таинственным, он находился в том мире и одновременно в этом, представитель добра и зла одновременно, он был исполнен легкой уверенности и в то же время полон неопределенности гражданского, человек, распахивающий жилетку и открывающий всеобщему обозрению свою рубашку. Так что майор, все еще держа руку на пуговицах кителя,

поднялся, одернул китель, провел рукой по лбу и сказал: "Химеры какие-то".

Он охотно позвал бы Эша, который мог бы все объяснить. Ему хотелось сделать это, но это было бы новым отклонением от долга, новым отклонением к гражданскому. Этого нельзя допустить. К тому же нужно самому хорошенько подумать: все подозрения могут оказаться совершенно безосновательными. И если проанализировать ситуацию, то станет очевидно, что этот Хугюнау всегда вел себя правильно и как патриот. Может быть, все прояснится само собой и повернется к лучшему.

Майор слегка дрожащими руками еще раз поднес к глазам список, затем отложил его в сторону и взялся за остальную почту. Пока он прилагал все усилия к тому, чтобы снова привести свои мысли в порядок, эти усилия разбивались о противоречивые приказы и служебные распоряжения, и разобраться в этих противоречиях оказалось ему не под силу. Повсеместно в мире нарастал хаос, хаос мысли и хаос мира, сгущалась темнота, и эта темнота имела звучание адского умирания, в треске которого понятно было только одно: поражение родины — о, темнота усиливалась, нарастал хаос, но из хаоса в облаке ядовитых газов ухмыльнулась физиономия Хугюнау, физиономия предателя, инструмента кары Господней, первопричины нарастающего несчастья.

На протяжении двух дней майор мучился в нерешительности, хотя под давлением обрушившихся на него внешних событий он и сам это не совсем осознавал. Перед лицом всеобщего беспорядка он мог бы абсолютно естественно махнуть рукой на это незначительное дело о дезертире, но точно таким же естественным было и то, что для коменданта города даже сама мысль о такого рода дешевом выходе была недопустима, ибо категорический императив долга не терпит, чтобы ненадежность нагромождалась на ненадежность; и на второй день майор распорядился пригласить Хугюнау в комендатуру.

Когда майор увидел перед собой предателя, то в его душе с новой силой забурило все сдерживаемое отвращение. На сер-

дечное приветствие он ответил по служебному строго и формально и, передавая через стол список, без единого слова указал на строку "Вильгельм Хугюнау", которая была отмечена красным карандашом. Хугюнау понял, что сейчас на карту поставлено все, и перед лицом грозящей опасности он вновь обрел ясное спокойствие, которое до сих пор всегда помогало ему. Он начал беззаботным тоном, но жесткость его взгляда из-за стекол очков давала майору понять, что это тот человек, который хорошо знает, как ему защитить свою шкуру: "Что-то в этом роде я ждал уже давно, многоуважаемый господин майор; беспорядок в армейских штабах, если позволено будет сказать, становится все более и более обыденным явлением. Да, господин майор качают головой, но это так, и я живой пример этому; когда я снимался с учета в главном управлении прессы, дежурный офицер забрал у меня мои документы якобы для того, чтобы сообщить об этом в полк; я еще тогда опасался больших неприятностей, поскольку не годится отправлять обязанного служить солдата без документов — тут господин майор могут только подтвердить мои слова,— но меня успокоили, объяснив, что документы вышлют чуть позже; мне выдали всего лишь временный военный проездной билет до Трира, господину майору понятно, что в кармане у меня не было ничего, кроме моего проездного билета, в остальном спасение утопающих — дело рук самих утопающих! Ну а сам проездной билет я, как и положено, сдал в вокзальную комендатуру... да, вот такая история. Естественно, я должен винить сам себя, что с течением времени совершенно забыл о столь важном деле; но господину майору лучше всех известно, как я перегружен; и если уж учреждения дают сбой, то можно ли предъявлять обвинения простому плательщику налогов и защитнику страны? Стоит подумать. Вместо того чтобы навести порядок в собственных делах, конечно, куда проще поставить на порядочном человеке клеймо "дезертир"! Господин майор, если бы не мое чувство патристического долга, то я бы не отказал себе в удовольствии напечатать об этом неслыханном случае в прессе!"

Все это звучало правдоподобно; майор снова начал сомневаться.

"Если господин майор позволят мне высказать свое предложение, то я бы попытался правдиво проинформировать армейскую жандармерию и полк о том, что я здесь руковожу официальной местной газетой и что я как можно скорее постараюсь отправить им недостающие документы, поиском которых намерен заняться".

Слово "правдиво" усилило негодование майора. Как этот человек позволяет себе разговаривать!

"Это не относится к сфере ваших полномочий давать мне инструкции относительно моих докладов. В остальном, дабы уж оставаться правдивым до конца, я не верю вам!"

"Так, господин майор мне не верят? Может, господин майор уже проверили, на основании какого правдивого доноса был сделан этот список? А то, что речь может идти всего лишь о доносе — о дурацком и к тому же злом,— так это же ясно как солнечный день..."

С торжествующим видом смотрел он на майора, который, будучи захваченным врасплох новым выпадом, и не заметил даже, что ему для получения этого списка не нужен был никакой донос. Торжествующим тоном Хугюнау продолжал: "Сколько многим людям было вообще известно, что у меня несуразности с моими документами? Мне известен только один-единственный человек, и этот один-единственный якобы шулки ради или как символ, как уж это понравится называть, достаточно часто оскорблял меня, называя предателем, не угодно ли господину майору всего лишь вспомнить... известны мне такие лицемерные шуточники... господа называют это религиозным безумием, и наш брат может потерять на этом, как минимум, деньги, а как максимум,— саму голову..."

Совершенно неожиданно майор перебил его: он даже стукнул ножом для разрезания бумаг по столу: "Не хотите ли вы, случайно, избавиться от господина редактора Эша? Он достойный уважения человек".

Наверное, было глупо со стороны Хугюнау продолжать огрызаться, не оглядываясь по сторонам, карточный домик грозил рухнуть в любое мгновение. Он знал это, но что-то в нем подсказывало: "ва-банк", и он не мог по-другому: "Я покорнейше обращаю внимание господина майора на то, что не я, а вы первым назвали имя господина Эша. Следовательно, я не ошибся, он и есть тот самый доносчик. Ах, если ветер дует не с той стороны и господину майору с учетом его дружеских отношений с господином Эшем угодно крутить с ним его дела, тогда покорнейше прошу меня арестовать".

Это было то, что надо. Майор, выставив в сторону Хугюнау свой палец, устало пробормотал: "Убирайтесь, убирайтесь... Вас выведут".

"Пожалуйста, господин майор, пожалуйста... как вам будет угодно. Но мне известно, что я должен ждать от прусского офицера, который прибегает к такого рода уловкам, чтобы избавиться от свидетеля своих пораженческих речей на коммунистических собраниях, это же очень мило, когда держат нос по ветру, но у меня нет ни малейшего желания быть флюгером... Привет".

Последние, собственно говоря, бессмысленные слова, брошенные Хугюнау просто для отделки своей риторики, майор уже не слышал. Глухим голосом он продолжал бормотать: "Убирайтесь... пусть убирается... предатель...", тогда как Хугюнау уже давно вышел из комнаты, нагло хлопнув за собой дверь. Это был конец, бесславный конец! Клеймо, клеймо на всю жизнь!

Есть ли еще какой-нибудь выход? Нет, выхода нет... Майор достал из ящика стола армейский револьвер и положил перед собой. Затем он взял лист почтовой бумаги, тоже положил перед собой; это будет посмертное прошение. Лучше всего он просил бы о позорном разжаловании. Но все должно идти так, как это предписывается уставами и наставлениями. Он не оставит свое место, пока не передаст, как положено, все дела.

Хотя майор полагал, что сделает все эти приготовления с быстрой и солдатской пунктуальностью, все двигалось вперед очень медленно, а каждое движение стоило очень больших усилий. Собрав все свои силы, он начал писать, ему хотелось, чтобы это было написано твердой рукой. Причина того, что он смог написать только первое слово, состояла, вероятно, в его неимоверном напряжении. "Господину..." — нарисовал он на бумаге буквами, которые ему самому казались чужими, а затем он застрял — сломалось перо, оно прорвало бумагу и посадило отвратительную кляксу. Крепко, даже судорожно вцепившись в ручку, майор, не майор уже, а просто совершенно старый человек, начал медленно оседать набок. Он еще раз попытался махнуть сломанное перо, между тем это ему не удалось, он опрокинул чернильницу, чернила тонким ручейком побежали по столу и начали капать на брюки. Майор уже не замечал этого. Он продолжал сидеть с испачканными чернилами руками, застывшим взглядом уставившись на дверь, за которой исчез Хугюнау. Когда через какое-то мгновение дверь отворилась и показался ординарец, то ему удалось выпрямиться и вытянуть в повелительном жесте руку: "Убирайтесь,— приказал он озадаченному человеку,— убирайтесь... я остаюсь служить".

80

Ярецки уехал вместе с капитаном фон Шнааком. Сестры стояли у решетчатых ворот и махали вслед уходящей машине, которая повезла этих двоих на вокзал. Когда они вернулись в корпус, сестра Матильда выглядела осунувшейся и похожей на старую деву.

Флуршютц не удержался: "Это, собственно говоря, очень мило с вашей стороны, что вы вчера вечером так позаботились о нем... Парень ведь был в ужасном состоянии... И где он только достал польский шнапс?"

"Несчастный человек",— заметила сестра Матильда.

"Вы читали "Мертвые души"?"

"Дайте-ка вспомнить... кажется, да".

"Это Гоголь,— вмешалась сестра Карла, гордясь своими познаниями,— русские крепостные".

"Вот такой мертвой душой был и Ярецки,— сказал Флуршютц, а через какое-то мгновение, кивнув в сторону солдат, стоявших в саду, добавил: — Такие все они, мертвые души... вероятно, и мы тоже; каждому так или иначе пришлось быть таким".

"Не дадите ли почитать эту книгу?" — поинтересовалась сестра Матильда.

"Здесь у меня ее нет... Но, может быть, где-нибудь попадется... так что книги... Вам известно, что я не могу больше читать..."

Он опустил на лавку, стоящую у самого входа, выглянул на улицу, посмотрел на горы, на светлое осеннее небо, мрачневшее на севере. Сестра Матильда помедлила немного, затем тоже присела рядом.

"Знаете, сестра, откровенно говоря, надо было бы изобрести какое-то новое средство взаимопонимания помимо языка. Все то, что пишут и говорят, стало совершенно немым и глухим. Должно быть, нечто новое, иначе наш старший полковой еще окажется прав со своей хирургией..."

"Я не совсем хорошо вас понимаю",— сказала сестра Матильда.

"Ах, не утруждайте себя, чушь все это... Просто мне как-то пришло в голову, если души мертвы, то остается всего лишь хирургический скальпель... но это все ерунда".

Сестра Матильда задумалась: "Не говорил ли что-нибудь в этом роде лейтенант Ярецки, когда пришлось ампутировать ему руку?"

"Может быть, это ведь объяснялось его радикализмом, его приверженностью к крайним мерам... но он, естественно, и не

мог не быть приверженным к этим мерам... как любое загнанное в угол животное..."

Сестра Матильда была шокирована выражением "животное": "Мне кажется, что он просто пытался все забыть... Он как-то даже намекал на это и плюс — он пил..."

Флуршютц сдвинул фуражку на затылок; он почувствовал шрам на лбу и легонько почесал его: "Я, собственно, не удивился бы, если бы сейчас наступил период, когда люди вообще стремились бы только к тому, чтобы забыть, только забыть: спать, есть, спать, есть... так, как они ведут себя здесь... спят, едят, играют в карты..."

"Но это было бы ужасно, совершенно без идеалов!"

"Дорогая сестра Матильда, то, что вы переживаете, это едва ли можно назвать войной, это всего лишь миниатюрный вариант войны... Вы на протяжении четырех лет проработали здесь... И люди же все молчат, даже если их ранило... молчат и забывают... Но с идеалами домой не возвращается никто, тут уж вы можете мне поверить".

Сестра Матильда поднялась. Приближающаяся гроза выделялась теперь широкой полосой черных облаков на фоне светлого неба.

"Я хочу как можно скорее перевестись снова в полевой лазарет", — сказал он.

"Лейтенант Ярецки считал, что война не закончится никогда".

"Да... наверное, именно поэтому я хочу вырваться отсюда".

"Должно быть, мне тоже надо попроситься на фронт..."

"Ну, сестра, вы и здесь делаете вполне достаточно".

Сестра Матильда взглянула на небо: "Я должна убрать в корпус шезлонги".

"Да, займитесь этим, сестра".

Был воскресный вечер; Хугюнау в типографии выплачивал зарплату за неделю.

Жизнь продолжалась своим чередом. Хугюнау ни на мгновение не приходило в голову, что ему как открыто разыскиваемому и преследуемому дезертиру надо было бы, собственно говоря, скрыться. Он просто остался на месте. Не только потому, что очень уж был привязан к кругу своих занятий, не только потому, что ему как деловому человеку было бы трудно и подумать о том, чтобы бросить на произвол судьбы дело, в которое вложена приличная куча денег, чужих или своих, нет, это скорее всего было ощущение многосторонней незавершенности, которое удерживало его и не позволяло капитулировать, ощущение, которое заставляло его отстаивать свою реальность относительно реальностей других. И все слегка смахивало на какой-то туман, тем не менее в целом вырисовывалась совершенно отчетливая картина: майор и Эш рано или поздно разберутся во всем и отыграются на нем. Итак, он остался и только договорился с госпожой Эш относительно компенсации за несъеденные обеды, так что он теперь без материального ущерба для себя гораздо чаще мог пропускать сидение за ненавистным ему обеденным столом.

Естественно, он знал, что обстоятельства не сложились таким образом, чтобы способствовать отдельным акциям против маленького эльзасского дезертира; он находился в относительно безопасности, к тому же майор пребывает под давлением его шантажа. Он знал это, но знать это ему не хотелось. Напротив, в голову приходили мысли, что военное счастье еще повернется другой стороной и майор снова станет влиятельным господином, что майор и Эш просто ждут соответствующего часа, чтобы затем уничтожить его. Поэтому проблема состояла в том, чтобы заблаговременно сорвать эти планы. Может, это и было чистой воды суеверие, но ему нельзя было сидеть сложа руки, надо было использовать свое время, к тому же он

должен был уладить некоторые срочные дела, а поскольку он не мог точно сказать, куда его, собственно говоря, заведут эти срочные дела, то он успокаивал себя тем, что его врагам придется винить самих себя, когда он будет предпринимать контрмеры.

А сейчас он выплачивал зарплату. Линднер покрутил в руках деньги, пересчитал еще раз, потом снова покрутил их в руках и оставил лежать на столе. Помощник наборщика стоял рядом и тоже молчал. Хугюнау не понял: "Эй, Линднер, почему вы не берете деньги?.. В конце концов вы же ничего не имеете против денег".

Наконец Линднер, откровенно преодолевая себя, сказал:

"Минимальная зарплата по тарифу составляет 92 пфеннига".

Это было что-то новое. Но Хугюнау сориентировался: "Да, это так, на больших предприятиях... но на таком крохотном... Вы, старый опытный рабочий, вы-то должны знать, в каких мы условиях. Враждебные нападки со всех сторон, одни только враги... если бы я снова не поставил газету на ноги, то вообще не было бы никакой зарплаты... и это благодарность! Или, может, вы считаете, что я должен выплатить вам зарплату в двойном размере? Но только откуда прикажете взять на это деньги? Вы же хорошо знаете, что мы — государственная газета, которой выплачиваются дотации... тогда, впрочем, есть смысл, поступить в какую-нибудь организацию и требовать минимальной зарплаты по тарифу. В таком случае я и сам поступил бы в такую организацию, там мне было бы лучше".

"А я не в организации", — буркнул Линднер.

"Тогда откуда у вас эти минимальные тарифы?"

"Скоро будет известно".

Хугюнау между тем задумался. Виноват в этом был, конечно, Либель со своей профсоюзной пропагандой. Он, значит, тоже враг! Но с Либелем дело необходимо было улаживать прямо сейчас. Поэтому он сказал: "Ну, уж между собой мы до-

говоримся... скажем так, новые тарифы с ноября, а до того давайте-ка обсудим все это".

Оба наборщика остались довольны.

Вечером, чтобы встретиться с Либелем, он отправился в забегаловку "Цур Пфальц". Собственно, это неприятное дело с Либелем было всего лишь поводом. Хугюнау не был в таком уж плохом расположении духа, он смотрел незашоренными глазами на мир; нужно просто знать, где противник, тогда можно будет, если дело дойдет до этого, сменить свою диспозицию. Ну, он знал, где расположился противник. Сейчас они закрыли бордель и две забегаловки за городом... но помощь, которую предложил он в борьбе с подрывными элементами, майор отверг. Ну что ж, завтра в газете надо будет снова похвалить старика, на этот раз за закрытие борделя. И Хугюнау замычал себе под нос: "Господь наш, Саваоф".

В "Пфальце" сидели Либель, доброволец доктор Пельцер и еще несколько человек. Пельцер сразу же поинтересовался: "А где вы оставили Эша? Его что-то вообще больше не видно".

Хугюнау язвительно ухмыльнулся.

"Изучение Библии в святую субботу... Теперь ему осталось всего лишь пройти обрезание".

Раздался взрыв смеха, что дало Хугюнау основание гордиться собой. Но Пельцер сказал: "Дело не в этом, ведь Эш — парень что надо".

Либель покачал головой: "Не подумаешь, и чего только сегодня не бывает..."

Пельцер не согласился: "Как раз в такое время у каждого свои проблемы... я — социалист, и вы, Либель, тоже... и все-таки Эш — парень что надо... Я хорошо к нему отношусь".

Лоб Либеля покраснел, на нем четко проступили набухшие вены: "По моему мнению, это одурачивание народа, и его следует остановить".

"Так точно, — согласился Хугюнау, — деструктивные идеи".

Кто-то за столом хихикнул: "Вот те на, как заговорили теперь и большие капиталисты".

Очки Хугюнау блеснули в сторону говорившего: "Будь я большим капиталистом, то сидел бы не здесь, а в Кельне, если не в самом Берлине".

"Ну, коммунистом вы тоже не являетесь, господин Хугюнау", — заметил Пельцер.

"Не являюсь, мой многоуважаемый господин доктор... но я знаю, что такое справедливость и что такое несправедливость. Кто первый раскрыл эти безобразия в тюрьме, а?"

"Никто не умаляет ваши заслуги, — согласился Пельцер, — и где бы мы взяли прелестного Железного Бисмарка, если бы здесь не было вас?"

Хугюнау сыграл под простодушного человека; он хлопнул Пельцера по плечу: "Подтрунивать будете над своей бабушкой, мой дорогой".

Но затем его прорвало: заслуги там, заслуги здесь. Он, конечно, всегда был большим патриотом, он, конечно, всегда праздновал победы своего отечества, кто решится осуждать его за это! Но он при этом абсолютно точно знал, что это было единственное средство расшевелить буржуазию — которая не упустит своего, — чтобы она хоть что-то сделала для детей бедных погибших пролетариев; насколько он помнит, это был именно он, кто сдвинул все это с мертвой точки! А благодарность? Его не удивит, если уже сейчас против него отданы соответствующие распоряжения полиции! Но он не боится, пусть только сунутся, у него еще есть друзья, которые при случае вызволят его из тюрьмы, с тайными судилищами вообще должно быть покончено! Человек исчезает неизвестно как, а только потом узнаешь, что его упрятали за решетку, одному Богу известно, сколько их таких, кто еще гниет в тюрьме! Нет, у нас не юстиция, у нас полицейская юстиция! И что самое плохое, так это мнимая святость этих полицейских ищеек, Библия у них всегда под рукой, но только для того, чтобы трахнуть ею кого-нибудь по голове. До и после жратвы у них застольная молитва, другим же позволено с ней или без нее околеть с голоду...

Пельцер с удовлетворением слушал его, затем прервал: "Мне кажется, Хугюнау, вы просто провокатор".

Хугюнау почесал затылок: "И вы думаете, что мне таких задач еще никто не ставил? Если бы я только вам порассказал... ну, давайте оставим это... Я всегда был правильным человеком, таким и останусь, даже если это будет стоить мне головы... Я просто не выношу лицемерной святости".

Либель одобрительно кивнул: "С Библией это, конечно, вопрос. Кормить народ цитатами из Библии — это господа умеют".

Хугюнау согласился: "Именно так, вначале цитаты из Библии, а после этого расстрел... есть достаточно людей, которые тогда вместе со мной слышали стрельбу в тюрьме. Да чего тут говорить! Но вместо того, чтобы тащиться на такие занятия по изучению Библии, я лучше схожу куда-нибудь в кино".

Так Хугюнау занял свое место в начинающейся борьбе между верхом и низом. И хотя большевистская пропаганда была ему в высшей степени безразлична и он первым заорал о помощи, когда дело зашло о его барахле, хотя он с большим удовольствием сообщал в "Куртрирском вестнике" о растущем количестве вторжений противника, тем не менее теперь он с искренней убежденностью заявил: "Русские вполне толковые ребята".

Пельцер откликнулся: "Хотелось бы верить".

А когда они выходили из забегаловки, Хугюнау погрозил Либелю пальцем: "Вы тоже лицемер... подзуживаете старого доброго Линднера там, где я и без того работаю просто за спасибо... и вы это знаете очень даже хорошо. Ну, вместе уж мы как-нибудь уладим это дело".

Восьмилетний ребенок, который намерен самостоятельно отправиться в мир.

Он идет по узкой полоске травы между следами колес, он видит увядающие бледно-фиолетовые цветки клевера, которые неизвестно как оказались здесь, он видит посеревшую от времени высохшую кучу коровьего навоза, сквозь которую уже пробиваются стебельки травы, он замечает семена репейника, которые прицепились к чулкам и больно колются. Ребенок видит и многое другое, он видит стебли безвременника на лугах, видит, как на склоне долины пасутся две желтовато-серые коровы, и поскольку он не может постоянно разглядывать один только ландшафт, то он переводит взгляд на свою одежду и видит маленькие розочки, которыми покрыт черный ситец: множество повторяющихся раскрывшихся цветков вместе с бутонами на светло-зеленых стебельках в обрамлении двух зеленых листьев; внутри открывшейся розы желтая точка. Ребенку хочется черную шляпу, на которую можно было бы приколоть розу вместе с бутонем и двумя листочками — это так подошло бы ей. Но у него есть серое грубошерстное непромокаемое пальто с капюшоном.

Так и бредет ребенок вдоль реки, в руке он крепко сжимает одну марку на питание в дороге. Ребенку хорошо знакома местность. Ему не страшно. Словно домохозяйка по своей квартире, вышагивает ребенок по долинам, и когда он, пребывая в хорошем настроении, выталкивает камень из полоски травы, то этим он только немного наводит порядок. Все вокруг хорошо просматривается. Ребенок видит деревья, рельефно выступающие в прозрачном воздухе осеннего полудня, и пейзаж не содержит ничего таинственного для него: за прозрачным воздухом виднеется голубое небо, среди прозрачной зелени деревьев и кустов то и дело, как будто так и должно быть, попадаются деревья с желтыми листьями, которые также тянутся к небу, а иногда, хотя не чувствуется ни дуновения ветерка, прилетает

откуда-то желтый листик, который, медленно кружа, опускается на дорогу.

Когда ребенок переводит взгляд направо, туда, где луга и кустарник окаймляют берег реки, то он видит белый гравий на дне, он видит также воду, поскольку осенью листва кустарника сильно поредела и оголила коричневые стволы, это уже не такой непроницаемый взору зеленый лес, как летом. Ну а когда ребенок переводит свой взгляд налево, то видит болотистый луг: таинственно и коварно расположился он там, и если хочешь поставить ногу на эту траву, то выступает вода и просачивается в обувь; по такому лугу идти нельзя, поскольку, кто знает?.. В таком болоте можно утонуть, и никто не поможет.

Восприятие природы у детей более суженное и все же более интенсивное, чем у взрослого человека. Они не будут долго находиться на одном месте, откуда открывается хороший вид, рассматривая местность, а какое-то дерево, стоящее на отдаленном холме, может настолько сильно манить их к себе, что они охотнее всего попробовали бы его на вкус, и несутся со всех ног, чтобы прикоснуться к нему. И ландшафт большой долины, простирающийся у их ног, они не хотят рассматривать, им хочется ринуться в него, как будто этим они могут бросить туда и свой страх; поэтому дети в постоянном, часто бесполезном движении катаются по траве, карабкаются на деревья, пытаются есть листву и прячутся наконец в кронах деревьев или в темной безопасности какого-нибудь куста.

Так что многое из того, что приписывается проявлению прямо-таки неисчерпаемых сил молодости в их бессмысленно сознательном перехлестывании через край, является не чем иным, как обнажившимся страхом сознания, которое начало умирать, поскольку осознало свое одиночество, следовательно, очень во многих отношениях беготня детей является блужданием в начале жизненного пути, следовательно, их смех, так часто порицаемый взрослыми как безосновательный, является смехом того, кто неожиданно ощущает себя во власти одиночества, так что не только понятно, что восьмилетний ребенок способен

принять решение уйти в мир, чтобы таким необычным, можно даже наверняка сказать, героическим и крайним напряжением собрать воедино собственное одиночество, победить в этом единстве большое одиночество, противопоставить бесконечность единству и единство одиночеству,— не только это становится понятным, и не только то, что при попытке такого рода не имеют значения ни обычные мотивы, ни их весомость, а дело здесь совершенно в других мотивировках: так, тот же мотылек, то есть вещь настолько ничтожного веса, что ее и поместить-то на чашу весов невозможно, может оказывать определенное влияние на ход событий, да, такое может случиться, стоит лишь обратиться к примеру мотылька, который порхал какое-то время перед ребенком, теперь улетает с дороги, чтобы исчезнуть где-то над болотистым лугом, так что это просто не имеет никакого значения в глазах взрослых, поскольку они не способны увидеть, что улетела душа мотылька, не он сам, это все-таки он сам оставил ребенка, считают они. И ребенок останавливается, он поднимает руку и изначально обреченным на неудачу движением пытается поймать то, что уже давно улетело прочь.

Впрочем, теперь ребенок возвращается по той же дороге обратно. Он почти доходит до того стального моста, через который проходит тянущееся с востока и ведущее к городу шоссе. На этом месте тропинка, идущая вдоль берега, по которой все это время шел ребенок, повела бы его вверх, а по ту сторону спустила бы вниз вместе с шоссе. Но ребенок даже не дошел до этого места, потому что этот более чем хорошо знакомый мост, серая решетка, сквозь которую проглядывал разделенный на ровные черные четырехугольники еловый лес, рисовали картину, которая всегда пугала ребенка, и из-за того, что он был так хорошо знаком с местностью, которой, кажется, никогда не будет конца, ребенок вдруг решил насовсем оставить эту долину. И поскольку ребенок, уйдя из дому, наверное, надеялся, что известное и родное будет переходить в чужое очень медленно, так сказать, безболезненно, то болезненность внезапного прощания была заглушена желанием по-

пасть на другую сторону болотистого луга, туда, где исчез мотылек.

Есть только один высокий холм, возвышающийся там, он все же достаточно высок, чтобы ребенок видел хотя бы одну крышу дома, построенного на вершине, или верхушки растущих там деревьев. Разумнее всего, наверное, было бы подняться просто от шоссе. Но нетерпение ребенка было слишком сильным для этого: под голубым небом, этим холодно-горячим небом ранней осени, под солнечными лучами, припекающими в спину, ребенок пускается бежать; он бежит вдоль болотистого луга, он хочет найти хотя бы какую-нибудь тропинку, но пока он ищет, он обходит луг и оказывается у подножия холма, как будто бы холм сам пришел ему навстречу, похожий на верблюда, опустившегося на колени, чтобы можно было на него взобраться. Эта двойная спешка, собственная и холма, содержит в себе что-то таинственное, ребенок теперь и вправду медлит, поскольку хочет поставить ногу на незаметный изгиб, где ровный луг переходит в подъем холма. Подними сейчас ребенок свою голову, он увидел бы, что крестьянский дом наверху полностью исчез, видны всего лишь некоторые вершины деревьев. Между тем, чем выше он карабкался, тем больше открывалось взгляду поселение наверху, вначале сочная зелень деревьев, словно бы там была в разгаре весна, затем крыша, из которой свечой струился дым, и, наконец, между стволами показались белые стены дома: это, наверное, крестьянский дом посреди очень зеленого сада, и последний склон, который был таким крутым, что ребенок карабкался на всех четырех, был тоже такой же зеленый, так что ребенок просто лез дальше, опираясь на руки, пока не вытянулся на животе, уткнувшись лицом в траву, и только потом очень медленно подтянул колени.

Ну, тут ребенок действительно оказался наверху, а дворový пес с лаем начал рваться с цепи, тут уж стало не до весны, на которую возлагались надежды. Ландшафт оказался чужим и незнакомым, сама долина, на которую теперь взглянул ребенок,

была уже больше не долиной, откуда он пришел. Двойное превращение! Исполненное печали превращение тем не менее не решение, ведь это превращение можно объяснить просто светом: ясная чистота света с обычной для осени быстротой стала молочной, но одновременно в противовес беловатому щиту неба возникло контрнебо, поскольку долина начала заполняться таким же белым туманом. Еще не так давно был обед, а уже разверзся вечер отчуждения. Далеко в бесконечное простирается дорога, на которой расположена крестьянская усадьба, и мотыльки умирают в быстро усиливающемся холоде. Но это и есть решающим! Ребенку становится понятно, что цели нет, что блуждание и поиски какой-то цели не принесли ничего, что само бесконечное может быть целью. Ребенок не думает, он сам своим действием дает ответ на никогда не ставившийся вопрос, он бросается в отчуждение, он бежит на улицу, он мчится по бесконечно простирающейся улице прочь, он теряет голову, ему удается даже больше не плакать в своем головокружительном бегстве, которое подобно стоянию между неподвижными стенами тумана. И когда сквозь туман действительно просачивается вечер, месяц становится светлым пятном на стене тумана, когда затем каким-то беззвучным рывком стирается туман и на небесном своде выступают звезды, когда неподвижность сумерек сменяется застылостью ночи, тогда ребенок оказывается в неизвестной деревне. Спотыкаясь, бродит он по тихим переулкам, в которых то там то тут стоят повозки без лошадей.

Едва ли имеет значение, насколько далеко забралась Маргерите и вернется ли она обратно или станет жертвой какого-нибудь бродяги — она попала во власть лунатизма бесконечности и никогда больше не сможет освободиться от него.

История девушки из Армии спасения (15)

О, год пришедший, час осенний на улицах голодных,
 О, мягкий свет небесных звезд, что осени прохладу
 согревает,
 О, страх пред днем, что без конца и края! О, страх полей
 бесплодных,
 О, страх прощанья, когда они спокойно так
 Рукой махнули на прощанье, и в их глазах унылых
 Осталось лишь одно — попытка страстная без слез понять:
 Ведь друг от друга разошлись они,
 И в городе, где гром и вонь машин,
 Утеряны дорога за дорогой, за следом след,
 Сердце совместное биенье ушло, страх охватил создание, —
 Померк свет солнца, месяц стал булыжником бесцветным,
 И все-таки не страхом это было, поскольку в седины сиянье
 Стариков, что путь для наших душ судьбы определяют,
 Мы можем расценить души боязнь как благодный
 святейший дар!
 Не страхом разве было то, что их собрало,
 Подобно листьям высохшим, слетевшимся друг к другу
 под дуновеньем ветерка?
 И страх любви, что в ваших душах, не он ли вотчиной
 Божественного страха был, под сводами сияющими чьими
 Его очей блистательных лучи нисходят к нам?
 И голубь боязливый к нам прилетел,
 Паря над волнами всемирного потопа,
 Объединяя всех через моря и океаны:
 И в страхе возвышается Господь, господствует Он в тишине
 наставшей одинокой,
 И для Него любовь — то страх, а страх — то есть любовь,
 И связь времен, и вечных и земных,
 Становится единством одиночества со всеми
 одиночествами мира —

*Любовь Господня в страх большой погружена,
И в этом страхе, о Господь, да будет бытие Твое
мышленьем.*

84

Собрания по изучению Библии посещали теперь немногие. Внешние события отвлекали внимание от того, что происходило в душах людей, это особенно касалось чужаков, которые всячески прислушивались ко всевозможным слухам, если в них имел место хоть проблеск возможности возвратиться домой. Местные жители были более постоянны в своих привычках, для них библейские собрания стали уже обычным делом, желание присутствовать на них существовало независимо от войны или мира, но, в принципе, у каждого была своя точка зрения, в зависимости от которой слухи о мире его скорее раздражали, чем радовали.

Фендрих и Замвальд были местными жителями и относились к числу самых верных посетителей собраний. Хугюнау даже утверждал, что Фендрих приходит только потому, что у госпожи Эш в доме всегда есть свежее молоко, да, иногда он также утверждал, что его самого урезали в утреннем кофе просто потому, что госпоже Эш хотелось сэкономить молоко для своего святоши. И он совершенно не скрывал такое свое мнение; и это вызывало у госпожи Эш улыбку: "Кто бы уж так ревновал, господин Хугюнау?" А у Хугюнау ответ уже был припасен: "Будьте наготове, матушка Эш, приятели вашего господина супруга вас еще по миру пустят". Впрочем, обвинения Хугюнау были безосновательны; Фендрих приходил бы даже в том случае, если бы не давали кофе с молоком.

Сейчас, как бы там ни было, оба, Замвальд и Фендрих, как раз сидели на кухне. Хугюнау, который уже приготовился уходить, сунул свой нос на кухню: "Господам вкусно?" Вместо них ответила госпожа Эш: "Ах, да у меня же нет ничего в доме".

Хугюнау посмотрел обоим на рты, не жуют ли они, посмотрел на стол; когда же он не обнаружил там совершенно никакой снеди, то остался доволен. "Ну, тогда я совершенно спокойно могу вас оставить,— сказал он.— Вы в прекрасном обществе, матушка Эш". Тем не менее он остался; очень уж ему хотелось узнать, о чем это беседует матушка Эш с этими двумя. А поскольку все молчали, то он сам начал разговор: "А где же сегодня ваш друг, господин Замвальд, этот, на костылях?" Замвальд ткнул пальцем в сторону окна, дребезжащего на осеннем ветру: "В плохую погоду у него бывают боли... он ощущает это заранее". "О-ля-ля,— сказал Хугюнау,— ревматизм... да, это неприятно". Замвальд покачал головой: "Нет, он чувствует заранее, он знает очень многое заранее..." Хугюнау слушал его в пол-уха: "Это может быть также подагра". Фендрих слегка задрожал: "Я тоже чувствую во всех конечностях... У нас на фабрике уже более двадцати человек заболели гриппом... Вчера умерла дочь старого Петри... В лазарете тоже уже есть умершие; Эш говорит, что это чума... легочная чума". Хугюнау с отвращением выпалил: "Ему надо было бы быть поосторожнее со своей пораженческой болтовней... чума! Не было печали". Замвальд сказал: "Гедике, да ему и чума не страшна, он воскресший". Фендрих решил добавить еще кое-что по теме: "По Библии сейчас должны настать все испытания Апокалипсиса... Майор тоже это предсказывал... да и Эш говорил это". "Merde, теперь с меня хватит,— сказал Хугюнау,— желаю и дальше приятной беседы. Привет".

На лестнице он встретил Эша: "Там наверху у вас сидят два действительно приятных собеседника. Если весь город заговорит о чуме, вы будете виновны в этом. Вы со своим лицемерием еще сведете с ума весь мир, а это ведь одурачивание народа". Эш оскалил лошадиные зубы и пренебрежительно махнул рукой, что разозлило Хугюнау, и он проворчал: "А тут не из-за чего скалить зубы, господин пастор". К его удивлению, лицо Эша моментально приняло серьезное выражение: "Вы правы,

сейчас более чем не до смеха... люди правы". Хугюнау сказанное неприятно поразило: "В чем это они правы? Не в том ли, что это чума?" Эш спокойным тоном ответил: "Да, и для вас это было бы к лучшему, да, для вас, мой многоуважаемый, если бы вам наконец стало угодно понять, что мы тут находимся в страхе и в испытаниях..." "Хотелось бы узнать, какой мне прок от этого..." — буркнул Хугюнау и продолжал спускаться по лестнице. Голос Эша звучал по-школьному поучительно: "Я мог бы вам, конечно, это рассказать, но вы же не хотите ничего знать... страшно, что ли, узнать это..." Хугюнау обернулся. Эш стоял на две ступеньки выше и выглядел мощно; было неприятно, что приходилось смотреть на него вот так, снизу вверх, и Хугюнау поднялся снова на одну ступеньку. Он ощутил в душе некоторую тревогу. Что там такое есть еще у Эша, что он не хочет говорить? Что он может знать? Но когда Эш начал: "Только тот, кто в страхе, будет доступен милости...", Хугюнау перебил его: "Стоп, слушать это мне и вправду больше ни к чему..." Эш снова оскалился ненавистой саркастической улыбкой: "Разве я не говорил? Это вашим новым планам явно не подходит. Впрочем, вам это, наверное, и не подходило никогда". И он намерился идти дальше.

Хугюнау поторопился задержать его: "Одну минуту, господин Эш..."

Эш остановился.

"Да, господин Эш, я вам должен это все-таки сказать. Естественно, весь этот вздор мне не подходит. Ухмыляетесь вы или нет, но он никогда мне и не подходил. Я всегда был свободолюбивым человеком и никогда не делал из этого тайны. Я не мешал вам и вашим святошам, так не соблаговолите ли вы позволить мне быть святым по-своему. Вы можете это называть новыми планами, ради Бога, я вам даже разрешаю шпионить за мной, как вы это, очевидно, и делаете, Впрочем, я не такой народный трибун, как вы, но и человеком, оболванивающим народ, я тоже пока что не являюсь, я не тщеславен, но когда при-

слушиваюсь к тому, что говорят люди, естественно, не ваши святоши там наверху, то мне кажется, что вещи должны все же принимать несколько иной оборот, не тот, который вам, господин пастор, по душе. Я имею в виду, что скоро кое-что придет-ся пережить, и я вижу кое-кого болтающимся на фонарном столбе. Если бы господину майору не было угодно злиться на меня, то я бы хотел со всей почтительностью предупредить его об этом; я хороший парень. К вам он, впрочем, тоже сейчас не очень благоволит, вечно нерешительный старый дурак, но тем не менее я оставляю за вами свободу выбора и право передать ему мое предостережение. Вы же видите, со мной можно играть открытыми картами; я никому не наношу удар сзади, как это делают другие".

Сказав это, он окончательно повернулся к Эшу спиной и, насвистывая, помаршировал лестницей вниз. Потом, правда, он злился на свое добродушие — у него ведь нет ни малейшего основания чувствовать себя хоть в чем-нибудь виноватым перед господами Пазеновым и Эшем; почему и отчего, собственно говоря, он их предостерегал?

Эш постоял немного. Все это ощущалось им как какой-то укол в сердце. Затем он сказал себе: "Кто жертвует собой, тот поступает благородно". И если этого малого считать способным на подлость, то это хорошо, пока он бахвалится; лающая собака не кусает. И если он будет раскрывать свою пасть в кабаках, то вреда от этого будет еще меньше, а уж меньше всего майору. Эш улыбнулся, он прочно и надежно стоял на ногах, затем он раскинул руки в стороны, подобно человеку, проснувшемуся рано утром или распятому. Он чувствовал себя сильным, надежным и благополучным, и как будто это была считалочка, от которой в мире все было хорошо, повторил: "Кто жертвует собой, тот поступает благородно", а потом толкнул дверь, ведущую на кухню.

"Никто никого не видит во мраке"
События 3, 4 и 5 ноября 1918 года

То, что предсказывал Хугюнау, действительно сбылось: кое-что пришлось пережить, а именно 3 и 4 ноября.

Утром 2 ноября состоялась маленькая демонстрация рабочих бумажной фабрики. Колонна двинулась, как это всегда бывало при такого рода мероприятиях, к ратуше, но в этот раз без особых видимых причин были побиты оконные стекла. Майор вывел на улицу пару взводов, которые еще были в его распоряжении, и демонстранты разбежались. Тем не менее это было кажущееся спокойствие. Город был полон слухов; стало известно о прорыве фронта, о переговорах же по перемирию, напротив, не было слышно ничего, в воздухе витала тревога.

Так прошел день. Вечером на западе показалось красноватое зарево, а это означало, что со всех сторон горит Трир. Хугюнау, который теперь сожалел, что уже давно не продал газету коммунистам, хотел начать печатать отдельное издание, но обоим рабочим невозможно было разыскать. Ночью в районе тюрьмы велась стрельба. Поговаривали, что это был знак заключенным для того, чтобы они попытались вырваться. Позже появилось сообщение, что это один из охранников по недоразумению открыл предупредительную стрельбу, но никто этому не верил.

Между тем настало по-зимнему холодное туманное утро. Уже в семь часов в неотапливаемом, полутемном, обшитом панелями зале заседаний собрался магистрат; повсеместно раздавались требования вооружить жителей города в противовес высказанному предположению, что это может быть расценено, как вызывающее протест мероприятие против рабочих; было принято решение о формировании оборонительной гвардии, в состав которой должны входить как мещане, так и рабо-

чие. Имели место некоторые сложности с комендантом города из-за выдачи винтовок из складских запасов, но в конечном итоге — едва ли не через голову коменданта — оружие было доставлено. Естественно, что для надлежащей вербовки времени уже больше не было, так что просто избрали работающий под председательством бургомистра комитет, в обязанности которого входила выдача оружия. Еще до обеда ружья были выданы всем тем, кто мог подтвердить свое проживание в данном населенном пункте и право на ношение оружия, а когда все это подошло к концу, то комендант города уже не мог больше противиться взаимодействию военных формирований с оборонительной гвардией; посты были выставлены под руководством комендатуры.

В гвардию, само собой разумеется, записались Эш и Хугюнау. Эш, стремясь прежде всего оставаться возле майора, попросил использовать его в самом городе. Его определили в ночное дежурство, тогда как Хугюнау назначили в состав поста, который должен был нести дежурство в послеобеденное время у моста.

Хугюнау сидел на каменной балюстраде моста и мерз, причиной тому был проникающий во все щели ноябрьский туман. Свое ружье со штыком он прислонил рядом к балюстраде. Между камней балюстрады пробивалась трава, и Хугюнау занимался тем, что выщипывал ее. Из щелей можно было также выковыривать куски старой штукатурки, которые потом падали в воду. Ему было скучно, и вся эта затея казалась ему лишеной смысла. Поднятый воротник недавно купленного зимнего пальто натирал шею и подбородок и практически не согревал. Не зная, чем от скуки заняться, он справил нужду, но, сделав это, опять вынужден был сидеть на месте. Какой смысл сидеть здесь, с этой дурацкой зеленой повязкой на рукаве, и к тому же на такой холодине. И он подумал, а не смотаться ли ему в бордель, хотя бы уже потому, что его закрытие ничего не дало; теперь он работал подпольно.

Он только начал представлять себе, что старуха, должно быть, уже протопила в борделе и что там, наверное, изумительно тепло, как перед ним возникла Маргерите. Хугюнау обрадовался: "Tiens!,— сказал он,— что ты здесь делаешь?.. Я думал, ты уехала... что ты там затеяла с моей маркой?"

Маргерите молчала.

Хугюнау предпочел бы быть в борделе: "Я не могу тобой воспользоваться... Тебе нет еще и четырнадцати... Смотри мне, чтобы вернулась домой".

Тем не менее он взял ее на руки; так было теплее. Помолчав немного, он спросил: "Ты одела теплые штанишки?" И остался доволен, когда она ответила утвердительно. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу. Через туман донесся бой часов на ратуше; пять часов, а как уже темно.

"Дни стали совсем короткими,— сказал Хугюнау,— еще один год прошел".

Пробили еще и другие часы. На душе становилось все более грустно. Зачем все это? Что ему здесь делать? Там, по другую сторону поля, располагался дом Эша, и Хугюнау сплюнул в соответствующем направлении; слюна описала большую дугу и шлепнулась на землю. Но тут его охватил внезапный страх: он оставил открытой дверь в типографию, и если сегодня дело дойдет до грабежей, то разобьют его машину.

"Слезай",— грубо толкнул он Маргерите, а когда она замешкалась, то отвесил ей пощечину. Он начал лихорадочно рыться в своих карманах в поисках ключа от типографии. Самому ему сбежать домой или послать Маргерите к Эшихе с этим ключом?

Он почти уже решил послать к черту свой долг и отправиться домой, но тут содрогнулся, поскольку все его тело пронзил настоящий страх: на опушке леса появилась яркая вспышка, и в следующее мгновение раздался звук ужасающего взрыва. Он успел сообразить, что это случилось в казарме минометной

¹ Гляди-ка (фр.).

роты, что какому-то придурку пришлось, наверное, взрывать остатки боеприпасов, но чисто инстинктивно он бросился на землю, ведь было достаточно разумным полежать на земле в ожидании дальнейших взрывов. Действительно, вскоре с коротким интервалом последовали еще два мощных взрыва, а затем грохот перешел в разрозненную трескотню выстрелов.

Хугюнау осторожно выглянул из-за каменной балюстрады, увидел разрушенные стены склада, освещенные извивающимися красными языками пламени, и горящую крышу казармы. "Началось, значит",— сказал он сам себе, поднялся, стряхнул грязь со своего нового зимнего пальто. Затем оглянулся по сторонам, ища Маргерите, свистнул пару раз, но ее не было, убежала, наверное, домой. У него было мало времени, чтобы прийти в себя, поскольку тут он увидел, как от казармы вниз бежит группа людей, в руках палки, камни и даже винтовки. К удивлению Хугюнау, рядом с ними бежала и Маргерите.

Люди бежали к тюрьме, это было ясно. Хугюнау сообразил все моментально, он ощутил себя чуть ли не начальником генерального штаба, приказы которого исполняются точно и мгновенно. "Молодцы",— что-то шепнуло в нем, и было естественно, что он к ним присоединился.

Беглым шагом и с криками добрались они до тюрьмы. На закрытые ворота обрушился град камней, а затем люди кинулись их выламывать. Хугюнау нанес первые удары прикладом винтовки по деревянной балке. Кто-то притащил лом; много труда не потребовалось — вскоре была проделана дыра, ворота распахнулись, и толпа ринулась во двор. Он был пуст, персонал тюрьмы где-то спрятался; ну, их уж, парней этих, выкурят, однако из камер опять понеслись звуки песни: "Да здравствует жизнь, да здравствует жизнь, трижды да здравствует жизнь!"

Когда раздался первый взрыв, Эш находился на кухне. Одним прыжком он оказался у окна, но отпрянул назад, когда при втором выстреле незакрепленные окна с треском распахнулись ему навстречу. Налет авиации? Жена стояла на коленях посре-

ди осколков стекла и шептала "Отче наш". На какое-то мгновение он застыл с отвисшей челюстью: да она никогда в жизни не молилась! Затем он подхватил ее под руки: "В подвал, авиация". Между тем, уже со ступенек, он увидел пожар на складе боеприпасов, услышал доносившуюся оттуда трескотню выстрелов. Значит, началось. Следующей мыслью было: "Майор!" Затолкнуть визжащую жену обратно в комнату — за его спиной все еще раздавались ее причитания, чтобы он не бросал ее, — схватить винтовку, спуститься по лестнице вниз, все это было делом нескольких секунд.

На улице было полно людей, и все что-то кричали. С Рыночной площади раздавался сигнал трубы. Эш поковылял вверх по улице. За ним бегом тащили пару запряженных лошадей; он знал, что эти лошади предназначались пожарной службе, и его обрадовало то, что сохраняется хотя бы видимость порядка. Пожарный насос уже стоял на Рыночной площади, его вытащили из сарая, но не было пожарников. Трубач взобрался на козлы, он бесконечное количество раз повторял сигнал сбора, но пока собрались только шесть человек. С другой стороны площади к ним торопилась рота солдат, капитан решил пока доставить их в распоряжение пожарников; вместе с пожарным насосом они умчались с площади.

В здании ратуши все двери были настежь. Никого нельзя было найти; комендатура пустовала. Это было в определенной степени облегчением для Эша; по крайней мере, найти старика им сразу не удастся. Но где он был? Когда Эш вышел на улицу, ему в конце концов встретился какой-то солдатик. Эш окликнул его: не видел ли он коменданта? Да, последнее, чем он занимался, был подъем оборонительной гвардии по тревоге, а сейчас он, вероятно, или в казарме, или возле тюрьмы... ее вроде бы штурмуют.

Итак — к тюрьме! Эш припустил тяжелым неуклюжим бегом.

Когда толпа ворвалась в здание тюрьмы, Хугюнау оставался во дворе. Это был успех, вне всякого сомнения, это был ус-

пех — лицо Хугюнау приняло ироническое выражение, и это ему сейчас очень хорошо удавалось. Майор не будет неприятно удивлен, обнаружив его здесь, да и Эш тоже. Никакого сомнения, это был великолепный успех; несмотря на это, у Хугюнау было нехорошо на душе — что теперь? Он смотрел на двор, горящая казарма хорошо освещала его, но чем-то неслыханно необычным это, конечно, не было, он по-другому себе этот двор и не представлял. Да и вся эта банда ему уже порядком поднадоела.

Внезапно раздались визжащие вопли! Они обнаружили охранника и тянут его во двор. Когда Хугюнау подошел ближе, то мужчина лежал, словно распятый, на земле, лишь одна нога была высоко поднята, судорожно и ритмично подергиваясь в воздухе. Две женщины бросились на лежащего; на одной руке подошвами, подбитыми гвоздями, стоял какой-то малый с ломом и долбил им по костям истязаемого. Хугюнау почувствовал, что его сейчас стошнит. С бешено колотящимся сердцем и резами в животе он, закинув винтовку на плечо, помчался обратно к городу.

Город был хорошо освещен пламенем горящей казармы: остроконечные крыши, черные контуры зданий, над которыми возвышались башни ратуши и церквей. Оттуда часы пробили половину шестого, беззаботно, словно бы над этим людским поселением по-прежнему витает глубокий мир. И этот доверительный бой часов, хорошо знакомый вид домов, весь тот мир, который еще царил там, тогда как вокруг уже полыхали пожары, превратили затаивший дыхание страх Хугюнау в непреодолимую тоску по человеческой близости. Он бежал по полю, иногда останавливался, чтобы перевести дыхание. Но тут он заметил, что в воздухе витает запах колбасного магазина, его снова пронзила мысль, что двери в типографию не заперты, что взломщики и грабители ринутся сейчас из тюрьмы, страх его удвоился, и с удвоенной скоростью он понесся дальше к дому.

Ханна Вендлинг лежала с высокой температурой в постели.

Доктор Кессель хотел вначале обвинить во всем еженощно открытые окна; потом, правда, ему пришлось признать, что это был грипп, называемый "испанкой".

Когда произошел первый взрыв и оконные стекла с треском влетели в комнату, Ханна совершенно не удивилась: не она несет ответственность за закрытые окна, ее заставили это сделать, а поскольку Хайнрих допустил оплошность и не поставил решетки, то теперь, конечно же, к ним заберутся грабители. С каким-то удовлетворением она констатировала: "Ограбление снизу", и начала ждать, что же будет дальше. Но поскольку трескотня взрывов и выстрелов постоянно усиливалась, то она пришла в себя, соскочила с кровати с внезапно пронзившей ее мыслью, что ей надо к своему мальчику.

Она крепко вцепилась в спинку кровати, пытаясь бороться с мыслями: мальчик был на кухне, да, она вспомнила, из-за опасности заражения она отослала его вниз. Ей надо спуститься вниз.

По комнате гулял сильнейший сквозняк, сквозняки были по всему дому. Все окна и двери были сорваны с петель, а на втором этаже были разбиты все оконные стекла, поскольку здесь, на возвышенной части долины, воздействие ударной волны было особенно сильным. Следующим взрывом с треском сорвало половину черепичной крыши. Ханна, впрочем, не замечала холода, едва ли она замечала треск и шум, она не понимала ничего из того, что происходит, она даже и не пыталась понять: мимо пронзительно визжащей горничной, которая встретилась ей возле гардеробной комнаты, она поспешила на кухню.

Только там она обратила внимание на то, что должно было быть холодно, поскольку тут сохранился порядок. Окна здесь внизу не пострадали. В углу на полу сидела кухарка и держала на руках воющего дрожащего мальчика. Исчез также характерный запах гари; пахло чистотой и уютом. У нее возникло ощущение, что они спасены. Затем она обнаружила, что с невообразимым присутствием духа она прихватила с собой одеяло. Она завернулась в него и присела в самом дальнем углу кухни;

нужно было следить за тем, чтобы ребенок не заразился, а когда он рванулся к ней, то движением руки она запретила ему делать это. Горничная последовала за ней, а тут подошел и садовник с женой: "Горит казарма... там". Садовник махнул в сторону окна, но женщины не решились подойти и посмотреть; они остались на своих местах. Ханна почувствовала, что полностью пришла в себя. Она сказала: "Нам нужно переждать это", и еще сильнее укуталась в свое одеяло. Вдруг пропал электрический свет. Горничная снова вскрикнула. Ханна еще раз повторила в темноту: "Нам нужно переждать это...", потом снова впала в полузабытье. Мальчик заснул на руках у повара. Горничная и жена садовника сидели на ящике для угля, садовник прислонился к печке. Окна все еще продолжали дребезжать, время от времени сверху на землю падали куски черепицы. Они сидели в темноте, смотрели на освещаемые пожаром окна; они смотрели, не отрываясь, и становились все более неподвижными.

По улице, которая вела к тюрьме, спешил Эш, винтовка сползла с плеча, и он держал ее в руке, словно солдат, идущий в атаку. Приблизительно на полпути он услышал вой приближающейся толпы. Он бросился в кусты, чтобы пропустить ее. Толпа насчитывала около двухсот человек, всевозможный сброд, среди них и заключенные, выделявшиеся своей серой одеждой. Некоторые пытались заводить "Марсельезу", кто-то — "Интернационал". Чей-то фельдфебельский голосок постоянно орал: "В колонну по четыре — разберись", но никто его не слушал. Во главе шествия над головами марширующих болталась какая-то кукла: к палке, своего рода виселице, привязана была набитая тряпьем и платками форма тюремщика — с этой целью они, наверное, раздели его догола, — на груди у куклы был прикреплен белый лист бумаги, и в дрожащем свете горящего склада Эшу удалось разобрать слова "Комендант города". С ними был даже ребенок, он восседал на плечах у одного парня,

маленькая девочка, напоминавшая Маргерите, но Эш больше не обращал на нее внимания; он подождал, пока толпа проследует мимо, и, дабы избежать встречи с возможно отставшими от шествия, побежал дальше вдоль дороги по лугу.

Перед ним внезапно вынырнули фары автомобиля. От ужаса у Эша кровь застыла в жилах — это может быть только майор! Майор, который едет прямо в лапы смутьянам. Нужно задержать его! Задержать любой ценой! Эш скользнул по откосу и, громко крича и размахивая руками, выскочил на середину дороги. Но его не заметили или не хотели заметить, и если бы он не отскочил в сторону, то оказался бы под колесами. Он успел еще убедиться в том, что это действительно был автомобиль майора, что рядом с майором находились трое солдат, один из них стоял на подножке. Эш беспомощно смотрел вслед уходящей машине, затем изо всех сил бросился за ней вдогонку; он мчался, объятый ужасом, каждую секунду ожидая, что придется услышать самое ужасное. Там, впереди, уже раздались несколько выстрелов, последовали грохочущий взрывообразный удар, крики и шум. Эш снова начал подниматься по откосу.

Толпа сгрудилась возле первого дома; местность все еще освещалась огнем пожара. Прячась за кустарником, Эш добрался до первого садового забора и мог теперь под его прикрытием подобраться поближе. Автомобиль перевернулся и, объятый пламенем, лежал на склоне по другую сторону дороги. Очевидно, водителю преградила путь толпа или он получил удар камнем, отчего потерял управление машиной и врезался в дерево. Скорчившись перед деревом, о которое он разбил себе череп, водитель еще хрипел, тогда как один из солдат лежал, раскинувшись, на дороге. Второй же, это был унтер-офицер, который вышел невредимым из этого столкновения, был окружен обезумевшей сворой. Под градом ударов кулаками и палками он пытался что-то говорить, однако ничего невозможно было понять в этом шуме; вскоре он тоже неподвижно лежал на земле. Эш подумал, не произвести ли выстрел по толпе, но в

этот момент из-под обшивки мотора блеснули языки голубого пламени, и кто-то закричал: "Машина взорвется!" Толпа отпрянула назад и затихла, ожидая взрыва. Но ничего не случилось — машина просто тихо догорала, тогда раздались призывы: "К городской комендатуре!" "К ратуше!" И толпа покатилась дальше к городу.

Но где же майор?! Вдруг Эш понял: под автомобилем и в опасности, сгорает заживо. Гонимый страхом, Эш перелез через забор, подлетел к машине, начал трясти ее за корпус; его охватил приступ рыдания, когда ему стало ясно, что в одиночку он не сможет поднять автомобиль. Полный сомнений, он продолжал стоять возле горящего каркаса, обжигая при новых попытках что-то сделать потерявшие чувствительность руки. Тут рядом оказался какой-то мужчина. Это был третий солдат, избежавший повреждений, поскольку он перелетел через откос и упал на луг. Вдвоем им удалось приподнять автомобиль с одной стороны. Эш подлез под него, чтобы спиной удержать его, а солдат тем временем вытащил майора из-под машины. Слава Богу! Но опасность еще не миновала, необходимо было как можно скорее удалиться от представляющего угрозу автомобиля, так что они отнесли потерявшего сознание майора наверх по откосу, положили его на лугу на сорванные охапки травы.

Эш опустился возле майора на колени, заглянул ему в лицо; оно было спокойным, дыхание равномерным, хотя и слабым. Сердце тоже билось в ровном ритме; Эш распахнул пальто майора и его китель — за исключением нескольких ожогов и ссадин не удалось обнаружить никаких внешних повреждений. Солдат стоял рядом с ним: "У нас есть еще другие..." Эш тяжело поднялся — сказалась неизвестная доселе усталость. Болели все части тела. Тем не менее он еще раз собрался с силами, и они перенесли раненого унтер-офицера в безопасное место. Тела погибших солдата и шофера они положили на откосе. Сделав все это, Эш рухнул на траву рядом с майором: "Хоть секундочку передохну... не могу больше". Он так устал, что да-

же не обратил внимания на то, что над крышами города ввысь взметнулись языки яркого пламени, и солдат вскрикнул: "Эти уроды подожгли ратушу!"

В лазарете была паника.

Вначале все ринулись в сад, совершенно не обращая внимания на тех, кто не мог подняться; никто не слышал их мольбу о помощи.

Потребовался весь авторитет Куленбека, чтобы снова восстановить порядок. Собственноручно он снес на первый этаж наиболее тяжелых больных, он нес их на руках словно маленьких детей, его голос гремел в коридорах, он с руганью, притом непристойной, обрушивался на всякого, даже на Флуршютца и сестру Матильду, если его приказы не исполнялись мгновенно. Сестра Карла сбежала, и найти ее оказалось невозможно.

В итоге кое-как навели порядок. Кровати из опустевшего верхнего этажа снесли вниз, люди друг за другом постепенно приходили в себя. Кого-то не нашли. Они были в саду или даже дальше, в лесу или еще где-то.

Флуршютц с одним из санитаров отправились их искать. Одним из первых, кого они обнаружили за пределами сада, был Гедике; уйдя не очень далеко, он стоял на косогоре, избранном им в качестве наблюдательного пункта, поднятые костыли торчали вверх, выделяясь на фоне неба.

Можно было подумать, что он ликует.

Так оно и оказалось: когда они подошли поближе, то услышали, как он смеется, слышали этот рокошущий звериный хохот, которого весь персонал ждал уже несколько месяцев.

Он не обращал внимания на двоих, которые звали его, а когда они подошли поближе и вознамерились увести его, он угрожающее замахал костылями.

Флуршютц ощутил себя в каком-то беспомощном положении: "Ну, Гедике, ну пойдете..."

Гедике ткнул костылями в сторону огня и восхищенно закричал: "Страшный суд... восставшие из мертвых... восставшие

из мертвых... тот, кто не восстал, попадет в ад... дьявол заберет вас всех... всех вас заберет он сейчас..."

Что тут было делать! Но понаблюдав за ним некоторое время, санитар нашел правильный выход: "Людвиг, уже время ужинать, спускайся вниз".

Гедике замолчал; он недоверчиво выглядывал из-за своей бороды, затем наконец поковылял вместе с ними.

Запыхавшись и дрожа всем телом, Хугюнау продирался сквозь сад, пока не добрался до типографии. В первое мгновение он не мог понять, что его привело сюда. Затем вспомнил. Печатная машина! Он вошел внутрь. Темное помещение освещалось отблесками внешнего огня и находилось в обычном для воскресенья порядке. Хугюнау сел перед машиной, зажав винтовку между колен. Он был разочарован; машина не стоила его усилий — она стояла здесь холодная и невозмутимая и просто отбрасывала беспокойные тени, которые были ему неприятны. Если эта банда грабителей действительно придет сюда, то, собственно говоря, так ей и надо, этой чертовой машине, чтобы ее отдубасили. Хотя, конечно, это хорошая машинка... Он положил руки сверху на нее, рассердился, что металл был таким холодным на ощупь. *Merde*, что его так злит во всем этом! Хугюнау пожал плечами, выглянул во двор, посмотрел на сарай, где читались воскресные проповеди. Будет ли Эш читать здесь проповедь в следующее воскресенье? *Haïssiez les ennemis de la sainte religion!* Поповское отродье. Пустой сарай, это их дело... Что такому терять! Кости бы ему переломать! У него никаких проблем... В воскресенье — проповедь, а теперь сидит там, наверху, со своей бабой, утешают, небось, друг друга, тогда как кому-то приходится сидеть здесь, возле этой чертовой машины.

Он снова забыл, зачем сюда пришел. Он прислонил винтовку к машине. Во дворе он принюхался: опять этот колбасный

¹ Ненавидьте врагов святой веры (фр.).

запах, ударивший в нос. Сегодня же нет никакого ужина... ну, уж наверху, наверное, что-нибудь да имеется — Эшу-то ведь она не даст умереть с голоду.

Оказавшись наверху в коридоре, он весь содрогнулся от страха, поскольку дверь в его комнату была снята с петель. Тут что-то было не так. Дверь к тому же заклинило, и только потрудившись, ему удалось освободить дверной проем. Внутри комнаты был еще больший беспорядок: зеркало уже не висело над столиком для умывания, а лежало на разбитой посуде. Какой кавардак. Картина непонятная и беспокоящая, это напоминало обломки костей. Хугюнау сел на диван, ему хотелось понять, что же здесь произошло, но он не мог сосредоточиться. Если бы кто-нибудь пришел, чтобы все ему хорошенько объяснить и успокоить, погладить его по головке!

Тут ему пришло в голову, что он в любом случае должен позвать госпожу Эш, показать ей этот ущерб, а то в конце она еще и сделает его ответственным за все это. Он даже и не подумает возмещать ущерб, который он не наносил. Но как только он хотел позвать ее, в комнату, услышав его шаги, ворвалась она: "Где мой муж?"

Сильнейшее чувство блаженного и возбуждающего спокойствия охватило Хугюнау, когда он увидел знакомое лицо. Его лицо расплылось в дружественной и сердечной улыбке: "Ма-тушка Эш..." Он весь прямо-таки потянулся к ней, теперь все будет хорошо, она отведет меня в кровать...

Между тем она, как казалось, вообще его не видела: "Где мой муж?" Этот дурацкий вопрос разозлил его — чего эта женщина хочет сейчас от Эша? Если его здесь нет, то это только к лучшему. И он грубо ответил: "А я откуда знаю, где он лазит, уж к ужину-то он придет".

Она, наверное, его даже и не слышала, потому что подошла поближе и схватила его за плечи; она кричала ему прямо в лицо: "Он убежал, он убежал с винтовкой... я слышала, что стреляют".

В душе зашевелилась надежда: Эша застрелили! Но только почему тогда у этой женщины такой жалобный голос? Почему он так фальшиво звучит? Он хотел, чтобы она успокоила его, а вместо этого ему приходится самому ее успокаивать, да еще к тому же из-за этого Эша! Она все еще скулила: "Где он?" и по-прежнему не отпускала его плечи. Смущенно и в то же время со злостью гладил он толстые предплечья ее рук, как будто она была плачущим ребенком, он даже охотно сделал бы ей что-нибудь хорошее, но он просто продолжал гладить ее руки вверх и вниз, лишь с его уст слетали не очень дружественные слова: "Ну что вы воете за этим Эшем? Разве вам еще не надоел этот субъект? Я ведь здесь, с вами..." И только сказав это, он заметил сам, что требует от нее чего-то неприличного, словно в качестве компенсации за то, что она ему задолжала. Тут и она ощутила, к чему идет дело: "Господин Хугюнау, во имя всего святого, господин Хугюнау..." Но с самого начала почти безвольно, под его задыхающимся напором, она едва ли оказывала ему какое-либо сопротивление. Словно осужденный, который сам помогает палачу, она расстегнула ему брюки, и он, расположившись между ее широко разведенных и высоко поднятых бедер, без единого поцелуя опрокинулся вместе с ней на диван.

Ее первыми словами после того, как это произошло, были: "Спасите моего мужа!" А Хугюнау все было совершенно безразлично; теперь он мог жить столько, сколько хотел. Но в следующее мгновение она разразилась пронзительным криком: окно внезапно осветилось кроваво-красным огнем, вверх взметнулись оранжево-желтые языки пламени, горела ратуша. Она опустилась на пол, какая-то бесформенная глыба, она, она во всем виновата: "Пресвятая Богородица, что я наделала, что я наделала...— Она подползла к нему: — Спасите его, спасите его..." Хугюнау подошел к окну. Он был раздосадован; теперь и здесь еще проблемы. У него там, на улице, было их предостаточно, более чем предостаточно. И что хочет от него эта жен-

щина? Виноват в итоге был Эш. Захотелось поджариться там вместе с майором, святых всегда поджаривают. А теперь пойдут еще грабежи. Он снова забыл запереть типографию... Хороший повод, чтобы удобно уйти: "Я поищу его". Если я сейчас встречу Эша, думал он, спускаясь вниз, то я спущу его с лестницы.

Но в типографии, как и прежде, все было в полном порядке. Там стояла прислоненная винтовка, а машина отбрасывала беспокойные тени. В небо взлетали красные, желтые, оранжевые, венчаемые черным дымом языки пламени горящей ратуши, тогда как дальше все еще дымились остатки казармы и склада. Фруктовые деревья простирали вверх свои голые ветки. Хугюнау посмотрел на все это, и как-то в одно мгновение ему стало ясно, что все было правильно... все было правильно, даже машина снова стала нравиться ему... Все было правильно, все пришло в порядок, он пришел в себя, в состояние своего четкого трезвомыслия... Теперь ему надо было только поставить итоговую точку, и тогда все будет хорошо!

Он тихонечко опять поднялся наверх, осторожно заглянул в развороченную кухню, проскользнул к полке, на которой хранился хлеб, откромсал себе приличную краюху, а поскольку там ничего больше не было, то он вернулся обратно в типографию, удобно уселся, зажал между колен винтовку и принялся медленно есть. Уж с грабителями-то можно будет как-нибудь справиться.

Эш и солдат стояли на коленях возле майора. Они хотели привести его в сознание и натирали грудь и руки влажной травой. Когда он наконец открыл глаза, они пошевелили его руками и ногами. Оказалось, что переломов нет. Но он не отвечал на их обращения, оставался лежать, вытянувшись на траве, беспокойно шевелились его руки, они хватались за влажную землю, ковырялись в ней, хватали комки грязи, разминали их.

Стало ясно, что необходимо как можно скорее унести его отсюда. Звать помощь из города представлялось невозможным;

поэтому они должны были справиться с этим сами. Раненый унтер-офицер между тем уже настолько собрался с силами, что мог сидеть — следовательно, его можно было на какое-то время предоставить самому себе, и они решили прежде всего перенести майора через поле в дом Эша; по улице это было бы слишком опасно.

Только они обсудили, как будет лучше его нести, им показалось, что майор хочет что-то сказать: зажав комок земли между пальцами, он поднял руку, его губы приоткрылись и вытянулись вперед, но рука все время падала вниз и ничего не было слышно. Эш прильнул ухом к губам майора и ждал; наконец ему удалось разобрать: "Упал вместе с лошадьёю... легкое препятствие, и тем не менее упал... перелом правой передней ноги... я ее сам пристрелю... бесчестье смывается пулей...— и затем четче, как будто он хотел услышать подтверждение: — ...пулей, но не бесчестным оружием..." "Что он говорит?" — спросил солдат. Эш тихо ответил: "Он думает, что упал с лошади... но теперь вперед... если бы только, черт побери, не было так светло... В любом случае мы прихватим с собой винтовки".

Майор снова закрыл глаза. Они осторожно подняли его и, часто отдыхая и меняясь местами, несли через намокшее под дождем, раскисшее поле, тяжелая земля которого постоянно налипала на подошвы. Один раз майор открыл глаза, увидел пожар в городе и, взглянув пристально на Эша, скомандовал: "Газ... огнемёты... вперед, тушить..." Затем он снова впал в сонное состояние.

Добравшись до своего дома, Эш простился с солдатом: тому нужно было быстро возвращаться к своему товарищу, а помощь для того, чтобы занести майора, он уж здесь найдет. Пока они положили его на лавку перед беседкой. А когда солдат ушел, Эш тихонько вошел в дом, прислонил винтовку к стене в коридоре и распахнул дверь, открывавшую вход в подвал. Затем он взвалил майора себе на спину и занес его внутрь, осторожно нащупывая ногами ступеньки; внизу он положил его на кучу картофеля, которую предварительно накрыл грубошерст-

ным одеялом. Зажег керосиновую лампу, закрепленную на грязной стене, плотно закрыл лаз в подвал досками и тряпьем, дабы на улицу не пробивался свет лампы. Нацарапал затем записку, которую засунул в скрюченную руку майора: "Господин майор! Вы потеряли сознание во время аварии грузовика. Я скоро вернусь. С уважением, Эш". Он еще раз проверил лампу — достаточно ли в ней керосина; может, он вернется нескоро. К двери в подвал вели три ступеньки; прежде чем открыть ее, Эш еще раз оглянулся, осмотрел нависающий свод подвала и неподвижно вытянувшегося в нем человека: если бы не запах керосина, то подвал можно было бы вполне принять за холодный склеп.

Он медленно поднялся наверх, в коридоре немного прислушался к тому, что происходит наверху. Ничто не шелохнулось... Ну, жена, должно быть, уже отдыхает; раненый за городом был сейчас важнее. Он закинул на плечо винтовку и вышел на улицу.

Но его мысли были с человеком, который лежал в подвале, у головы которого висела керосиновая лампа. Когда гаснет свет, то это значит — Спаситель близко. Свет должен погаснуть, чтобы пришло это время.

Хугюнау как раз справился со своим хлебом и раздумывал, как бы ему добраться до остальных продуктов, когда увидел в полосе света в саду какую-то фигуру. Он схватился за винтовку, но тут сообразил, что это не кто иной, как Эш и что Эш нес на спине что-то смахивающее на мешок. Господин пастор, значит, уже и в грабители подался, впрочем, ничего удивительного, спокойно, сейчас все сразу же прояснится, и он с любопытством ждал, когда тот подойдет со своим грузом поближе. Эш ступал по двору тяжело и медленно, казалось, прошла вечность, пока он не приблизился к окну. Но тогда у Хугюнау перехватило дыхание — Эш тащил на себе человека! Эш тащил сюда майора! Ошибка была исключена, это был майор, тот, кого при- тащил сюда Эш. Хугюнау на цыпочках скользнул к двери, про-

сунул голову в щель — никакого сомнения, это был майор — и увидел, как Эш исчез со своей ношей в отверстии двери, ведущей в подвал.

Хугюнау с предельным нетерпением ожидал, как будут разворачиваться события дальше. А когда из подвала снова показался Эш и вышел на улицу, то Хугюнау закинул на плечо свою винтовку и последовал за ним на безопасном расстоянии.

Улицы, ведущие в направлении ратуши, были хорошо освещены ярким огнем пожара, на прилегающие улицы дома отбрасывали резкие дергающиеся густые тени. Не было видно ни души. Все побежали на Рыночную площадь, с которой доносился глухой шум. Хугюнау взбрело в голову, что в опустевших переулках любой мог бы заняться грабежами по своему усмотрению; залезь он сейчас сам в какой-нибудь из этих домов, чтобы вынести то, что ему надо, никто бы не смог ему помешать, хотя что там уж выносить по крупному из этих лачуг, и в голову ему пришло выражение "хорошая дичь". Эш завернул за следующий угол; значит, он идет не к ратуше, этот лицемерный хмырь. Мимо пробежали два парня; Хугюнау снял с плеча винтовку, готовый защищаться. Из бокового переулка, пошатываясь, навстречу ему вышел мужчина, который вел велосипед; левой рукой он крепко вцепился в руль, правая, болтаясь, свисала вниз, словно перебитая; Хугюнау с отвращением взглянул на его разбитое изуродованное лицо, на котором еще виднелся уставившийся в пустоту ничего не видящий глаз. Заботясь только о том, чтобы удержать велосипед, как будто он хотел забрать его с собой на тот свет, раненый проследовал нетвердыми шагами мимо. "Прикладом в морду", — буркнул сам себе Хугюнау и еще крепче сжал в руках винтовку. Из дверей одного из домов выбежала собака, она приножалась вслед раненому и к каплям крови, которые он оставил, слизнула их. Эша теперь уже не было видно. Хугюнау ускорил шаг. На следующем перекрестке он снова увидел отблеск винтовки за спиной. Он пошел за ним быстрее. Эш маршировал прямо, не смотрел ни напра-

во, ни налево, его внимание не привлекала даже горящая ратуша. Звуки его шагов по горбатой мостовой теперь уже вовсе были не слышны, поскольку здесь, за городом, мостовая заканчивалась, теперь он свернул в переулок, который вел вдоль городской стены. Хугюнау несется вперед; теперь и двадцать шагов не отделяют его от Эша, который спокойно продолжает свой путь; ударить его прикладом? Нет, это было бы глупо, должна быть поставлена больше чем просто итоговая точка. И тогда на него находит словно какое-то просветление — он опускает винтовку, двумя тангообразными кошачьими прыжками настигает Эша и вонзает штык в его костлявую спину. Эш, к большому удивлению убийцы, спокойно проходит еще пару шагов, затем, не издав ни звука, падает лицом вперед.

Хугюнау стоит рядом с упавшим. Носок его сапога касается руки, лежащей поперек колеи, выбитой колесами в жирной дорожной грязи. Наступить? Сомнения нет, он мертв. Хугюнау был ему благодарен, все было хорошо! Он присел возле Эша на корточки и заглянул в повернувшееся набок небритое лицо. Не увидя на нем того язвительного выражения, которого он боялся, Хугюнау успокоился и одобрительно, почти нежно похлопал убитого по плечу.

Все было хорошо.

Он поменял винтовки, свою, окровавленную, оставил возле мертвого, наверное, излишняя для такого дня предосторожность, но он предпочитал действовать так, как положено. Потом он отправился домой. Горящая ратуша хорошо освещала городскую стену, на нее отбрасывали тени деревья, с крыши ратуши вверх взметнулся последний оранжево-желтый сноп искр и огня — Хугюнау не мог не вспоминать человека, душа которого поднималась в распахнутое небо, и лучше всего он потряс бы ему его протянутую правую руку, так легко и радостно было у него на душе; затем рухнула башня ратуши, и от пожара осталось лишь тусклое красное свечение.

Полуразрушенный "Дом в розах", по-прежнему без света, безмолвно подставлял свои стены ночному ветру, с большой силой дующему здесь, наверху.

На кухне ничего не изменилось. В окаменелой неподвижности шестеро людей застыли на своих прежних местах, они сидели, по-прежнему не шевелясь, еще неподвижнее, наверное, чем прежде, словно обмотанные и спутанные нитями ожидания. Они не спали и не бодрствовали, они также не знали, как долго пребывают уже в этом состоянии. Один только мальчик задремал. С плеч Ханны сползло одеяло, но холодно ей не было. Однажды она обронила в тишину: "Нам нужно переждать это", но другие, наверное, и не слышали ее слов. И все же они прислушивались, прислушивались к пустоте, прислушивались к голосам, проникающим снаружи. А когда в ушах Ханны в который раз снова прозвучало: "Ограбление снизу", то она никак не могла понять, в чем тут смысл; лишенные смысла слова, бессмысленный шорох, но тем не менее она тоже прислушивалась, не были ли этими лишенными смысла словами те слова, которые прозвучали там, вне дома. Монотонно капала вода из крана. Никто из шести не шевельнулся. Остальные, наверное, тоже услышали призыв к ограблению, поскольку, вопреки большому социальному различию, вопреки изолированности и отсутствию обязательств, все они принадлежали к одной общности, все они попали в один заколдованный круг, цепь, звеньями которой были они сами и которую невозможно было разорвать без большого ущерба. И этот заколдованный круг, это состояние совместного транса давали возможность понять, что для Ханны призыв к ограблению становился все отчетливей; он был настолько отчетливым, насколько в обычных условиях она никогда не могла бы его воспринимать; призыв словно приносился сюда силой совместного прислушивания, его нес поток этой силы, которая все же была бессильной силой, силой простого восприятия и слушания, а призыв был очень громким, голос становился все мощнее и был подобен шумящему ветру, дующему на

улице. В саду завизжала собака, твякнула пару раз. Затем замолчала, и Ханна теперь лучше слышала голос. И голос повелевал ей; Ханна поднялась, остальные, казалось, не заметили этого, а также того, что она открыла дверь и вышла из кухни; она шла босыми ногами, но этого не знала. Ее босые ноги ступали по бетонной полосе, это был коридор, они прошли по пяти каменным ступенькам, шли по линолеуму, это был кабинет, шли по паркету и коврам, это был холл, шли по очень сухой кокосовой циновке, по осколкам черепицы и кирпича, по камням садовой дорожки. В этой ходьбе, которую можно было назвать чуть ли не строевым шагом, дорогу знали только ее ноги, поскольку глаза знали только цель, и когда она вышла из двери, то они увидели ее, увидели цель! В конце вымощенной камнями дорожки, в конце этого очень длинного моста, там, перевесившись наполовину через садовый забор, раскачивался грабитель, мужчина, взобравшийся на перила моста, мужчина в серой робе арестанта, серая каменная глыба, так висел он там. И не шевелился. С протянутыми вперед руками она ступила на мост, одеяло упало на землю, ночная рубашка развевалась, как облако на ветру, так приближалась она к неподвижному мужчине. Но то ли потому, что люди на кухне заметили теперь, что она ушла, то ли потому, что она потянула их за собой той магической цепью, за ней последовал садовник, вышла горничная, показалась кухарка, выскочила жена садовника, и, хотя слабыми и приглушенными голосами, но они стали звать теперь свою госпожу.

Это, наверное, была странная процессия, возглавляемая женщиной в белом, похожей на призрак, которая начала ерошить преступнику волосы. Потрясение было настолько сильным, что он не смог сдернуть перекинутую через забор ногу. Когда ему это все же удалось, то он еще какое-то время таращился на эту призрачную картину, а затем дал деру и скрылся в темноте.

Между тем Ханна продолжала свой путь и, будучи у самого

забора, она просунула руки сквозь прутья, словно сквозь решетку окна, как будто она хотела помахать уходящему. В городе видны были отблески пожара, но взрывы затихли и колдовство спало. Теперь даже ветер успокоился. Засыпая, она осела на прутьях, садовник и кухарка отнесли ее в дом, где ей постелили кровать в хозяйственной комнате рядом с кухней.

(На следующий день в хозяйственной комнате рядом с кухней Ханна Вендлинг скончалась от тяжелой формы гриппа, осложненного воспалением легких.)

Хугюнау маршировал домой. Перед одним из домов стоял маленький ребенок и плакал, ему наверняка не было и трех лет. "Где может прятаться Маргерите?" — подумал он. Он взял ребенка на руки, показал ему красивый фейерверк, отблески которого доносились сюда с Рыночной площади, он имитировал потрескивание и шипение огня, треск деревянных балок, шшшжух, шшшжух, хрусь, пока ребенок не начал смеяться. Затем он занес ребенка в дом, укорив мамашу, что нельзя в такое время оставлять ребенка без присмотра на улице.

Добравшись до дома, он прислонил винтовку к стене коридора, точно так, как это делал Эш, после этого открыл дверь в подвал и спустился к майору.

Майор, с тех пор как ушел Эш, не изменил своего положения; он по-прежнему лежал на куче картофеля с засунутой между пальцами запиской, но его голубые глаза были открыты и не мигая смотрели на свет подвальной лампы. Он не перевел свой взгляд и тогда, когда вошел Хугюнау. Хугюнау кашлянул, и когда майор не отреагировал, то он почувствовал себя оскорбленным. Время действительно было неподходящим для того, чтобы продолжать детскую ссору. Он подтянул к себе скамеечку, которая обычно использовалась для переборки картофеля, и с умеренным поклоном уселся напротив майора: "Господин майор, я, конечно, понимаю, что у господина майора имеются основания не желать меня видеть, но в конце концов все порас-

тает травой, а обстоятельства дают мне все же в конечном счете право, и я хотел бы вернуться к тому, что господин майор видели меня более чем в фальшивом свете; разве господин майор забыли, что я стал жертвой низкой интриги, о мертвых плохо не говорят, но пусть господин майор вспомнят, с каким пренебрежением встретил меня с самого начала этот пастор. И ни разу ни одной благодарности! Хоть бы одно слово признания из уст господина майора за все празднества, которые я организовывал в честь господина майора; ведь это просто: я благодарю вас, а вы за километр обходили меня. Но я не хочу быть несправедливым, поскольку однажды абсолютно спонтанно господин майор подали мне руку, тогда, когда были торжества по поводу Железного Бисмарка: вы видите, господин майор, что я хорошо помню каждый случай дружеского отношения ко мне со стороны господина майора, но даже тогда вокруг рта господина майора была такая ироническая складка, если бы вы только знали, как я не переносил, когда Эш так скалил зубы! Меня всегда отталкивали, если позволительно будет мне так выразиться. А почему? Просто потому, что я изначально не относился к этому кругу... Чужак, так сказать, пришедший откуда-то, как любил говаривать Эш, но это не причина, чтобы насмехаться надо мной и отталкивать меня; я всегда должен был держаться в тени, это тоже одно из его выражений — я всегда должен был держаться в тени, чтобы на виду был этот господин пастор и мог расти в глазах господина майора. Я это очень хорошо понял, господин майор могут не сомневаться, что это обижает человека; а также намеки, когда вы называли меня "злым", о да, это я очень хорошо понял, господин майор могли бы просто припомнить, целый вечер вы говорили о зле, ничего удивительного, что человек, которому такое говорится, в конце концов однажды действительно становится злым; я признаю, что фактически так он и выглядит, и что господин майор, наверное, будут называть меня сегодня шантажистом или убийцей, и тем не менее это просто одна лишь видимость; в дейст-

вительности все по-другому, это невозможно, так сказать, точно выразить; и господин майор, похоже, даже и не проявляют совершенно никакого интереса к тому, как это есть в действительности. Да, господин майор говорили тогда также много о любви, и Эш с тех пор постоянно болтал о любви — он всегда доводил до тошноты своей болтовней, но когда постоянно говоришь о любви, то надо было бы по меньшей мере постараться понять кого-нибудь другого, пожалуйста, господин майор, я, конечно, знаю, что не могу этого требовать и что человек в положении господина майора все-таки никогда не опустится до того, чтобы питать к такому человеку, как я, который является всего лишь обыкновенным дезертиром, такие чувства, но если мне будет позволено сказать, то Эш ненамного лучше, чем я... Не знаю, правильно ли понимают господин майор то, что я имею в виду, но я прошу господина майора набраться терпения..."

Прочищая стекла своих очков, он взглянул на майора, который все еще не шевелился и не издавал ни звука: "Я настоятельно прошу господина майора и мысли не допускать о том, что я удерживаю господина майора в этом подвале, чтобы заставить господина майора выслушать меня; там, наверху, творятся ужасные вещи, и если господин майор выйдут на улицу, то господина майора повесят на фонарном столбе. Господин майор завтра смогут сами убедиться в этом, о Боже, вы можете поверить мне хоть раз..."

Так и разговаривал Хугюнау с живой неподвижной куклой, пока наконец до него не дошло, что майор его не слышит, но он никак не хотел верить в это: "Я прошу прощения, господин майор устали, а я тут говорю. Я принесу что-нибудь поесть". Спотыкаясь, он кинулся наверх. Госпожа Эш, скрючившись, сидела на кухонном стуле и судорожно всхлипывала. Когда он вошел, она вскочила: "Где мой муж?"

"У него все хорошо, он уже скоро придет. У вас есть что-нибудь поесть? Еда мне нужна для одного раненого".

"Мой муж ранен?!"

"Нет! Я сказал вам, он скоро придет. Дайте мне что-нибудь съестное, можете сделать омлет; нет, это будет слишком долго..."

Он направился в жилую комнату; там на столе лежала колбаса. Не спрашивая, он схватил ее, положил между двумя кусками хлеба. Госпожа Эш побежала за ним и в ужасе завизжала: "Оставьте, это для моего мужа".

У Хугюнау появилось неприятное ощущение того, что у мертвого нельзя ничего забирать; это, может быть, даже накличет несчастье на господина майора, если он будет есть то, что предназначалось для мертвого. Впрочем, колбаса и так не совсем подходящая еда для него. На какое-то мгновение он задумался: "Хорошо, но молоко-то у вас есть... У вас ведь всегда есть в доме молоко".

Да, молоко у нее есть. Он налил молоко в чашку с носиком и осторожно понес ее вниз.

"Господин майор, молоко, прекрасное свежее молоко",— крикнул он ободряющим голосом.

Майор даже не пошевелился. Очевидно, и молоко было не то, что нужно; Хугюнау разозлился; может, надо было бы ему лучше принести вина? Это приободрило бы его и укрепило... он, кажется, очень ослабел... ну, сейчас мы попытаемся, вопреки всему! Хугюнау наклонился, приподнял голову старика, который не сопротивлялся, а даже послушно приоткрыл губы, чтобы Хугюнау мог вставить туда носик чашки. И когда майор набрал в рот медленно вытекающее из чашки молоко и проглотил его, то Хугюнау был просто счастлив. Он помчался наверх за второй чашкой; в дверях он оглянулся, увидел, что майор повернул голову, дабы посмотреть, куда он пошел, дружески кивнув ему, он помахал рукой: "Я сейчас вернусь". Когда он снова спустился в подвал, майор все еще смотрел на дверь подвала и улыбался, вернее чуть-чуть улыбнулся ему, но выпил еще всего лишь несколько капель. Он взялся рукой за палец Хугюнау и задремал.

Так и сидел там Хугюнау с пальцем в кулаке майора. Прочитал записку, которая все еще лежала на груди майора, спрятал эту улику. Она ему, конечно, не нужна, поскольку попади он в затруднительное положение, то все равно будет отвечать, что майора передал ему Эш; как бы там ни было, а кашу маслом не испортишь. Время от времени он пытался осторожно освободить свой палец, но тогда майор просыпался, слабо улыбался и, не отпуская палец, снова засыпал. Скамеечка была достаточно жесткой и неудобной. Так они провели остаток ночи.

К утру Хугюнау удалось освободиться. Это не пустяковое дело — проторчать всю ночь, скрючившись на какой-то скамеечке.

Он поднялся на улицу. Еще было темно. В городе, казалось, царила тишина. Он направился к Рыночной площади. Ратуша сгорела дотла, еще дымились ее остатки. Военные и пожарники выставили посты. От огня пострадали также два дома на Рыночной площади, перед ними в беспорядке было свалено в кучу домашнее барахло. Время от времени работал пожарный насос, дабы погасить вновь разгорающиеся остатки зданий. Хугюнау обратил внимание на то, что пожарным возле насоса помощь оказывали и люди в тюремных робах, которые также старательно участвовали в работах по расчистке. Он поинтересовался у одного из мужчин, у которого, как и у него, была зеленая повязка на рукаве, что здесь еще было, поскольку сам он был занят в другом месте. Мужчина не без охоты рассказал: да, собственно, после того, как ратуша рухнула, все и закончилось. Затем они все, друзья и враги, с почти безучастным видом сгрудились вокруг пожарища и должны были охранять близлежащие дома. Пара уродов попыталась проникнуть в дома, но на грабителей набросились даже их собственные товарищи, привлеченные воплями женщин. Кое-кому проломили башку, но это было кстати, поскольку после этого уже никто и не помышлял о грабежах. Сейчас отвезли раненых в больницу — это было са-

мое время, поскольку они начали так скулить, что не было сил все это слушать. Естественно, сразу же позвонили в Трир; но там, конечно, тоже кавардак, так что только сейчас, когда все уже позади, прибыли две машины с солдатами. Впрочем, считают, что комендант города, должно быть, пропал без вести...

Уж о нем не стоит беспокоиться, подумал Хугюнау, его он сам подобрал; майор, конечно, был в бедственном положении, поэтому, собственно говоря, Хугюнау заслуживает медаль за спасение, поскольку теперь за стариком хороший уход, и он спасен.

Он простился, приложив руку к шляпе, развернулся и неуклюжим шагом посеменил к лазарету. Уже светало.

Найти Куленбека оказалось не таким простым делом, но скоро он появился и, увидев Хугюнау, крикнул ему: "Эй, что вы хотели, дурила?"

Хугюнау скорчил обиженную мину: "Господин старший полковой врач, должен вам доложить, что господину Эшу и мне пришлось сегодня ночью спрятать у себя господина коменданта города, который тяжело ранен... Не распорядитесь ли вы, чтобы его как можно скорее доставили сюда?"

Куленбек помчался к двери. "Доктор Флуршютц!" — загрохотало по коридору. Пришел Флуршютц. "Возьмите машину — машина ведь сейчас здесь? И с двумя охранниками езжайте в конуру этих газетчиков... Вы же знаете... впрочем,— он сердито посмотрел на Хугюнау,— вы поедете с ними". Затем он смягчил выражение лица; он даже подал Хугюнау руку и сказал: "Ну, отлично, что вы с Эшем позаботились о нем..."

Когда они спустились в подвал, майор все еще мирно спал на куче картофеля, он не проснулся и тогда, когда его выносили. Хугюнау между тем помчался в редакцию. Много наличности там конечно же нет, только касса текущих расходов и марки, остальное до отправки в банк в Кельне он носил с собой; но и марок было бы жаль... трудно сказать, что еще предстоит... может, все-таки еще будут грабежи! Когда он вернулся, майора

уже поместили в машине, вокруг машины собралась пара зевак, спрашивающих, что случилось, а Флуршютц как раз собирался отправляться. Хугюнау словно по голове шарахнули: майора хотят увезти без него! И тут он вдруг понял, что сам ни при каких обстоятельствах не может тут оставаться — у него нет ни малейшего желания быть здесь, когда сюда принесут Эша.

"Я сейчас, господин старший врач,— крикнул он.— Я сейчас!"

"Как? Вы хотите ехать с нами, господин Хугюнау?"

"Естественно, я ведь должен еще и запротоколировать все события, всего одну минуточку, пожалуйста".

Он помчался наверх. Госпожа Эш стояла на коленях на кухне и молилась. Когда в дверях появился Хугюнау, она поползла к нему на коленях. Но он не обращал внимания на ее причитания, а залетев в свою комнату, начал хватать пожитки — их было совсем немного,— затолкал в чемоданчик те, что попадались под руку, надавил на него всем телом, чтобы закрылся замок, и понесся обратно. "Готово",— доложил он водителю, и машина тронулась.

Куленбек уже стоял у входа в больницу, в руках у него были часы: "Итак, что случилось?"

Флуршютц, который выскочил первым, взглянул слегка воспаленными глазами на майора: "Может, сотрясение мозга... может, и хуже..."

Куленбек сказал: "Тут и без того чистойшей воды дурдом... и это называется лазаретом... Ну, мы еще посмотрим..."

Майор, который еще во время езды начал шуриться, поглядывая на белесое утреннее небо, теперь полностью проснулся. Но когда его начали вытягивать из автомобиля, он стал беспокоен; он рвался то в одну, то в другую сторону, было понятно, что он что-то ищет. Куленбек подошел и наклонился к нему: "Что вы нам хотите тут устроить, господин майор?"

Тогда майор совершенно взбесился. То ли он узнал Куленбека, то ли он его не узнал, но он схватил его за бороду и начал

сердито трясти, заскрежетал зубами, и стоило больших усилий умирить его. Но он сразу же успокоился и затих, когда к носилкам подошел Хугюнау. Он снова схватил его за палец; Хугюнау пришлось идти рядом с носилками, и майор позволил себя только тогда обследовать, когда вплотную рядом с ним стоял Хугюнау.

Впрочем, Куленбек очень скоро прервал обследование. "Бессмысленно все это,— сказал он,— мы сделаем ему укол, а затем его нужно будет увезти отсюда... Мы и так эвакуируемся... Так что его следует как можно скорее доставить в Кельн. Но как? Я никого не могу послать с ним, приказ на эвакуацию может поступить в любую минуту..."

Хугюнау решился вставить свое слово: "Может быть, я мог бы отвезти господина майора в Кельн... в качестве, если можно так сказать, добровольного санитаря. Господа же видят, как господин майор доволен тем, что я рядом с ним".

Куленбек задумался: "Послеобеденным поездом? Нет, это все слишком ненадежно..."

У Флуршютца появилась идея: "Сегодня в Кельн должен отправляться один грузовик. Нельзя ли как-нибудь договориться?"

"Сегодня я согласен на все",— сказал Куленбек.

"Тогда я, наверное, могу попросить о предписании в Кельн?"— поинтересовался Хугюнау.

И случилось так, что Хугюнау, снабженный подлинными военными документами, с повязкой Красного Креста на рукаве, которую он выпросил у сестры Матильды, получил под свое официальное покровительство майора, чтобы доставить его в Кельн. Носилки расположили на грузовике, рядом на своем чемоданчике устроился Хугюнау, майор ухватился за его палец и больше его не выпускал. Позже усталость сморила и Хугюнау. Он прилег рядом с носилками настолько удобно, насколько было возможно, положил под голову свой чемоданчик, и, прикасаясь плечом к плечу, они уснули, словно два друга. Так и приехали они в Кельн.

Хугюнау, как и положено, сдал майора в госпиталь, терпеливо подождал у его кровати, пока ему не сделают укол, предупреждающий новую вспышку беспокойства, затем он мог уходить. Но от командования госпиталя он вытребовал воинский проездной документ на свою родину, в Кольмар. На следующее утро он снял со счета в банке остаток активов "Куртрирского вестника" и день спустя уехал. Его военная одиссея, ставшая прекрасным отпуском, закончилась. Было 5 ноября.

86

История девушки из Армии спасения (16)

Кто способен быть более счастливым, чем больной человек? Ничто не принуждает его ввязываться в жизненные баталии, в его воле даже умереть. Его ничто не принуждает делать из событий, которые приносит ему день, индуктивные выводы, чтобы вести себя в соответствии с ними, он может оставаться погруженным в свои собственные мысли,— погруженным в автономию своего знания, может мыслить дедуктивно, а может и теологически. Кто способен быть более счастливым, чем тот, кто может мыслить, руководствуясь постулатами своей веры! Иногда я выхожу один. Я иду медленно, руки в карманах, и смотрю на лица прохожих. Это лица, на которых виден конец, но часто, да это, собственно, мне всегда удается, я открываю за ними бесконечное. Это в определенной степени мои индуктивные легкомысленные выходки. То, что я во время этих рейдов, которые, впрочем, не простираются очень далеко — только раз я добрался до Шенеберга, но очень сильно устал из-за этого,— никогда не встречал Мари, никогда среди лиц не всплывало ее лицо, она полностью исчезла, это едва ли расстраивало меня, она ведь всегда стремилась к тому, чтобы ее отправили в заграничную миссию, и это, наверное, случилось. Только я был счастлив и без нее.

Дни стали более короткими. А поскольку электричество было дорогим и погруженного в собственную автономию человека можно было отговорить пользоваться им без особых сложностей, то ночи у меня были длинными. Тогда у меня часто сиживал Нухем. Он сидел в темноте и почти ничего не говорил, наверное, думал о Мари, но вслух он никогда о ней не вспоминал.

Однажды он сказал: "Скоро закончится война".

"Да", — согласился я.

"Теперь будет революция", — продолжал он дальше.

У меня появилась надежда утереть ему нос: "Тогда религии придет конец".

Я ощутил в темноте его безмолвный смех: "Это написано в ваших книгах?"

"Гегель говорит: это бесконечная любовь, когда Бог идентифицирует себя с чем-то чуждым Ему для того, чтобы его уничтожить. Это говорит Гегель... и тогда придет абсолютная религия".

Он опять улыбнулся, легкая тень в темноте. "Закон останется", — сказал он.

Его упрямство было непоколебимым; я сказал: "Да, да, я знаю, вы ведь вечный еврей".

Он тихо проговорил: "Теперь мы отправимся в Иерусалим".

Я и без того уже довольно много говорил, поэтому дальше мы сидели молча.

87

Широкий корпус корабля, немного корабля, что берег обрести
свой никогда не сможет,
Вздымает борозду туманных волн,
Что, берега не встретив, в бесконечной дали затихают,
О, море сна, безумных волн небытия круженье!
О, сон, несущий бремя потайное дня, сны — отраженья чувств
и мыслей обнаженных,

О, сон, к открытости стремишься ты на судне том,
Желания, о, ужас! — но еще ужасней кара
Закона, возле которого, не встретив исполненья, они
безмолвно затихают:

Двух снов еще не знало мирозданье, чтоб встретиться они
могли,

Ночь одинока, живет она

Лишь твоего дыханья глубиной, надежду нашу выдыхая,
Что, просвещенные, когда-нибудь приблизиться мы сможем
К высоким образам, что кары смертной не боясь,
Мы сможем подойти в сиянье ярком
К ступени милости Господней.

88

РАСПАД ЦЕННОСТЕЙ (10)

Эпилог

Все было хорошо.

И Хугюнау, снабженный подлинным воинским проездным документом, бесплатно добрался до своего родного Кольмара.

Совершил он убийство? Осуществил он революционный акт? Ему ни к чему было задумываться над этим, он и не задумывался. Если такое и случилось, то он мог сказать только одно: его действия были разумными, и любой из уважаемых лиц города, к которым он по праву смел причислить и себя, поступил бы точно так же, поскольку существовала четкая граница между разумным и безрассудным, между реальностью и ирреальностью, и Хугюнау согласился бы максимум на то, чтобы не провернуть дело в столь редкие военные и революционные времена, но тогда было о чем жалеть. А глубокомысленно он, наверное, добавил бы: "Всему свое время". Но так не случилось, потому-то он никогда и не вспоминал о том деле и никогда больше и вспоминать не будет.

Хугюнау не вспоминал о том деле, и еще меньше он осознавал иррациональность, которой были наполнены его действия, так наполнены, что впору было бы говорить о прорыве иррационального; человек ничего не знает о рациональности, которая определяет суть его молчаливого действия, он ничего не знает об "ограблении снизу", которому он подвергается, он не может об этом знать, поскольку в любое мгновение своей жизни он находится внутри какой-то системы ценностей, но эта система служит сокрытию и связыванию всего иррационального, что является носителем земной эмпирической жизни: не только сознание, но и иррациональное является, по Канту, той средой, которая сопровождает все категории,— это абсолют жизни, который со всеми своими влечениями, желаниями, эмоциями идет рядом с абсолютом мышления, и не только сама система ценностей содержится в спонтанном акте определения ценностей, который является иррациональным актом, но и мироощущение, стоящее за каждой системой ценностей, лишено как в своем истоке, так и в своем бытии любой рациональной очевидности. И мощный аппарат познавательной приемлемости, возведенный вокруг положений вещей, имеет ту же функцию, что и не менее мощный аппарат этической приемлемости, в котором движется человеческое действие, мосты разумного, которые возникают снова и снова, служат единственно цели вывести земное бытие из его неизбежной иррациональности, из его "зла" к более высокому "разумному" смыслу и к той собственно метафизической ценности, в дедуктивной структуре которой человек может определить надлежащее место миру, и вещам, и собственным действиям, снова найти самого себя, но так, чтобы его взгляд оставался уверенным и непреклонным. Ничего удивительного, что при таких обстоятельствах Хугюнау ничего не знал о своей собственной иррациональности.

Каждая система ценностей происходит из иррациональных устремлений, а переформировать иррациональное, этически недействительное мировосприятие в абсолютно рациональное, эта собственная радикальная задача "формирования" стано-

вится для каждой надличностной системы ценностей этической целью. И каждая система ценностей терпит неудачу при выполнении этой задачи, ибо методы рационального всегда лишь методы приближения, это метод кружения вокруг, который хотя и стремится с уменьшением каждого круга достичь иррационального, тем не менее никогда его не достигает, совершенно независимо от того, проявляется ли это иррациональностью внутренних чувств, бессознательностью этой жизни и переживания или иррациональностью данных условий мира и бесконечно многообразной формы мира, рациональное способно только разложиться на атомы. И когда люди говорят: "Человек без чувств — не человек", то в этом кроется кое-что от познания того, что существует неразрешимо иррациональный остаток, без которого не может существовать ни одна система ценностей и благодаря которому рациональное защищено от действительно несущей беду автономии, от "сверхрациональности", которая, с точки зрения системы, этически еще неприемлемее, еще "злее", еще "грешнее", чем иррациональное: это чистый, диалектический и дедуктивный, ставший автономным рациональный разум, который, в отличие от поддающегося формированию иррационального, никакого формирования больше не приемлет и который, приподнимая в своей застылости собственную логичность, проникает вплоть до предела логической бесконечности,— ставший автономным разум радикально злой, он отменяет логичность системы и, следовательно, ее саму; он инициирует ее распад и ее окончательное распыление.

Для каждой системы ценностей существует этап развития, на котором взаимное проникновение рационального и иррационального достигает максимума, имеется приемлемое состояние равновесия, в котором двустороннее зло становится неэффективным, невидимым, безвредным — времена кульминации и совершенного стиля! Потому что в этом взаимном проникновении почти может быть определен стиль эпохи: через сколько пор проникает в жизнь рациональное, это подчинено

жизни и центральной ценностной воле, если достигнуто время кульминации, а по скольким жилам системы позволено течь иррациональному, это так сказать шлюзуется, это и в своем тончайшем разветвлении поставлено на службу и для привода в движение центральной ценностной воли — иррациональное само по себе и рациональное само по себе, они оба лишены стиля, вернее, они свободны от стиля, то — в свободе стиля природы, это — в свободе стиля математики, но в своем объединении, в своей взаимосвязанности, в такой связанной рациональной жизни иррационального возникает феномен, который можно назвать собственно стилем системы ценностей.

Но это состояние равновесия недолговечно, оно всегда — лишь переходящий этап; логика фактов загоняет рациональное в сверхрациональное, она загоняет сверхрациональное к границе его бесконечности, она подготавливает процесс распада ценностей, распад всей системы на фрагментарную картину, а в конце этого процесса наряду с освободившимся автономным разумом стоит освободившаяся автономная иррациональная жизнь. Разум, конечно, проникает и в фрагментарные системы, он даже направляет их к автономному развитию, ведет к собственной автономной бесконечности, но широта развития разума внутри фрагментарной системы ограничена соответствующей предметной областью. Так, имеется специфически купеческое или специфически военное мышление, каждое из которых стремится к последовательно бескомпромиссной абсолютности, каждое из которых образует соответствующую дедуктивную схему приемлемости, каждое имеет свою "теологию", свою "личную теологию", если это можно так назвать, и именно в такой степени, в какой проявляется такого рода военная или коммерческая теология, чтобы создать предметный уменьшенный Органон, как раз в такой степени иррациональности остаются связаны в рамках фрагментарных областей; фрагментарные области остаются отражением "Я" и общей системы, они пребывают в состоянии равновесия или стремятся к такому, так что принимая во внимание такое равновесие, можно говорить о

военном или купеческом стиле жизни. Впрочем, чем меньше система, тем ограниченнее ее способность к этическому расширению, тем незначительнее ее этическая воля, тем безучастнее и безразличнее становится она к злу, к сверхрациональному и иррациональному, что еще действуют в ней, тем меньше количество связанных сил, тем больше тех, против которых она индифферентна и которые она рассматривает как "личное дело"; чем дальше продвигается разрушение общей системы, тем более свободным становится разум мира, тем видимее, тем эффективнее становится иррациональное; общая система религии делает охваченный ею мир рациональным, освобождение разума должно в такой же степени освободить и немоту иррационального.

Последней единицей раскола при распаде ценностей является человеческий индивидуум. Чем меньше этот индивидуум участвует в довлеющей системе и чем больше он сориентирован на свою собственную эмпирическую автономию — здесь тоже наследие Возрождения и уже в нем наметившегося индивидуализма, — тем уже и скромнее становится его "личная теология", тем она неспособнее ухватить какую-либо ценность вне рамок его предельно узкой индивидуальной сферы: то, что происходит вне предельно узкого круга ценностей, может быть воспринято лишь только необработанно, несформированно, догматически — возникает та пустая и догматическая игра условностей, то есть сверхрациональностей мельчайшего размера, которые типичны для сущности человека-обывателя (никто не скажет, что для Хюгюнау такая характеристика не подходит), возникает бесконфликтное контактное и внутреннее взаимодействие схваченной иррациональным живости и сверхрационального, которое в призрачно мертвом холостом пробеге служит еще только этому рациональному, и то и другое лишено стиля и ничем не связано, они объединены в несовместимости, которая уже неспособна больше создать ни одной ценности. Человек, который, будучи свободным от любого единства ценностей, стал исключительным носителем индивидуальной цен-

ности, метафизически "отверженный" человек, отверженный — поскольку единство распалось и расплылось на индивидуумы, — является свободным от ценностей, свободным от стиля, и определяющим для него остается еще только иррациональное.

Хугюнау, человек свободный от ценностей, относился также к коммерческой системе; он был человеком, снискавшим хорошую репутацию в соответствующих кругах, добросовестным и осмотрительным коммерсантом, он всегда следовал своему коммерческому долгу с полной отдачей, можно даже сказать, со всей радикальностью. То, что он убил Эша, едва ли относилось к сфере коммерческих обязательств, это, впрочем, не вступало в противоречие с его торговыми обычаями. Это было своего рода отпускным событием, совершенным в то время, когда и коммерческая система ценностей была приподнята, оставив место для одной только личностной системы. К тому же это находилось в русле коммерческого духовного склада, к которому возвратился Хугюнау, когда он с учетом обесценивания марки, которое случилось после заключения мира, направил госпоже Гертруде Эш следующее послание:

Госпоже
N.N.¹ Эш

Дорогая госпожа,

питаю надежду найти Вас в полном здравии, рад сообщить Вам о своем благополучии и, пользуясь случаем, покорнейше напоминаю Вам, что в соответствии с Договором от 14 мая 1918 года я являюсь владельцем более 90 процентов акций "Куртрирского вестника". Справедливости ради я должен заметить, что из этих 90 процентов треть, то есть 30 процентов, находится во владении различных господ, проживающих в тамошней местности, но интересы которых в деле тем не менее представляю я, так что без

¹ Ставится в письмах, когда неизвестны инициалы адресата.

моего вѣдома и воли не может производиться ни дальнейшая эксплуатация, ни совершение прочих сделок, так что я должен возложить на Вас и на других господ компаньонов полную ответственность за последствия и ущерб вследствие возможных нарушений данного положения. Если Вы и уважаемые мною другие господа тем не менее возобновили выпуск, то я в таком случае покорнейше прошу прежде всего предоставления счетов и перечисления моей группе причитающейся ей доли прибыли в размере 60 процентов (в соответствии с Договором) и оставляю за собой право на совершение всех последующих шагов.

С другой стороны, со всей моей Вам хорошо известной лояльностью я констатирую, что форс-мажорные обстоятельства конца войны помешали мне своевременно внести в предприятие за себя или за свою группу оба оставшихся платежа в общей сумме 13400 марок, из которых Вам как наследнице блаженной памяти господина Августа Эша причитается еще 8000 марок. Впрочем, столь же лояльно я обращаю Ваше внимание на то, что Вы, если будете поднимать этот вопрос, не воспользовались возможностью предупредить заказным письмом газету, то есть меня как ее руководителя, о выплате этих долей с определенной отсрочкой, так что теперь я только лишь обязан, если Вы намерены сейчас выступить с напоминанием о выполнении обязательств, произвести Вам выплаты за вычетом пени за просрочку, дабы ликвидировать наши юридические отношения.

Но поскольку я хотел бы избежать того, чтобы иметь возможное судебное разбирательство с высокоуважаемой супругой моего многоуважаемого покойного друга Августа Эша,— хотя данная местность расположена в оккупированном районе, так что для меня как французского гражданина не существовало бы

особых сложностей и я являюсь сторонником быстрых решений,— то я покорнейше предлагаю сторнировать¹ нашу тогдашнюю сделку, в результате чего Вы с учетом юридического положения вещей совершенно не остались бы внакладе.

Простейший путь этого сторнирования мог бы состоять в том, что я произвел бы Вам обратную продажу принадлежащих мне или моей группе 60 процентов акций, и я готов произвести это на особо выгодных условиях и предлагаю Вам, оставаясь свободным, с учетом промежуточной продажи, эти акции за половину их исходной в свое время стоимости в перерасчете на франковый эквивалент. Общая покупная цена составляет 13400 марок, то есть в перерасчете на мирный эквивалент ок. 16000 франков, так что я уступаю Вам эти акции особенно любезно за 8000 франков, прописью

восемь тысяч французских франков,

при этом я особо подчеркиваю, что не учитывал ни мои личные расходы, ни мои личные взносы, которые я имел в деле, ни мой многомесячный труд, хотя газета именно благодаря этому стала стоить намного дороже, чем в тот момент, когда я взвалил ее на себя, я склоняюсь к этому особенно скромному и любезному отношению и требованию, дабы сделать данное решение для Вас и приемлемым, и окончательным, тем более, что эту сумму, пока нет необходимости иметь ее в ликвидной форме, Вы сможете легко собрать, заложив Ваше необремененное недвижимое имущество под ипотеку².

В конце позволю себе дополнительно обратить Ваше внимание на то, что, выкупив обратно эти 60

¹ Сторно — способ исправления ошибок в бухгалтерском учете.

² Ипотека — долговое свидетельство о залоге недвижимости.

процентов акций, Вы вместе с доставшимися Вам в свое время 10 процентами будете прочно иметь в своих руках подавляющее большинство в 70 процентов, благодаря чему Вы легко сможете прижать к стенке группу меньшинства других господ компаньонов, и я уверен, что тогда вскоре снова станете единственной владелицей процветающего предприятия, касательно которого мне хотелось бы напомнить, что дело с объектами — мне льстит то, что я внедрил его — уже само по себе является золотым дном, и относительно него я и дальше и словом и делом остаюсь в Вашем распоряжении.

Соблаговолите усмотреть из всех этих обстоятельств, что я делаю свое предложение в ущерб своим собственным интересам, поскольку мне затруднительно руководить делами газеты отсюда, но я все же убежден, что другие претенденты заплатили бы мне гораздо больше, что Вас ни в коей мере радовать не может, поэтому я покорнейше прошу Вас дать мне утвердительный ответ в течение 14 дней, в противном случае я передаю дела своему адвокату.

В убежденности, что Вы благосклонно отнесетесь к моему дружескому и любезному предложению, так что мы сможем тогда прийти к окончательному завершению нашего дела, позволю себе еще только сообщить, что ситуация с ведением дел в наших краях вполне удовлетворительная и я очень загружен делами, подписываюсь

в своем уважении

Вильг. Хугюнау
от имени
фирмы "Андре Хугюнау"

Это был шантажирующий и отвратительный шаг, но Хугюнау не воспринимал его таковым; шаг сей не противоречил ни его

личной теологии, ни теологии коммерческой системы ценностей, он даже не воспринимался бы как отвратительный согражданин Хугюнау, поскольку с коммерческой и юридической точки зрения это было безукоризненное письмо, и сама госпожа Эш воспринимала такую легальность как судьбу, которой она охотнее подчинится, чем хотя бы той же конфискации со стороны коммунистов. Хугюнау, конечно же, вскоре пожалел об излишней скромности своего требования — половина себе-стоимости! — разве что только никогда не следует перегибать палку, и действительная уплата восьми тысяч франков явилась существенным вливанием в кольмарскую фирму, но, кроме всего прочего, это была окончательная ликвидация того военного происшествия, это было окончательное возвращение домой и, возможно, если это только возможно, что это даже было нечто болезненное, поскольку все отпускное окончательно исчезло. И если в течени человеческой жизни и ее несущественности вообще можно найти что-либо достойное того, чтобы рассказывать об этом, то только не в жизни Хугюнау. Он взял на себя отцовское дело и в духе предков продолжал его солидно, думая о прибыли. А поскольку холостяцкая жизнь была неприемлема для делового человека в его обществе, да и традиция дома, из которого он вышел сам, требовала, чтобы он взял в супруги шуструю даму, дабы, с одной стороны, наделать себе детей, а с другой — использовать приданое для укрепления фирмы, то он занялся тем, что предпринял для этого соответствующие шаги. А поскольку франк между тем начал обесцениваться — немцы же ввели золотую марку, — то было вполне естественно, что он обратил свой взор на правый берег Рейна. И поскольку он нашел наконец невесту, располагавшую соответствующими средствами, в Нассау, а это была местность, заселенная протестантами, то не было ничего удивительного в том, что любовь и материальные преимущества смогли подвинуть вольнодумца к смене веры. А поскольку невеста и ее семья были достаточно глупы, чтобы придавать этому значение, то он в угоду им стал протестантом. И только когда то один, то дру-

гой из его сограждан покачивали головой, узнав об этом шаге, то вольнодумец Хугюнау ссылался на отсутствие значимости у такого рода формальностей, и к тому же в подтверждение такой точки зрения он, вопреки своему евангелическому вероисповеданию, отдал свой голос за католическую партию, когда она в 1926 году пошла на создание избирательного блока с коммунистами. И поскольку жители Эльзаса слыли полным причуд народом и у многих из них не хватало винтиков в голове, то они не очень долго удивлялись отклонениям Хугюнау, которые, собственно говоря, и отклонениями-то не были, поскольку он тихомирно поживал себе между мешками с кофе и тюками с текстилем, сном и едой, делами и карточной игрой. Он стал главой семейства, его эластичная округлость раздалась еще больше, и он стал со временем немного рыхловатым, его бодрая походка тоже со временем превратилась в походку вразвалку; со своими клиентами он был вежлив, для своих подчиненных он был строгим начальником, образцово старательным на работе; рано утром он уже на ногах, отпуск себе не позволял, эстетических наклонностей у него вообще не было или он пренебрегал ими; изредка его обязанности оставляли ему время всего лишь на то, чтобы выйти погулять с женой и детьми; о том, чтобы посетить музей, не могло быть и речи — картины и без того вызывали у него отвращение. Он вошел в круг уважаемых лиц в своем городе, он снова шествовал по тропе долга. Его жизнь была жизнью, которую уже двести лет вели его кровные предки, и его лицо было их лицом. Они ведь и выглядели все одинаково, эти Хугюнау, толстые и сытые с серьезными физиономиями, а чтобы у кого-то из них появилось саркастически-ироническое выражение на лице, об этом невозможно было даже и помыслить. То ли это было обусловлено смешением крови, или просто игрой природы, или чем-то, что свидетельствует о совершенстве внука и отделяет его от всех его предков, сложно сказать, да и было это деталью, которой никто, и уж меньше всего сам Хугюнау, не придавал совершенно никакого значения. Многие стало ему безразличным, и когда он вспоми-

нал о событиях войны, то они все больше и больше сливались в один клубок, и в итоге не осталось ничего более, кроме одной-единственной цифры 8000 франков, в которой они нашли свое отражение и в которой содержалось их итоговое выражение, и все, что он пережил тогда, постепенно приобрело для делового человека Хугюнау очертания и мягкие тона французских банкнот, с которыми он с тех пор имел дело. На то, что произошло, опустился приятный серый туман наполненного сновидениями серебристого сна, очертания для него становились все более размытыми, они все больше погружались во мрак, словно бы перед ним опускалось покрытое гарью и копотью стекло, в конце концов он уже и не знал, жил ли он той жизнью, или ему о ней просто рассказали.

Можно, наверное, сказать, что все это забывание и погружение во тьму представляло собой всего лишь безропотную покорность судьбе, едва ли обусловленную той общественной системой ценностей, которая снова была установлена в Эльзасе, а значит, и в Кольмаре, под защитой победоносных французских штыков, тогда как сами эти края, помня о столетних несправедливостях, которым они подвергались как справа, так и слева, являлись настоящей приграничной зоной, наполненной революционным духом, да и в самом Хугюнау бурлили всевозможные бунтарские мысли. Все-таки надо было бы сказать, что освободившиеся иррациональные силы не хотят больше подчиняться старой системе ценностей и что они, находясь под давлением, вынуждены вызывать состояние умирания как для общества, так и для индивидуума. А поэтому возникает вопрос о судьбе освободившихся в процессе распада ценностей иррациональных сил: действительно ли они всего лишь только средства борьбы в споре отдельных областей ценностей? Действительно ли они всего лишь средства взаимного разделения? Действительно ли они всего лишь убийство? Должны ли они, когда распад ценностей дойдет до последней единицы распада, стать борьбой индивидуума против индивидуума, должны ли они привести к борьбе всех против всех? Или, если ограни-

читься делом Хугюнау, может ли фрагментарная система ценностей, вроде коммерческой, куда вернулся Хугюнау, обладать достаточной способностью удерживать все вместе, чтобы и без поддержки штыков и полицейских дубинок снова объединить в единый Органон иррациональные устремления?

Познавательнo-теоретически, впрочем, такой вопрос недопустим, поскольку он провоцирует рассуждения о сути иррационального, уже самим только термином "силы" провоцирует механическое изложение, антропоморфную и волюнтаристскую метафизику, короче говоря, толкование, которому иррациональное противится по самой своей идее, поскольку это безмолвная и именно иррациональная жизнь, которая хотя и дает материал для рационального "формирования ценностей", но тем не менее в исходном состоянии несформировавшейся иррациональности не допускает просто лишь констатацию своего анонимного бытия и, более того, никакого теоретизирования. Господствующая тотальная система, то есть религиозная система, целиком и полностью осознает это. Церковь признает только одну систему ценностей, свою собственную, поскольку, исходя из ее платонических истоков, ей известна только одна истина, только один логос: имея более чем рациональную ориентацию, она не может терпеть внелогическое, она изначально настроена отказать иррациональному и его гипотетическим "свойствам" не только в познавательнo-теоретическом, но и в этическом праве на существование; иррациональное стало просто животным, и все, что может быть им произнесено, ограничивается констатацией, что оно существует и должно быть сведено в категорию зла. Если иррациональное вообще возникает как проблема под этим углом зрения, то только в вопросе о возможном существовании зла внутри сотворенного Богом мира, и если вообще должно обсуждать системообразующие способности иррационального, то только с учетом возможных форм проявления зла. Конечно, это вопросы, которые церковь никогда не игнорировала, которые она никогда не могла игнорировать; существование зла всегда относилось к предпосыл-

кам *ecclesia militans*¹, и если процесс распада ценностей ведет такое существование к продолжающемуся проявлению, то церковь снова и снова вынуждена возлагать ответственность за этот распад на зло. Говоря иными словами, сверхрациональное, где берет свое начало распад, выводится за пределы его собственного существования и отсылается в категорию зла, то есть иррационального. Но поскольку церкви, с одной стороны, так же как и отдельному человеку, слишком уж свойственно знание "определения определения", поскольку она, наверное, отчетливее любого отдельного человека знает, что условие возможного опыта для всех форм проявления определяется категорией "ценности", поскольку она, с другой стороны, вынуждена рассматривать свою собственную структуру ценностей единственно правильной, то она приписывает системообразующую силу скорее не иррациональному злу, а форме проявления подделывания, видит в зле всегда только подделывание своей собственной формы проявления, она едва ли приписывает злу рациональное мышление, скорее пустую подделанную форму мышления, мышление с "выхоленной истиной" (зло как *privatio*² добра), пустая сверхрациональная и догматическая игра условностей, введенное иррациональным в заблуждение "умничание", которое, служа только иррациональному, превращает этическую волю в пустую трескотню о морали, в последнем же проявлении, расширившись до тотальной системы, оно поднимет зло обывательства до гигантского масштаба антихриста: чем лучше зло устраивается в мире, тем совершеннее становится имитация, которую познает Христос посредством антихриста, тем страшнее становится система ценностей антихриста, которая может быть только тотальной системой, хотя система церкви тоже является тотальной системой, само зло неделимо и гомогенно, так же неделимо и гомогенно, как и ему противопоставляемая и им имитируемая истина. То, что рядом с

¹ Воинственное собрание (лат.).

² Отрицание, отсутствие (лат.).

этой тотальной системой бледнеют фрагментарные системы, что католицизм придает протестантской мысли, этому лучше всего видимому выражению распада ценностей, особое значение среди феноменов процесса распада и возводит ее в статус доминирующей, даже главной идеи относительного и иррационального развития, то, что церковь в ней, равно как и во всех фрагментарных системах, видит только искаженное изображение истинной системы ценностей, преддверие для грозящей тотальной системы антихриста, эта оценка не только соответствует особой церковной точке зрения, но имеет также надежную опору в объективном положении вещей, например в характерном сходстве, которое имеет протестантизм по отношению к любой другой фрагментарной системе: будь то капиталистическая, будь то националистическая или любая другая фрагментарная система, ее всегда можно привести к одному общему "революционному" антицерковному знаменателю с протестантизмом, т.е. с церковной точки зрения, к знаменателю преступного, в котором просматриваются все иррациональные враждебные ценностям силы еретичества. И если церковь также частенько идет на уступки и, предпочитая большим бедам маленькие, терпимо относится к тем или иным ответвлениям, хотя бы к тем же националистическим, которые рассматривает в качестве движений, сохраняющих позиции по отношению к более радикальным, чисто революционным расколам, то она будет решать основной вопрос о судьбе иррациональных сил всегда только в самом непримиримом аспекте: Христос или антихрист — или возвращение в лоно церкви или гибель мира в свершившемся расколе ценностей в ходе борьбы друг с другом.

Независимо от того, зеркальное это или искаженное отражение, каждая фрагментарная система имитирует в качестве системы ценностей структуру тотальной системы, а поскольку ее знания являются формальными и принципиальными, то они должны быть повторены и подкреплены в более мелких структурах; содержательные отклонения, напротив, должны, поскольку

ку ни одна система не может обозначить сама себя "злой", содержаться в оценке иррационального. Каждая фрагментарная система революционна по своему логическому возникновению, своему логическому обоснованию; если, например, националистическая фрагментарная система, следуя собственной логической абсолютизации, создает Органон, в центре которого находится вознесенное к Богу национальное государство, то этим привлечением всех ценностей государственного мышления, этим подчинением индивидуума и его духовной свободы государственному насилию не только занимается революционно-антикапиталистическая позиция, но и с еще большей убедительностью прокладывается путь антирелигиозному, антицерковному направлению, которое строго и однозначно приводит к абсолютно революционному распаду ценностей, а следовательно, и к ликвидации собственной системы. Отсюда следует, что если фрагментарная система желает сохранить в процессе расщепления ценностей свое собственное содержание, если она хочет защититься от своего собственного протискивающегося к этой цели логического мышления, то она должна найти прибежище у иррациональных средств, а из этого возникает своеобразная двузначность, если рассуждать познавательно-теоретически, даже нечистоплотность, присущая каждой фрагментарной системе: беря на себя в противовес происходящему распаду ценностей роль тотальной системы, оценивая иррациональное в качестве чего-то бунтовщицкого и преступного, фрагментарная система вынуждена выделять из гомогенной массы иррационального и его анонимного зла группу "хороших" иррациональных сил, чтобы с их помощью сдерживать пугающий дальнейший распад и обеспечить легитимацию собственного содержания; каждая "частичная революция", а в этом значении каждая фрагментарная система является "частичной революцией", обращается к иррациональным приоритетам, к весомости чувственных ценностей, к достоинству "иррационального духа", который уравнивается с радикальным разумом полной революции; для того чтобы зафиксировать себя точкой

покоя в процессе распада ценностей, каждая фрагментарная система должна четко признать "несформировавшийся" иррациональный остаток, в качестве, так сказать, резервата в потоке разума.

Поскольку революции — это неповиновение зла злу, неповиновение иррационального рациональному, неповиновение иррационального под маской освободившегося разума рациональным институциям, которые для сохранения своего содержания самоуспокоенно апеллируют к находящимся в них самих иррациональным чувственным ценностям, поскольку революции — это борьба между нереальностью и реальностью, между насилием и насилием, то им приходится рождаться, когда освобождение сверхрационального влечет за собой освобождение иррационального, когда разрушение системы ценностей доходит до последней и индивидуальной частички ценностей и в абсолютной свободе ценностей ставшего автономным и одиноким индивидуума наружу прорывается все иррациональное. Это прорыв иррационального, прорыв автономного, прорыв жизни, и одинокий свободный от ценностей человек становится его инструментом; и если весь земной страх и одиночество вначале должны охватить земных покинутых, то есть пролетариат, который подвержен голоду, солдаты в окопах, которые подвержены ураганному огню, если эти, в истинном значении слова, "отверженные" должны быть первыми, кто достиг свободы ценностей, то они являются также первыми, кто воспринимает призыв к убийству, заглушающий с грохотом, подобно разваливающему куску железа, немоту иррационального. И всегда выходит так, что человек более мелкого союза ценностей уничтожает человека более крупного распадающегося союза, он, самый несчастный, всегда берет на себя роль палача в процессе распада ценностей, и в день, когда начинают звучать фанфары суда, палачом мира, который следует самому себе, становится свободный от ценностей человек.

Хугюнау совершил убийство. После он о нем сразу же забыл, он больше не думал о нем, тогда как каждую коммерческую сделку, которая ему впоследствии удавалась (письмо госпоже Эш!), он надежно хранил в памяти. И это было само собой разумеющимся: оставались жить только те дела, которые вписывались в соответствующую систему ценностей, а Хугюнау снова оказался в коммерческой системе. Как раз поэтому можно утверждать, что он, хотя и был наследником процветающего отцовского дела, при соответствующих обстоятельствах точно так же мог бы стать пламенным революционером, как он стал старательным купцом, поскольку пролетарий в качестве движущей силы революции не является "революционером", как он это думает, поскольку никакого "революционера" вообще нет — нет и никакого различия между народом, ликовавшим на четвертовании покушавшегося на короля Дамиана, и народом, который 35 лет спустя толпился вокруг гильотины Людовика XVI, — он просто представитель большого события, он просто представитель европейского духа: пусть даже отдельный человек со своей обывательской жизнью все еще прозябает в старой фрагментарной системе, пусть даже он, подобно Хугюнау, оказывается в коммерческой системе, пусть даже он присоединяется к предреволюции или окончательной революции, то есть духу позитивистского разложения ценностей, что простирается над всем западным миром, и его видимое выражение ни в коей мере не ограничивается пролетарско-русским материализмом, более того, он просто своего рода игра позитивистского мышления, в котором подверглась разложению вся западная философия, если она вообще так может называться. Да, даже проблемы распределения благ отходят на задний план, хотя все больше исчезает различие между американскими и коммунистическими методами работы, они отходят на задний план перед единством идеологии, которая все однозначнее стремится к общей точке, к цели, для которой не имеет значения, обозначена ли она этой или той политической сигнатурой, поскольку вся ее значимость — исходя из основного вопроса — состоит

единственно и исключительно в том, что она может быть тотальной системой, способной снова объединить освободившиеся потоки иррационального. И поэтому так же неважно, жизнеспособна или нет какая-то там "иррациональная" предреволюция, ибо она остается без какого бы то ни было влияния на "рациональную" завершившуюся революцию, с которой она в итоге должна слиться; более того, она способна — выходя за пределы любого механистического толкования — как фрагментарное образование показать, что внутри тотальных образований должно оставаться непознанным, что имеются иррациональные силы, что они эффективны и что они, по существу, стремятся к слиянию внутри нового Органона ценностей, к тотальной системе, являющейся, с точки зрения церкви, не чем иным, как системой антихриста. При этом речь идет даже не о подчиненных симптомах, таких как антиплатонический пыл коммунистов или разъяснительная пропаганда марксистских или мещанских объединений вольнодумцев, то есть атеизме, который при всей греховности является для церкви слишком незначительным, даже достойным сожаления, чтобы можно было поставить его в один ряд со злом антихриста, поскольку речь здесь идет о европейском духе, о "еретическом" духе непосредственности и позитивизма, так что в этом самом общем смысле даже безразлично, проникла ли протестантская идеология через Фихте в националистическую революцию или (что, впрочем, более однозначно) через Гегеля в марксистский коммунизм, а если и церковь непогрешимым инстинктом ненависти против еретиков выслеживает протестантизм еще в самых отдаленных производных проявлениях и именно поэтому преследует коммунизм, чьи исходно христианские принципы она могла бы без особых проблем принять, то конкретная форма проявления коммунизма еще не является конкретизацией антихриста, а всего лишь предварительной ступенью. И пусть даже та протестантская теология кантиантства разворачивается здесь в настоящую "марксистскую" теологию, снабженную жестким изложением законов, с четкой онтологией и бесспорной этикой,

снабженную, таким образом, всеми компонентами настоящей теологии, представляющей в своей общности видимую церковь, и пусть даже эта церковь совершенно осознанно начнет свою деятельность как антицерковь, преподнося машины в качестве своих культовых предметов, используя инженеров и демагогов в качестве своих пасторов, то это еще не тотальная система как таковая, это еще не антихрист, но это путь и это указание на распад христианско-платонической картины мира! И четко, ни для кого столь четко, как для католицизма, уже во всей этой догматике, в построении этой марксистской антицеркви и ее аскетического и жесткого государственного мышления вырисовывается мощный контур духа, который выходит далеко за пределы марксизма, далеко за пределы обожествления государства, и все революционное, какие бы формы оно ни принимало, оставляет так далеко позади себя, что даже марксистский путь кажется обходной дорогой: это контур бесцерковной "церкви в себе", свободная от субстанций онтология "естествознания в себе", свободная от догм "этика в себе", короче, Органон той последней логической и трезвой абстракции, которая должна достигаться бесконечным отодвиганием точки приемлемости и в которой проявляется вся радикальность протестантского духа,— это то позитивистское двойное подтверждение земной данности и суровой аскетичности долга, которое было свойственно уже Лютеру и всему Возрождению и которое, реализовывая теперь свойственные ему и необходимые идеи, стремится к новому единству мышления и бытия, к новому единству этической и материальной бесконечности. Это то единство, которое составляет суть любой теологии и которое должно существовать даже в том случае, если предпринимаются попытки отвергнуть мышление в мире, и которое может существовать и тогда, когда точка приемлемости "проистинной позиции" совпадает с точкой приемлемости "веры", а двойная истина снова становится однозначной истиной, ибо в конце этой бесконечной цепочки вопросов, ведущей к такой приемлемости, стоит чистое дело, стоит идея чистейшего Органона

долга, идея рациональной, свободной от Бога веры, стоит в окаменевшей правомерности лишенная содержания форма "религии в себе", возможно даже рациональная непосредственность "мистики в себе", чья безмолвно-аскетическая и безорнаментная религиозность, подчиненная строгости и только строгости, указывает на последнюю цель этой истинно протестантской революции, на безмолвный вакуум ужасной абсолютности, в которой господствует дух Божий, Божий дух, не Бог сам, тем не менее Он сам, исполненный печали, господствует в страхе нерушимого, лишённого сновидений молчания, которое является чистым логосом.

Это положение европейского духа мало волновало Хугюнау, его трогала разве что господствующая ненадежность, поскольку иррациональное в человеке ощущает иррациональное мира, и если также ненадежность мира является, так сказать, рациональной ненадежностью, часто даже деловой, то она все же возникает посредством освобождения разума, который в любой области ценностей стремится к бесконечности и, поднимая самого себя на этой границе бесконечности, превращается в иррациональное и неуловимое. Стали неуправляемыми деньги и техника, колеблются валюты, и, вопреки всем объяснениям, которые есть у человека для иррационального, конечное не способно поспеть за бесконечным, и никакое разумное средство не способно вернуть иррациональную ненадежность бесконечного обратно в границы разумного и управляемого. Возникает впечатление, будто бы бесконечное пробудилось к самостоятельной и конкретной жизни, его несет и принимает абсолютное, вспыхивающее у бесконечно далекого горизонта в час падения и взлета, в этот магический час смерти и зарождения. И пусть даже Хугюнау отводит взгляд от сияния распростершегося неба, пусть он вообще ничего не желает знать о такого рода возможностях, он все-таки ощущает леденящее дыхание, которое, проносясь над миром, повергая его в оцепенение, лишает вещи в мире их смысла. И когда Хугюнау по утрам следит в газете за событиями в мире, то это происходит с тем

недовольством читателей газет, с которым все они жадно бросаются на статьи, переполняемые голодом на факты, особенно на украшенные иллюстрациями факты, и которые день за днем снова и снова надеются, что масса фактов окажется в состоянии заполнить пустоту онемевшего мира и онемевшей души. Они читают свои газеты, и в них кроется страх человека, который каждое утро просыпается для одиночества, поскольку язык старого общества от них скрыт, а новый – неслышим. Пусть даже они имитируют понимание и ясный взгляд, когда они придираются к политическим и общественным институтам или к правовым проблемам, пусть даже они обмениваются в течение дня своими мнениями, они стоят без языка между еще-не и уже больше-не, они не верят ни одному слову, они хотят увидеть визуальное подтверждение, они даже не могут больше верить сообразности собственной речи, и, поставленные между концом и началом, они просто знают, что логика фактов остается неуловимой, Закон неприкосновенен: никакая душа, будь она даже такой порочной, будь она даже такой злой, будь она даже такой мещанской и подверженной влиянию дешевых догм, не может избавиться от этого взгляда и от этого страха, подобно ребенку, который внезапно попадает во власть одиночества, охваченный ужасом умирающего животного; человек должен искать конечный брод, который станет его жизнью и его безопасностью. Нигде не находит он помощи. И не помогает то, что он снова и снова стремится к спасению в какой-то фрагментарной системе, и делает ли он это потому, что ожидает получить, придерживаясь всех романтических форм, защиту от ненадежности, или потому, что он надеется на то, что в ходе фрагментарной революции известное и родное очень медленно, в определенной степени безболезненно перейдет в безжалостно чужое; он не находит помощи, поскольку это – опьянение кажущегося общества, в которое он, заблудившись, попал, а более глубокая и скрытая связь, к которой он стремится, ускользает из рук. И когда, разочарованный, бежит он в конце концов в денежно-коммерческую систему, то он не избавляется от раз-

очарования; даже эта самая непосредственная форма бытия заземленного мещанства, более устойчивая, чем все другие фрагментарные системы, поскольку она обещает прочное единство в мире, единство, которое нужно человеку, дабы избежать неопределенности,— две одномарковые монеты больше чем одна одномарковая монета, а сумма в 8000 франков состоит из многих франков и является все-таки чем-то целым и выступает в качестве рационального Органона, в котором производятся расчеты в мире,— даже эта устойчивость, в которую так хочется верить бюргеру, вопреки всем колебаниям валют, уходит безвозвратно, ничто больше не может сдержать иррациональное, невозможно больше представить себе мир как сложение рациональных колонок. И если деловой человек Вильгельм Хугюнау, поднявшийся до уровня уважаемых лиц города, человек, который привык во всех вещах интересоваться прежде всего ценой и денежной выгодой, если этот Хугюнау считает более чем рациональным то, что в такие времена финансовой неопределенности на поверхность должно выплывать возросшее недоверие, то может тем не менее случиться, что он с ироническим выражением лица или пренебрежительным движением руки попытается сделать что-то такое, истоки чего он с удивлением не сможет объяснить; и он потом озадаченно задаст вопрос "Что такое деньги?", затем, внимательно и недоверчиво изучив клиента, лишит его кредита, просто потому, что тот клиент вдруг ему разонравился или потому, что ему была отвратительна саркастическая или еще какая-нибудь складка вокруг рта,— окажется ли теперь такой шаг благоприятным или неблагоприятным, избавится ли он таким образом от ненадежного клиента или отдаст кредитоспособного клиента в руки конкурентов, это был, невзирая на все практические последствия, несвязный и, вероятно, ясный метод, который в определенной степени походил на короткое замыкание, был необычен для деловой жизни, вне всякого сомнения, иррационален, и не в последнюю очередь, наверное, он был причиной того, что вокруг Хугюнау незаметно разверзлась пропасть, мертвая зона

молчания, отделившая его от всех других жителей города. Конечно, это было подобно всего лишь отдаленному ощущению, но оно сгустилось, становилось чуть ли не осязаемо, когда Хугюнау находился в кругу большого количества людей: в кинотеатре, в кафе, где танцует молодежь, или на празднествах, которыми отмечалась годовщина французской победы; тогда он, который сам, наверное, однажды сядет в кресло бургомистра, мог тихо сидеть среди остальных уважаемых лиц за украшенным цветами столом и глазеть из-за толстых стекол очков на танцующих; и хотя он был далеко не в тех годах, когда отказываешься от удовольствия потанцевать, он все-таки едва ли верил собственным воспоминаниям, когда шептал своему соседу (никогда не упускал он такой случай), что сам когда-то был лихим танцором. Находился ли он в столь патриотическом зале или выходил ли по воскресеньям со своим старшим на Страсбургскую аллею, дабы поприсутствовать на старте велосипедных гонок, даже если он то или иное общественное мероприятие посещал только проверки ради, он неизбежно впадал в состояние того странного недовольства, в котором незаметно смещаются вещи и в котором каждое праздничное мероприятие, которому, должно быть, все же подобало бы целостное обозначение, начинает расплываться во что-то беспокоящее неединое, во что-то, что кем-то заведомо посредством декораций, знамен и гирлянд сжато и объединено в какое-то неестественное единство. И если бы Хугюнау не отпрянул от такого заблуждения, он, вне всякого сомнения, нашел бы, что нет вообще никакого обозначения и никакого названия, которым соответствовал бы конкретный субстрат, он, конечно, нашел бы, что оно прячет пусть даже видимые символы, которые гарантируют единство событий и спаянность мира, символы, существование которых необходимо, поскольку в противном случае все видимое распадется в неподдающуюся названию, невесомую, сухую структуру холодного и прозрачного праха,— и Хугюнау ощутил бы проклятие случайного и сметенного в кучу, нависающее над вещами и над отношением вещей друг к другу, так

что не придумать никакого порядка, который также не оказался бы случайным и произвольным: разве не разлетятся сразу же по ветру те же велосипедисты, если они больше не будут удерживаться вместе совместной тренировкой и совместным символом клуба? Хугюнау не задавал такой вопрос, поскольку он выходил за пределы того, что с некоторой обоснованностью можно было бы обозначить его личной теологией; впрочем, незадаанный вопрос раздражал его не меньше, чем невидимость всех инстанций, от которых он зависел, и эта раздражительность могла вылиться, например, в немотивированную пощечину, которую он влепил своему ребенку по дороге домой. Разрядившись таким образом, он, впрочем, обычно возвращался к трезвой реальности, подтверждая этим вывод Гегеля: "Действительно свободная воля есть единство теоретического и практического духа". В хорошем расположении духа он шагал в город мимо различных церквей, из которых как раз валил народ, шагал, насвистывая веселую мелодию, постукивая в такт тростью, и если его кто-то приветствовал, поднимал в знак приветствия руку и говорил "Привет".

Для всех и для каждого самая незначительная и узкая теология, размаха которой хватает лишь на то, чтобы сделать приемлемыми самые низкие действия эмпирического "Я", то есть личная теология какого-то Хугюнау, продолжает служить свободе, для нее самой свобода является собственным дедуктивным центром (Хугюнау это касается, по крайней мере, с того дня, когда он в предрассветных сумерках оставил окоп и совершил кажущийся иррациональным, но тем не менее очень рациональный поступок на службе у свободы, так что все, к чему он стремился с того дня, и все, к чему он еще будет стремиться в своей жизни, представляется повторением того первого торжественного и праздничного поступка), почти даже кажется, будто бы свобода витает как особая и возвышенная категория над всем рациональным и иррациональным, как цель и как исток, подобно абсолютному, вместе с которым она сияет и которое тем не менее ярче ее — последнее и мягкое излучение из ог-

ненной пропасти распахнутого неба. Иррациональное никогда не сможет слиться с рациональным, пусть даже рациональное снова растворяется в гармонии живого чувства, пусть даже и то и другое является частью господствующего, внушающего благоговение бытия, которое есть высшей реальностью и одновременно глубочайшей нереальностью: лишь в этом взаимодействии реальности и нереальности возникает целостность мира и его образ — это идея свободы, в которой оправдывается вечное обновление гуманного, поскольку недостижимый в земном путь к ней необходимо прокладывать каждый раз снова и снова. О, болезненная обязательность свободы! Ужасная и вечно обновленная революция познания, в которой оправдывается восстание абсолютного против абсолютного, восстание жизни против разума,— оправдание разума, который, противореча, как кажется, самому себе, освобождает абсолютное иррациональное против абсолютного рационального, оправдание, поскольку в нем дается последняя гарантия того, что освобожденные иррациональные силы снова объединятся в одну систему ценностей. Нет такой системы ценностей, которая не подчинялась бы свободе, даже самая незначительная из них и та стремится к свободе, даже человек, попавший в сети самого земного одиночества и автономии, тот, кто не идет дальше свободы убийства, свободы тюрьмы, в лучшем случае свободы дезертира, даже тот, освобожденный от ценностей человек, на которого давит потребность земного,— предоставлен дыханию вечно; нет ни одного, для кого однажды в ночи его одиночества не загорелся бы небесный знак свободы: каждый должен исполнить свою мечту, злую и святую одновременно, и он делает это, чтобы в темноте и глухоте своей жизни приобщиться к свободе. Так иногда Хугюнау охватывает ощущение, как будто сидит он в пещере или в сумрачной шахте и как будто он выглядывает наружу на холодную зону, которая проложена, подобно поясу одиночества, вокруг места его нахождения, и жизнь скользит в отдаленных картинках по темному небосводу, и тогда его охватывает сильное и тоскливое желание выкараб-

каться из этого навоза и приобщиться там, снаружи, к свободе и одиночеству, чье существование он смутно воспринимает как ниспосланное неизвестно откуда одному ему видение; это было подобно знанию глубочайшей общности, в которую в конечном итоге должно превратиться то глубочайшее одиночество, но дело не идет дальше глухого представления, словно там, снаружи, будет разрешено добиться братского и сердечного совместного существования, угрозой смерти или силой, или, по крайней мере, пощечиной можно будет заставить других принимать его лучшую истину и внимать ей, той истине, которую он, впрочем, еще не смог произнести. И пусть даже он своими манерами и образом жизни едва ли отличается от тех других, пусть даже паровоз его жизни все увереннее катится дальше по рельсам, на которые он был поставлен уже в юношеские годы и сойти с которых он ни в коем случае не помышляет, пусть это будет даже очень плотская жизнь, которая катится навстречу смерти, тем не менее в определенном отношении она кажется возвышеннее и воздушнее, поскольку он с каждым днем чувствует себя все более изолированным и одиноким и все-таки не страдающим от этого, отделенный от мира и все же в нем, люди отодвигаются от него во все более далекие и страстно желаемые дали, но он и не пытается охватить эту даль, и в этом тоже он нисколько не отличается от кого-либо из остальных смертных, как раз потому, что каждый из них знает: человеческой жизни не хватает, чтобы пройти этот путь, который подобно окружной железной дороге, поднимается все выше и выше и на котором заветной целью снова возникает то, что было и что ушло, дабы с каждым шагом опускаться обратно в далекий туман — бесконечный путь замкнутых колец и завершения, светлая реальность, в которой вещи распадаются и разбегаются в разные стороны до самой Польши и до самого края мира, где все разделенное снова сливается воедино, где снова исчезает расстояние, а иррациональное принимает свой видимый образ, где страх не становится больше тоскливым желанием, а тоскливое желание не становится больше страхом, где свобода "Я"

снова вливается в платоническую свободу Бога, бесконечный путь замкнутых колец и завершения, доступный только тому, кто реализовал себя, недостижимый для каждого.

Недостижимый для всех! И даже если бы Хугонау попал вместо коммерческой в революционную систему, путь завершения был бы, как и прежде, неприемлем для его образа жизни. Ведь убийство остается убийством, зло остается злом, а мещанство области ценностей, ограниченной индивидуумом и его иррациональными инстинктами, этот конечный продукт распада ценностей, остается точкой абсолютной порочности, остается в определенной степени инвариантом абсолютного нуля, который является общим для всех шкал ценностей; для всех систем ценностей, невзирая на их взаимную относительность, он должен быть общим, поскольку не может быть создана никакая система ценностей, которая в своей идее и в своей логической сущности не была бы подчинена "условию возможного опыта", не носила бы эмпирический оттенок общей для всех систем логической структуры и привязанной к логосу априорной неизменности. И это кажется почти что истоком подобной логической необходимости, так что переход от одной системы ценностей к другой должен проследовать тот нуль предельного измельчения ценностей, он должен выйти за пределы поколения, которое, лишенное всякого отношения как к старой, так и к новой системе ценностей, именно в этой безотносительности, в этом граничащем с безумием равнодушием к чужому страданию, в этом радикальнейшем обнажении ценностей обеспечивает этическую, а этим и историческую легитимацию ужасному пренебрежению, которому во времена революции подвержено все гуманное. Так, наверное, и должно быть, ибо только поколение с такой абсолютной немотой способно вынести вид абсолютно-го и вспыхнувший огонь свободы — сияние, пробивающееся сквозь глубокую тьму; его земное отражение подобно картине в глубоком пруду, а земной отголосок его молчания является железным громом убийства, непроницаемым звучанием немоты, возведенным подобно стене гремящего молчания между

людьми, так что его голос не способен пробиться ни в одном ни в другом направлении, и ему приходится сотрясаться. Ужасное зеркало, ужасное эхо, прорвавшееся к абсолютному разуму! Земная противоположность его суровости становится принуждением и безмолвным насилием, а рациональная непосредственность его божественной цели становится непосредственностью иррационального, которая принудила человека к отвратительно безмолвному послушанию, бесконечная цепочка его вопросов становится однозвенной цепочкой иррационального, которое больше не спрашивает, а всего лишь еще действует, разрывая общество, которого больше нет, поскольку оно без сил, но исполненное злой воли само захлебывается в крови и задыхается в отравляющих газах. О, какой одинокой смертью является земная противоположность божественного одиночества! Вытолкнутый в ужас освобожденного рассудка, вынужденный служить ему, не осознавая его, пленник господствующего события, пленник его иррациональности, человек подобен дикарю, который из-за злого колдовства не различает взаимосвязи между средством и успехом, он подобен сумасшедшему, который не может освободиться из переплетения своего иррационального и сверхрационального, он подобен преступнику, который не в состоянии найти путь к ценностной реальности желанного общества. От него безвозвратно ускользает то, что было, неотвратно уходит от него будущее, а грохот машин не указывает ему путь к цели, которая в недостижимом и безбрежном тумане бесконечности поднимает черный факел абсолютного. Ужасный час смерти и зарождения! Ужасный час абсолютного, выносимый и переносимый поколением, которое исчезло, которое ничего не знает о бесконечности, в которую оно попало благодаря своей собственной логике; неисправимо, беспомощно и бессмысленно брошены они в ледящийся ураган, чтобы жить, они должны забыть, и им неизвестно, почему они умирают. Их путь — это путь Агасфера, их долг — это долг Агасфера, их свобода — это свобода гонимого, и их цель — это забывание. Потерянное поколение! Не-существующее как само

зло, лишенное своего лица и истории в болоте неразличимого, обреченное потерять себя во времени, лишенное истории, пре-возносящее себя в качестве абсолютной истории! Как всегда, отдельный человек определяет свое отношение к событиям революции, цепляется ли он теперь реакционно за прожитые формы, принимая эстетическое за этическое, как это делает любой консерватор, держится ли он в стороне в пассивности эгоистического знания, или, поддавшись своему иррациональному инстинкту, обеспечивает деструктивную работу революции,

судьба дарует ему оставаться неэтичным, вытолкнутым из эпохи, вытолкнутым из времени,

и все же никогда и нигде дух эпохи не был таким мощным, таким истинно этическим, как в той последней и одновременно первой вспышке, которая есть революция,— дело самоуничтожения и самообновления, последнее и величайшее дело распадающейся системы ценностей, и первое — новой, мгновение нового, радикального, творящего историю уничтожения времени ни в пафосе абсолютного нуля!

Велик страх человека, который осознал свое одиночество и бежит от своей собственной памяти; он поработен и изгнан, отброшен назад к глубочайшему животному страху, страху перед тем, кто насилие выносит и насилие творит, и, отброшенный назад к сверхсильному одиночеству, его бегство, его сомнение и его глупость могут стать такими большими, что ему приходится задумываться над тем, чтобы, наложив на себя руки, уйти от непоколебимого закона происходящего. И в страхе перед голосом суда, который грозится раздаться из мрака, в нем с удвоенной силой просыпается тоска по вождю, который легко и мягко возьмет его за руку, отдавая распоряжения и указывая путь, по вождю, который ни за кем больше не следует, а шествует впереди по непроторенному пути замкнутого кольца, поднимаясь на все более высокие уровни, поднимаясь ко все более светлому приближению, по вождю, который должен построить дом, чтобы из мертвого сна было живое, по вож-

дю, который сам воскрес из массы мертвых, который придаст в своем деянии непостижимым событиям этого времени смысл, так что начнется новый отсчет времени. Это тоска. Но даже если бы пришел вождь, вожделенное чудо не произошло бы: его жизнь стала бы земной, и подобно тому, как вера погружается в про-правильную позицию и про-правильная позиция — в веру всегда рациональной религии, исцеляющий является в самых неприглядных одеждах, может быть, это прохожий, идущий сейчас по улице, ибо где бы он ни являлся — в толчее улиц больших городов или на полях в последних лучах заходящего солнца, его путь — это всегда путь Сиона, это тем не менее путь всех нас, это поиск брода между злом иррационального и злом сверхрационального, и его свобода — это болезненная свобода долга, это жертва и искупление за происшедшее, его путь — это путь испытаний, он подчинен суровости, и его беспомощность — это беспомощность ребенка, беспомощность сына, цель которого исчезла в недостижимом, поскольку его оставил Отец. И тем не менее уже надежда на знание вождя есть собственное знание, уже предчувствие милости есть милость, пусть даже напрасной будет наша надежда на то, что с видимой жизнью вождя когда-нибудь в земном исполнится абсолютное, вечно приближающейся остается цель, неуничтожимой остается надежда на приход мессии, вечно повторяющимся является рождение ценности. Пусть даже мы будем в окружении все усиливающегося безмолвия абстрактного, людьми, обреченными на самое холодное принуждение, вовлеченными в ничто, выбросившими "Я", то есть дыхание абсолютного, что несется над миром, и из предчувствия и предощущения истины произрастает торжественная и праздничная безопасность, в связи с чем мы знаем, что каждый в глубине души несет искру и что единство остается неотъемлемым, неотъемлемо братство униженного человеческого создания, из глубочайшего страха которого неотъемлемо и непотерянно светит страх Господней милости; единство человека, проявляющееся во всех вещах, над временем и пространством, единство, в котором берет

начало весь свет и освящение всего живого,— символ символа, зеркало зеркала, всплывая из тьмы погрузившегося бытия, набухая из безумия и бессонницы, словно подаренная, вырванная у неизвестного и вновь обретенная материнская жизнь, прообраз символа, в восстании иррационального, стирая "Я" и прорывая его границы, отменяя время и расстояние; леденящим ураганом, ворвавшейся бурей резко распахиваются все двери, шатаются фундаменты тюрем, и из тяжелейшей тьмы мира, из нашей самой горькой и тяжелой тьмы раздается призыв беспомощному, звучит голос, который объединяет то, что было, со всем тем, что будет, и одиночество со всеми одиночествами; это не голос ужаса и суда, осторожно начинает звучать он в молчании логоса, который его несет, возносит над шумом несуществующего, это голос человека и народов, голос и утешения, и надежды, и непосредственного добра: "Не делай себе никакого зла! Ибо все мы здесь!"

Конец романа "Лунатики"

Вена, 1928—1931 гг.

Комментарии Германа Броха

Роман "Лунатики"¹

Предпосылкой к написанию этого романа стал тезис о том, что литература призвана заниматься теми проблемами, которых, с одной стороны, избегает наука, поскольку в рациональном изложении они вообще не могут быть освещены и живут своей кажущейся жизнью только лишь в отмираемом философском фельетонизме, с другой стороны, теми проблемами, охватить которые наука в своем более медленном и более точном движении вперед еще не успела. Наличный материал литературы между "больше не" и "еще не" науки стал таким образом более ограниченным, но и более надежным, он охватывает весь диапазон иррационального переживания и именно в смежной области, где иррациональное проявляется делом, поддается выражению и представлению. Из этого возникает специфическая задача показать, как ирреальное определяет действие, а также, как происходящее событие всегда готово превратиться в ирреальное. Писательское ремесло имеет законное право решать эту задачу, ибо творческий метод в отличие от метода науки реализуется не словами, которые излагаются на бумаге, а состоит в создании напряжения между словами и строчками, в напряжении, в котором он находит свое собственное выражение.

¹ Этот "Методологический проспект" к роману "Лунатики", как он называется в переписке Бреха, был предусмотрен для издателя. В конце 1929 г. автор отправил его вместе с первым вариантом трилогии в качестве сопроводительной информации издательству "С.Фишер-ферлаг", затем в апреле 1930 г. — берлинскому издательству "Кипенхойер-ферлаг" и в июле 1930 г. — мюнхенскому издательству "Райн-ферлаг".

Таким образом, роман "Лунатики" показывает, что осуществление этого ирреального следует искать вовсе не там, где жизнь изначально мыслилась ирреальной, а что, напротив, вместе с отменой культурных фикций ирреальное становилось все более свободным и что с каждым все более вопиющим, реально происходящим событием оно все отчетливее и неразрывнее связывалось с иррациональным. "Лунатики" показывают это на трех временных и общественных этапах: 1888, 1903 и 1918 годы — периоды, когда завершился переход от закончившегося романтизма конца XIX века к так называемой деловитости послевоенной эпохи. При этом существенно то, что проблема трех протагонистов — придать своей жизни смысл, — о чем идет речь в трех частях, с усиливающейся конкретизацией все больше и больше смещается к неосознанному. Что касается романтического периода в первой части, проблема ставится героем Пазеновым хотя и смутно, тем не менее вполне осознанно, и он пытается решить проблемы **эротики** и этико-эстетизирующего образа жизни в духе **господствующих фикций**, то есть религии. Герой второй части, Эш, занимает анархистскую позицию человека между двумя периодами. Внешне уже коммерциализовавшись и подойдя близко к стилю жизни грядущей деловитости, внутренне он еще остался привязанным к традиционным ценностям. Вопрос о смысле жизни, который отнюдь не осознанно, а всего лишь смутно и приглушенно будоражит его, следовательно, должен быть решен еще в духе старых схем. Поскольку религиозные формы сохранились только в виде рудиментов, частично оглуленные, частично занесенные илом стерильного мистицизма или суеты Армии спасения, то акцент решения смещается в область эротического и попадает там в анархическое и мистическое смирение. В третьей части все снова становится однозначным: герой, Хугюнау, не имеет почти что ничего общего с ценностной традицией (что внешне выражено двойственностью факта его дезертирства с фронта), поскольку он не только совершенно иррелигиозный, но и незоро-

тичный человек. Несмотря на то или, может быть, как раз потому, что его вообще не заботит эта проблема, ни осознанно, как Пазенова, ни в предчувствиях, как Эша, его путь направлен туда, где может существовать возможность религиозного смысла жизни — платонический отход от реального. Личные судьбы Пазенова и Эша осуществляются общим решением третьей части, для Пазенова — в тесных рамках его долга, окружения и семьи, в сжимании, так сказать, всех этих элементов, а для Эша, компромиссное решение которого с возрастом поневоле начинает опять склоняться к еще более неадекватной форме религиозного мистицизма,— в исполнении предчувствуемого им неясного страха; для обоих это похоже на искупление их душевной вины. И оказывается едва ли не необходимым, чтобы человек новой жизненной формации, то есть Хугюна, становился мстителем этому устаревшему и отмирающему.

Символом всего этого построения является личность Бертранда, которого следует считать, собственно, героем всего романа. Берtrand, предтеча проявления этих тенденций, реализовал двойственность (хотя и не в форме дезертирства, но все же в уходе с военной службы) уже в 1888 году. Поэтому его жизнь — это жизнь современного человека, финансиста высокого стиля. Он знает, в чем тут дело, и стремится к радикальным решениям. Но привязанный все-таки к своему времени, он тоже не уходит от свойственных ему традиционных ценностных фикций и, вопреки противоположному стремлению, остается в плену у материализма. Радикализация эротической фикции, зашедшая у него столь далеко, что он становится также и гомосексуалистом, явление, которое не принимается и преследуется другими, должна потерпеть неудачу, едва ли осознанную, но все же постыдную, точно так же, как обречена на неудачу его попытка материализации тяги в бесконечное посредством путешествий. Что остается, так это в не меньшей степени привязанное ко времени смирение эстета и мужество найти выход в самоубийстве. С другой стороны, его личность по форме своей

является символом роста темного и ирреального элемента, который с течением событий в каждой из трех частей все отчетливее реализовывает происходящее. В первой части он сам выступает человеком действия, во второй он едва ли имеет контроль над внешними событиями, сам он появляется на виду всего лишь ирреально и исчезает, совершив самоубийство, тогда как в третьей части, хотя реального его присутствия нет, он осуществляет повсеместное воздействие, определяя поведение всех персонажей, которые были с ним связаны.

В романе предпринята попытка отразить эту хореографическую симметрию также во второстепенных фигурах, равно как и во всем событии и в настроениях. Не в последнюю очередь и в стиле, который, с другой стороны, опять-таки определяется тремя временными эпохами. Одновременно из этого возникает необходимость построения каждой из трех частей в форме отдельного повествования — понятно, что из-за этой архитектоники, которая наверняка существенна для метода невысказанного, не может пострадать натуралистическое или натуралистически-психологическое отражение.

Круг проблем, содержание и методы романа "Лунатики"¹

Круг проблем обусловлен убежденностью в том, что автономная и неприкосновенная заповедная область поэтического дана в том глубочайшем иррациональном слое, в том истинно паническом регионе переживания, подернутом мраком ирреального события, где, по-звериному не ощущая течения времени, пребывает человек, управляемый глубинными эмоциями, детскими представлениями, воспоминаниями, эротическими

¹ Этот комментарий является частью письма, написанного Брехом Георгу Хайнриху Мейеру, издательство "Райн-ферлаг", 10 апреля 1930 г.

желаниями. Поскольку в этих регионах не срабатывает рациональное и научное выражение, слово больше не действует в своем собственном значении, оно имеет теперь только меняющийся символический характер, а объект должен быть захвачен напряжением между словами и строчками. Но неизменно и не менее сомнамбулически в ирреальном действует тоскливое желание пробуждения, познавательного и познающего пробуждения ото сна, которое в зависимости от субъективного словаря называется "избавление", "спасение", "смысл жизни", "милость". Времена сильной религиозной привязанности во многом решили проблему полярности между Дионисом и Аполлоном, проложив ирреальному путь к определенным ценностным позициям; с оглядкой на прошлое, с точки зрения этих ценностных позиций, произошло конституирование греха (и трагических конфликтов человека) — греха инстинктивного и непроснувшегося, который не пробивается к ценностным позициям, и греха рационального, дьявольского, который отклоняет ценностные позиции или стремится сформировать их по-иному. Грубо говоря, это круг проблем всех этических конфликтов, которыми когда-либо занималось поэтическое творчество, принимавшее существовавшие до сих пор ценностные позиции. Из этого неизбежно возникает **новая проблема**: на что воздействует тоскливое желание пробуждения и спасения, если оно во время разрушения и растворения старых ценностных позиций больше не может слиться с ними? Может ли из сна и сновидения самой мрачной повседневности возникнуть новый моральный облик?

Содержание: проблема в трех частях романа — "Пазенов, или Романтика", "Эш, или Анархия", "Хугюнау, или Деловитость" меняется трижды, а именно в 1888, 1903 и 1918 годах, то есть в те эпохи, которые попутно показывают конец старых европейских ценностных позиций. При этом прежде всего показано, что реализация жизни с ирреальными элементами становится все видимее по мере того, как слабеют старые ценност-

ные традиции. "Мечтательная" романтика дает ирреальному меньше пространства, чем время делового ценностного хаоса, в котором и ирреальное неизбежно полагается только на себя, само становясь прямо-таки деловым. Это не помогает людям удержаться за отмирающие формы ценностей: когда Пазенов ищет решение в традиционной религиозности, а Эш "спасается" в эротическом мистицизме, то это половинчатые решения, которые не дают освобождения от ирреального, а намного вероятнее влекут этическое в сферу подернутого мраком и инстинктивного — исходный тип трагической вины. Возникает мститель за такую вину, для которого особенно благоприятен кризис 1918 года, мститель в неизбежном образе "свободного от ценностей" делового человека (символизируемый почти что преступным типом, который в реальности просто наивно до самого конца живет своей детской мечтой) — Хугюнау, которому в эпилоге предоставляется возможность возвращения морального облика с учетом платонической свободы, от которой только это зависит. Рядом с этими тремя протагонистами выступает образ Бертранда, пассивного главного героя всего романа, тип "рационального человека", во многом предтечи делового, но не свободного от ценностей, а отрицающего ценности, этическая полная противоположность греха непроснувшегося, доходящий в грехе рационального до самого дна.

Метод: по сути, показ определяется продолжающимся освобождением ирреальных элементов и рассыпанием старых ценностных позиций. Это можно объяснить на одном упрощенном примере:

Первая часть романа включает представляемые сегодня очень примитивно формы романтики. Это бесхитростный рассказ о соразмерном случайном происшествии с почти чистой натуралистической окраской.

Вторая часть. Стил и ритм начинают взрывообразное движение вперед, но постоянно испытывают рефлексивное стопорение (чем также может быть оправдана архитектурная статика

средней части по отношению к первой и последней). Образы, иногда слишком резковато изображенные, время от времени стачиваются до расплывчатости деталей, время от времени отходят в сумеречную тень полностью ирреального, как Берtrand, и стоят на грани реальности. Внешняя форма натуралистического повествования хотя еще и сохраняется, но внутренняя динамика отражает анархическое.

Третья часть. Хаотическое снова успокаивается, в этом — возвращение к первой части, но в новой "деловой" форме; в определенной степени репортаж. Свобода ассоциаций упрощена. Но полное разрушение старых ценностных позиций допускает здесь срыв чистого повествования: идущее постоянно вперед освобождение свободного от мировоззренческих фиксаций иррационального может войти в стиль и дает ему лицензию на применение всех художественных средств, вопреки сухости делового сообщения.

Это приспособление отражения и стиля к содержанию, само собой разумеется, не ограничивается тремя частями как таковыми, а стремится проникнуть в каждую отдельную ситуацию, при этом предпринимается попытка достичь единства целого посредством единых психологических методов, посредством последовательной реализации ассоциативных и символических рядов, посредством педантичного взвешивания всей конструкции, посредством регулярного возвращения основных структур и основных мотивов в отдельных частях, посредством определенного уплотнения ритма и темпа, поскольку только в такой объединяющей замкнутости размышления, действия и стиля может быть достигнут смысл художественного образа, реализована возможность новой формы романа. Насколько это удалось, судить, естественно, не мне, и это, как я полагаю, имеет по сравнению с высшей целью повествовательной книги второстепенное значение.

Этическая конструкция в романе "Лунатики"¹

Этические ценности по содержанию относительны. "Божественное" является в общем и целом абсолютной ценностью, формой мистического переживания. Его же реализация, реализация веры в форме церквей и культов или других ценностных позиций является относительной и подвержена изменению эмпирического и временного. Везде там, где реализация проявляется с претензией на абсолютность, этическое превращается в догматически-моральное. Человек, подверженный догматическому, может обладать всеми хорошими моральными качествами, но он будет удаляться от истинно этического освобождения тем дальше, чем более отмирающими и догматическими будут становиться ценностные позиции, от господства которых он отказался. Или, если подойти с другой стороны, этические ценности с нарастающей догматизацией и морализацией переходят в эстетические — все революционное этично, но в своем проявлении не эстетично, даже антиэстетично, все консервативное — морально-догматично, но эстетично. "Свобода", которая в конечном итоге имеет определяющее значение для всего истинно этического, не берет во внимание унаследованные ценности, понятие автономии, в котором свобода находит свое логическое обоснование, не имеет ничего общего с моральными позициями: конечно, эта автономия еще не есть исполнение последней божественной ценности, но она есть **единственная форма**, в которой может быть исполнена. (Все в значительной степени подготовлено Кантом и, конечно, Платоном и Блаженным Августином; доказательствами я могу себя не обременять.)

В романе "Лунатики": Пазенов и Эш — оба нравственные типы, хотя и подвержены различным моральным догмам, которые, правда, в это время разрушения ценностей, как раз отмирая, становятся "романтикой". Берtrand, напротив, специфиче-

¹ "Этическую конструкцию" Брех отправил в качестве отдельного приложения вместе с письмом в издательство "Райн-ферлаг" 19 июля 1930 г.

ски эстетический человек; он знает об этическом распаде ценностей и пытается спасти свою жизнь при широкой моральной (не этической) автономии в чисто эстетическом. Только Хугюнау действительно "свободный от ценностей" человек и, следовательно, адекватное дитя своего времени. Поэтому он один может продолжать существование, он один находится в "автономии этого времени", где отражается революционная борьба за свободу. Он — пассивный революционер, как и масса революционеров, пассивно совершает революцию, и все-таки совершает. Конечно, он еще не достиг свободы новой божественности, новой веры; он к этому ничуть не стремится, не желает этого, хотя то тут, то там в нем просматривается просвет грядущей возможности, точно так же, как это время еще не обрело свою религиозность, и еще долго не обретет. Но это форма жизни, "форма свободы", в которой может однажды возникнуть новое содержание; оно стоит в начале пути (пути, который в анархии ценностей — в конце второй части — после соприкосновения с Берtrandом предощутил Эш, не имея, впрочем, возможности пойти по нему). В определенном смысле из-за этого Хугюнау стал, собственно, партнером матушки Хентьен — отсюда также, руководствуясь психологической мотивацией, неизбежность его совокупления с ней, матушкой Хентьен, которая с самого начала была "свободной от ценностей" и автономной, точно так, как свободны от ценностей "женское начало" или "природа" как таковые.

Об основах романа "Лунатики"¹

Предваряя разговор об основах романа, из которого я прочитаю пару отрывков, я хотел бы кое-что сказать. Это как раз отрывки из готовящейся к изданию теоретической книги. Основы всегда означают кредо, основное убеждение, из которого рождается книга, ибо без этого убеждения работа изначально обрекалась бы на то, чтобы стать макулатурой. Этим, естественно, не сказано, что глубокое убеждение защищает работу от того, чтобы она оказалась макулатурой.

Другими словами, речь идет о вопросе: при каких условиях роман имеет право на существование? Сам собой напрашивается ответ: у него вообще нет никакого права на существование. Это можно обосновать различными причинами. Хотя бы той, что у времени тяжелейших экономических трудностей нет органа для художественного производства, да даже и не может быть.

Или, если сказать одним лозунгом, в такое время нужны не слова, а дела.

Ведь теперь многие лозунги, если они к тому же еще так глупо звучат, часто имеют реальную питательную почву для своего существования.

Что такое, собственно, "дела"? Конечно, что-то в высшей степени непосредственное: непосредственное обращение к объекту, непосредственная связь между субъектом и объектом, говоря по-другому, непосредственный контакт индивидуума с его жизнью, короче, с миром.

Один пример: средневековье как платонически-схоласти-

¹ Брех сделал этот небольшой доклад 6 февраля 1931 г., предваряя чтение отрывков из второй части романа "Лунатики" ("Эш, или Анархия") в Венском народном университете. Текст данного комментария был отправлен Брехом письмом венскому литературному критику и журналисту Тео Фельдману 7 февраля 1931 года; он указывал, что это наброски его мыслей к книге о Джеймсе Джойсе и современном романе, из чего следует, что доклад можно рассматривать как первый вариант эссе Германа Бреха "Джеймс Джойс и современность".

ческое образование рассматривало мировые феномены, а также человека всего лишь как звенья теологической системы. Сущностью Возрождения, и протестантизма тоже, может считаться реализация этого, скажем, **опосредованного** мировоззрения. Возрождение как час рождения современного естествознания впервые с античных времен поставило объект природы в положение непосредственной досягаемости для человека. Протестантизм делает как раз то же самое с религиозным переживанием.

Мы зашли бы слишком далеко, если бы продолжили рассмотрение этого примера, который открывает довольно широкие перспективы. Но следовало бы сказать, что только сегодня Возрождение дало свои полные всходы. Только работающий человек сегодняшнего дня полностью погружен в жизнь. Я не вижу необходимости распространяться на эту тему. Такую погруженность в жизнь каждый из нас ощутил на собственной шкуре. Работающий человек сегодняшнего дня в намного более глубоком смысле **безмолвен**, чем хотя бы тот же траппист¹. Его язык, собственно, всего лишь понимание, он, по сути, воспринимается в самом широком смысле — всегда только сигнал, всегда только деловое письмо. Он говорит вещами настолько, насколько это необходимо, но он никогда не говорит о вещах. А если он не находится на своем рабочем месте, то занимается спортом и устанавливает непосредственные и безмолвные отношения с природой. Или идет в кино. Или слушает музыку по радио. Никогда еще мир не был так наполнен воздействием изображений и музыки, как сегодня. О роли музыки в современной системе ценностей надо было бы поговорить особо. Делая краткое обобщение, человек сегодняшнего дня является смотрящим и слушающим человеком, но он радикально антиинтеллектуализирован.

Да, а как тогда обстоят дела с интеллектуальностью? Со-

¹ Траппист — член католического ордена траппистов, для которого был характерен обет молчания.

временный интеллектual является совершенным ученым, то есть ученым-естествоиспытателем. Не стоит говорить о результатах его работы. Вы все знаете, что обращение к объекту обогатило картину мира столь непостижимым образом, что мы располагаем теперь новым космосом.

Но и здесь, в этой интеллектуальной сфере, очевидно пренебрежение словом. Наука постоянно пытается сделать независимым от слова свой язык, свои деловые письма, т.е. она ищет абсолютно корректное средство понимания. И она нашла его. А именно в математике, в той математике, которая тоже взяла свое начало в Возрождении. Кант такое направление развития предвидел, когда признавал за учеными ровно столько научности, сколько в ней содержалось математики, т.е. способности выражаться математически. С точки зрения слова безмолвными стали и науки.

Значит, мы, имеюся в виду те из нас, кого еще заботит слово и словесное выражение, находимся на потерянном рубеже? Хотим выразить что-то, что вообще не содержит никакого выразимого субстрата? Интеллектуальные речи о вещах превратились в пустую болтовню?

Это вопросы, на которые вовсе не так легко ответить. Если вы, например, смотрите русскую культурную программу, которая допускает только реальные науки, настроена максимально антиинтеллектуально и антиплатонически, то в вашем распоряжении не только иллюстрация к сказанному, но также и возможность радикального ответа, причем в негативном смысле. А если вы посмотрите на сегодняшнее состояние философии, или по меньшей мере на ту ее область, которая сегодня заняла своего рода ведущую позицию, а именно — исходящий от Рассела¹ неопозитивизм, то вам уже это имя скажет, что ответ будет в таком же направлении.

В мире как раз нет никаких изолированных проявлений. Но

¹ Бертран Рассел (1872—1970) — английский философ, логик, математик, общественный деятель, основоположник английского неореализма и неопозитивизма.

именно при рассмотрении этой философии становится очевидным, что этой возможности ответа **не** хватает.

К чему стремится новая философия? К поднятию до уровня чистой науки, к уходу от болтовни о вещах, она требует в конце концов своей математизации. Это радует. Имеется уже и начало, конкретно в логичности и языке ее символов.

Но одновременно отчетливо просматривается и обеднение теперешней философии. Конечно, в этом смысле теперешняя философия ненаучна, иначе не имелось бы так много философских школ, конечно, она в значительной степени была переливанием из пустого в порожнее, но у нее большое наследие, которое необходимо со времени ее возникновения или, скажем, дабы уж назвать имя, со времени Платона беречь и никогда не забывать. Она неизбежно направляла взгляд на этические проблемы, и она в самом широком смысле всегда была теологией.

Математизация философии исключила из ее проблематики огромную область мистико-этического. По праву исключила. И отодвинула, наверное, на потом, пока средства выражения рационального не разовьются настолько, чтобы быть в состоянии охватить метафизическое.

Но исключение иррационального из рациональной научности не может уничтожить иррациональное. Оно здесь. И беспрерывно заявляет о себе. Может, неудержимее, чем когда-либо. В чем превосходили более ранние эпохи нашу эпоху, так это в строгой рациональной системе ценностей, поскольку не забывайте: **каждая религия национальна**, и ничто не прокликает религия так глубоко, как неопределенно мистическое.

То, что мы переживаем, есть развал большой рациональной системы ценностей. И, вероятно, катастрофа человеческого, которую мы переживаем, является не чем иным, как этим развалом. Катастрофа безмолвия.

У нас, грубо говоря, нет философии, в значительно большей степени у нас нет и теологии. Рациональных средств для ее оживления у нас нет или еще нет.

Но проблемы здесь, они выражены резче, чем когда бы то ни было в своем безмолвии. И если мы хотим заняться ими, то мы можем это попробовать только на их собственной почве, на почве иррационального. И это иррациональное выражение, это познание, колеблющееся между передаваемостью и немотой, эта выражаемость посредством символов и несказанного всегда были художественными, всегда были поэтическими.

Сочинение всегда не терпело познания, опережало рациональное, прокладывало путь.

Или, если хотите, многообразия события рационально неисчерпаемо. Рациональное движется миллиметровыми шагами вперед, оно должно мостить мир, так сказать, атомами, а человек нетерпелив. Жизнь его коротка, и он кричит о цельности.

Отсюда можно попытаться понять задачи поэтического в сегодняшнем мире. К чему стремится философия: представить мир и из самого этого представления найти путь к этике и к определению ценностей, эта задача философии, как кажется теперь, совпадает с поэзией и особенно с эпической поэзией, или, если уж быть очень нескромным, точно так же, как из античных поэтических космогоний развились рациональная философия и науки, теперь вследствие самоотречения научного и отказа теологического иррациональные составные жизни снова отсылаются к иррациональному выражению поэтического.

Само собой разумеется, что сказанному можно привести только косвенное доказательство. Частью такого доказательства исторически может выступать то, что новая форма романа должна возникать как раз в тот момент, когда средневеково-теологическая картина мира вступила в окончательную фазу процесса своей ликвидации, то есть в конце барокко на исходе XVIII века. Это время отражено в "Вильгельме Мейстере"¹.

Второй частью такого доказательства была бы ссылка на

¹ Имеются в виду два романа Гете: "Годы учения Вильгельма Мейстера" (1795—1796) и "Годы странствий Вильгельма Мейстера" (1821—1829), которыми, как и многим другим, Гете опередил свое время.

полиисторический характер всех философий. Подобно уменьшенному отпечатку великих религиозных космогоний, из которых схоластика средневековья может считаться наиболее близким к нам по времени примером, все последующие философии пытались полиисторически свести в свою систему все знание о мире. Да, эта, по сути, второстепенная характеристика философского стала с упадничеством философического его основной опорой. В конце концов дело дошло до того, что, как у Вундта¹, под философией стали понимать просто сложение всех наук.

Современная философия, как говорилось, большей частью снова отрекалась от этих полиисторических претензий из-за своего здорового самоотречения и стремления к математической научности. Но так же, как из мира не изгнать многообразие мира, как снова и снова проявляет себя в человеке иррациональное, как по-прежнему существует этическая проблема и проблема ценностных позиций, так же незначительно поддается подавлению стремление человека к тотальности картины мира. И поэтому компонентами приводимого доказательства может считаться то, что современный роман представляет исключительно полиисторические тенденции и стремится представить в этой точке наследников философии. Из таких полиисторических романов с той или иной степенью убедительности можно назвать "Улисс" Джойса, точно так же, как и Андре Жида с его масштабными попытками выработки новых форм искусства создавать романы, не в последнюю очередь даже если и из другого направления, и Роберта Музиля, также вам хорошо известного.

Понятно, что такого рода полиисторизм не ограничивается только деловым аспектом. Это также полиисторизм методов, поскольку форма и содержание всегда образуют нечто единое.

¹ Вильгельм Вундт (1832—1920) — немецкий психолог, физиолог, философ-идеалист.

Нужно опять сослаться на Джойса и на его решительное обхождение со всеми формами представления, всеми стилями, всеми символами, на все это многообразие инструментария, которым должно подниматься и доводиться до сознания иррациональное начало жизни. И дело только в этом иррациональном. В этом извлечении на поверхность более глубоких слоев чувства и жизни, поскольку только в них можно найти указатель, направленный на новые ценности, и в них необходимо искать непосредственное обращение к объекту, которое составляет сущность этого времени.

С этой точки зрения новый роман призван решить большую задачу в области познания. Роман "Лунатики" доказывает, что каждый может внести в решение этой большой задачи всего лишь скромный, не очень заметный вклад.

Распад ценностей и роман "Лунатики"¹

"Не делай себе никакого зла! Ибо все мы здесь!" Этими словами Св. апостола Павла, полными примирения и доброй надежды, заканчивается "Хугюнау", и с ним большая трилогия Броха "Лунатики". Не поражение, а поворот — вот немецкая судьба, вот судьба мира.

В центре этого заключительного тома стоит "Распад ценностей", историческое и познавательно-теоретическое отображение того четырехсотлетнего процесса, который под руководством рационального ликвидировал христианско-платоническую картину мира средневековой Европы, грандиозный и страшный процесс, в конце которого стоит полное раздробление ценностей, освобождение разума с одновременным прорывом

¹ Данный авторский комментарий Броха представляет собой проект издательского проспекта, который Брох в качестве приложения к своему письму отправил Даниелю Броди, директору издательства "Райн-ферлаг" 17 марта 1932 г.

всей иррациональности, кровавое и бедственное саморастерзание мира.

Оба первых тома представляют конечную фазу этого процесса распада, они показывают, как человек, предчувствуя и боясь грядущего, пытается еще раз найти внутри старых ценностных представлений смысл жизни и жизненную позицию, избежать грозящего и неизбежного; если еще в 1888 году в "Пазенове" столкновение с фикциями национального и евангелического долга является актуальной проблемой заносчивого класса, осознающего свою собственную консервативную задачу, то в 1903 году как задача, так и главный герой теряют остаток того, чем они еще обладали, от старых ценностных позиций остается не более чем название смутной "порядочности" и — в качестве прочнейшего состава — основывающаяся на девственности и ревности сексуальная мораль, фикции, в которых стремится найти свое спасение приказчик Эш, поскольку его анархистская совесть начинает терять почву под ногами.

В "Хугюнау" процесс распада ценностей дошел до своего конца, началась переоценка мира, одновременно с внешней революцией свершилась "ужасная революция познания", на повестку дня выходит "свободный от ценностей" (в старом смысле) и лишенный морали человек и становится мстительным палачом для сущего.

Тогда как в "Пазенове" автор еще придерживается стиля старого семейного романа (мастерски владея, впрочем, и модернизмом), в "Эше" уже заявляет о себе — в строгой параллельности к историческому процессу распада жизненных форм — тот распад и гибель искусства повествования, которые в "Хугюнау" находят свое неожиданное свершение. Вокруг "Распада ценностей" разворачиваются события, происходящие в романе, собственно, нескольких романах, на различных уровнях сознания и отображения, которые, поднимаясь от чисто лирического до чисто познавательного в точной контрапунктике, и как принимают мотивы обеих предшествующих частей, так

и, внутренне переплетаясь, касаются проблемы ставшего в процессе распада ценностей одиноким и охваченного мировым страхом человека, чтобы в конечном итоге в мощном обобщении дать возможность проявиться предчувствию грядущего духовного склада.

В этом объединении познавательных и чисто поэтических средств отображения роман "Лунатики" создает новый, совершенно новый тип романа, он означает не только веху и поворотный пункт в развитии немецкого искусства повествования, но в значительной степени и гораздо больше: в своем историко-философском содержании, в своем поэтическом показе, в своей научной и пророческой точности он достигает высоты, превращающей своего создателя в указующий перст этого времени.

Издательство "Райн-ферлаг" со всей ответственностью ставит этот роман в один ряд с произведениями величайшего ирландского писателя Джойса; рядом с монументальностью "Улисса" ставит "Лунатиков" Германа Броха.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛУНАТИКИ

Роман-трилогия

Третий роман

1918 – Хугюнау, или Деловитость

6

Комментарии Германа Броха

391

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

Ψ

Серия 700

Выпуск 19

Герман Брох

Лунатики

Роман-трилогия

В двух томах

Том второй

Перевод с немецкого *Н. Л. Кушнира*

Редактор *Н. Г. Шишкина*

Корректоры *А. И. Филатова, Н. С. Павловская, Е. В. Попова*

Оригинал-макет *О. В. Гашенко*

Подписано в печать 21.10.96. Формат 70х100/32.

Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура "Прагматика-Конденс".

Усл. печ. л. 16,77. Уч.-изд. л. 22,02.

Тираж 5000 экз.

Зак. *3321*

Издательство "Лабиринт". 252021 Киев, ул.Институтская, 25

Свидетельство №23725504 от 24.10.95

Издательство "Ника-Центр". 252021 Киев, ул.Институтская, 25

Свидетельство №20048256 от 25.03.96

Издательство "Алетейя". Санкт-Петербург, бул.Конногвардейский, 6/30

Лицензия №064366 от 26.12.95

Санкт-Петербургская типография № 1 РАН

199034 Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ТОО «Библиосфера» (г.Киев)

**Всем,
кто покупает или продает книги!**



Предлагаем Вашему вниманию банк данных, содержащий максимально полную структурированную информацию о научно-образовательной литературе, в том числе учебной для высших и средних учебных заведений. Банк данных охватывает литературу, находящуюся на текущий момент в издательствах Украины и стран СНГ



Предоставляем информационные услуги, выполняем заказы на весь объем литературы, находящейся в банке



Внимание библиотек!

При выполнении Ваших заказов поставляем карточки библиографического описания



Оплата по факту поставки, для книготоргующих организаций возможна отсрочка платежа



Предлагаем сотрудничество российским издательствам и книготоргующим организациям, заинтересованным в расширении сбыта своей продукции на территории Украины



Рассылка и прием информации в бумажном и электронном (тексты, базы, таблицы) виде, E-mail и Internet



(044) 432-80-38 тел./факс, (044) 293-79-04, (044) 443-59-25



Украина, г.Киев, ул. Янгеля 18/20, «Библиосфера»

Ψ
СЕРИЯ
700

Эта книга
продолжает серию,
в которую войдут произведения
М.А.Булгакова, Ф.Кафки, Л.Андреева,
Н.В.Гоголя, И.Кальвино и др.
Символы серии — не случайны.
Буква Ψ в Древней Греции
обозначала число 700.

Ψυχη — по-гречески — душа...
Психея — субъективный отклик души человека
на резонансы мира, ее самоопределение
и интуитивное понимание
природы чужой и личной психики.

Приглашаем к сотрудничеству авторов, переводчиков
Контактные телефоны:
тел./факс (044) 268-33-85;
по г. Киеву 261-98-52

По вопросам оптовых закупок обращаться
по тел. (044) 243-59-39
тел./факс (044) 268-33-85

Ψ

СЕРИЯ

700

В 1993—1996 гг. в этой серии вышли:

ГЕРМАН ГЕССЕ

«Сиддхарта», «Нарцисс и Гольдмунд»

РИЧАРД БАХ

 избранное в 2-х томах:

«Чайка по имени Джонатан Ливингстон», «Дар крыльев», «Иллюзии», «Далеких мест не бывает», «Единое», «Мост через вечность»

ГУСТАВ МАЙРИНК

 избранное в 2-х томах:

«Голем», «Вальпургиева ночь»,
«Белый доминиканец»,
«Ангел западного окна»

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ

 избранное в 2-х томах:

«Авария», «Судья и его палач», «Обещание»,
«Подозрение», «Правосудие», «Падение»,
«Грек ищет гречанку», «Лунное затмение»,
«Зимняя война в Тибете», «Поручение»

ПАТРИК ЗЮСКИНД

«Аромат», «Голубь», «Контрабас»,
«История господина Зоммера»

РОБЕР МЕРЛЬ

«Мадрапур»

УМБЕРТО ЭКО

«Маятник Фуко»

МИКА ВАЛТАРИ
«Тайна царствия»

АБЕЛЬ ПОССЕ
«Райские псы»

МЕРВИН ПИК
«Замок Горменгаст»

ГЕРБЕРТ РОЗЕНДОРФЕР
«Большое соло для Антона»,
«Латунное сердечко»

ЛЕО ПЕРУЦ
«Ночи под каменным мостом»,
«Снег Святого Петра»

АНАТОЛИЙ ГУДОВ
«Последний замок»,
«Дневник одного путешествия»

Э.Т.А. ГОФМАН
«Ночные истории»

ГОВАРД ФИЛЛИПС ЛАВКРАФТ
«Погребенный с фараонами»

АНРИ ТРУАЙЯ
«Сын Неба»

ДЖОНАТАН СВИФТ
«Путешествия Гулливера»

ГЕРМАН БРОХ
«Лунатики» (в 2-х томах)

Брох, Герман.

Б88

Лунатики: Роман-трилогия: [В 2 т.] / Пер с нем. Н.Л.Кушнирова.— К.: Лабиринт, С.-Пб.: Алетейя,1996.— 416 с.— (Серия 700; Вип. 19)

ISBN 966-521-020-3

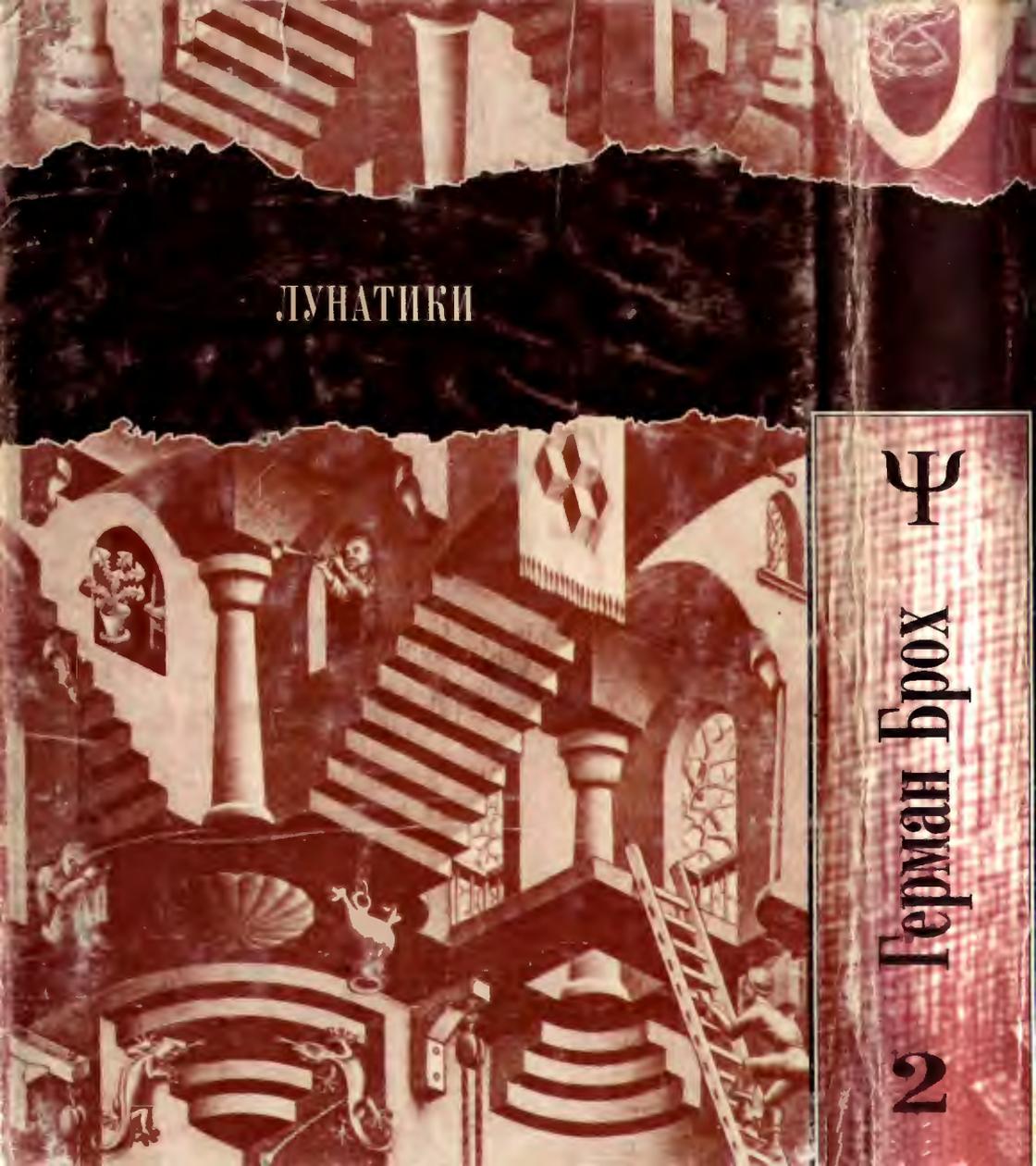
ISBN 5-87329-009-7

Роман "Лунатики" известного австрийского писателя-мыслителя Г.Броха (1886—1951), произведение, занявшее выдающееся место в литературе XX века, переведен на русский язык *впервые*.

Словно в состоянии глубокого сна пребывают герои произведения, стихийно, не по своей воле участвуя в сдвигах, смещениях, изменениях мира...

Б 4703010100-010 Без объявления
96

ББК 84.4АВТ



ЛУНАТИКИ

Ψ
Герман Брох
2